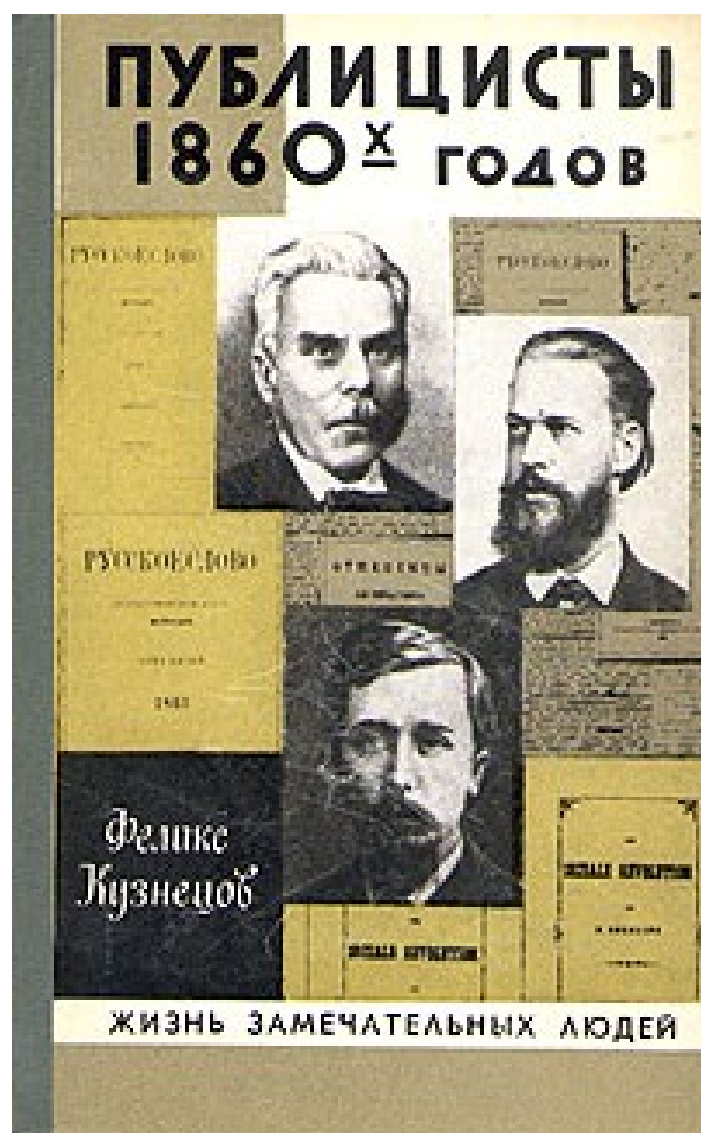


# Феликс Кузнецов



## ПУБЛИЦИСТЫ 1860-х ГОДОВ

Эта книга о публицистах, чья творческая судьба была связана с революционно-демократическим журналом "Русское слово" (1859-1866) - Г. Благосветове, В. Зайцеве, Н. Соколове.  
Издание второе, исправленное и дополненное.

## ВСТУПЛЕНИЕ

### 1

Эта книга о публицистах, чья творческая судьба была связана с революционно-демократическим журналом «Русское слово» (1859–1866). И хотя по таланту и общественной значимости Г. Благосветлов, В. Зайцев и Н. Соколов уступали Н. Чернышевскому или Н. Добролюбову, А. Герцену или Д. Писареву, тем не менее, они входили в круг «властителей дум» молодежи второй половины XIX века.

Чтобы оценить значение их деятельности, надо представлять, чем был в ту пору для русского общества литературный журнал.

«Журналистика в наше время все, — говорил Белинский. — Журнал стоит кафедры...»

Журнал в прошлом веке был той единственной трибуной, с которой публицист, литературный критик, писатель мог обратиться к людям. Каждый из передовых русских журналов в течение ряда лет был центром освободительной борьбы. Журналы содействовали формированию общественной и революционной мысли, направляли развитие литературы, воспитывали вкус публики.

И если мы сегодня говорим о небывало высоком духовном уровне передовой русской интеллигенции, традиции которой мы наследуем, то этот уровень определялся в значительной степени русской журналистикой, проповедью «Колокола» и «Современника», «Русского слова» и «Дела». Жизнь и деятельность тех, кто стоял у кормила передовой русской журналистики XIX века, является примером гражданственности, общественной нравственности и принципиальности.

«Русское слово» было вторым по значению после «Современника» журналом, выразившим эпоху шестидесятых годов. Читателей в ту пору поражал «...необыкновенный, почти баснословный успех, который в короткий промежуток нескольких месяцев приобрело «Русское слово»... Журнал разбирали нарасхват; им зачитывались; выход каждой новой книжки ожидался с нетерпением и составлял как бы литературное «событие». Сколько шума, горячих прений, дебатов, сколько полемики, подчас восторженных рукоплесканий, а подчас и ядовитой ругани возбуждали они в литературе и в обществе!» — свидетельствовал П. Ткачев.

Успех «Русскому слову» приносили прежде всего блистательные статьи Д. И. Писарева.

Но не только.

Талантливым организатором, редактором, публицистом был руководитель «Русского слова» Г. Е. Благосветлой.

«Благосветлов — чистый продукт 60-х годов, — писал о нем его сподвижник по труду и борьбе Н. В. Шелгунов, — он один из последних могиканов этого времени, полного жизни, блеска и порыва, выставившего массу людей идейных, талантливых, с характером. Энергичный, твердый, настойчивый до упрямства, стремительный и в то же время сдержанный, несламывающийся и

под конец все-таки сломленный жизнью, Благодетель является, может быть, одним из самых типических представителей своего времени».

«Цвет, ширь, полет и яркость» журналу давали наряду со статьями Писарева статьи Варфоломея Зайцева. Этот ныне почти забытый, а тогда весьма популярный критик вел в журнале «Библиографический листок», выступал со статьями. «Зайцева перо было так сильно в то время, что многие его статьи расхватывались и читались молодежью, как некогда статьи Белинского... Он... не только резко выдвинулся вперед среди массы литературных соперников, но скоро стал любимым писателем молодежи и одним из основателей той литературно-реалистической школы, из которой развился со временем так называемый нигилизм», — писал А. Христофоров.

Не менее интересной фигурой был и другой забытый ныне сотрудник «Русского слова» — Н. В. Соколов, писавший статьи главным образом по вопросам политической экономии. Талантливый и не лишенный оригинальности социолог и публицист, он пользовался большой популярностью среди читающей публики того времени.

Статьи Благодетель, Зайцева, Соколова (так же, как Шелгунова или Щапова) определяли направление и своеобразное лицо журнала «Русское слово».

Однако ни облик журнала, ни облик и позиции этих публицистов невозможно понять вне Писарева, этой как говорили в ту пору, «пророка молодого поколения» шестидесятых годов.

## 2

Писарев погиб трагически — утонул на Балтике 4 июля 1868 года, не дожив до 28 лет.

Он и жил трагически: из девяти лет журнального труда — в годы студенчества в «Рассвете», потом в «Русском слове» и, наконец, в некрасовских «Отечественных записках» — половину провел в одиночке Петропавловской крепости. Кстати, годы пребывания в крепости были затянувшейся «болдинской осенью» Писарева — в эту пору он и стал тем «властителем дум» молодежи, который пришел на смену столь же рано погибшему Добролюбову и осужденному на каторгу Чернышевскому.

В нашем представлении Писарев — современник этих двух выдающихся шестидесятников. Начало его творческой деятельности в благодетельском «Русском слове» — 1861 год, время зенита славы и влияния Чернышевского и Добролюбова. За считанные месяцы, к весне 1862 года, времени его ареста, вчерашний студент Петербургского университета проделал феноменально быстрый идейный и творческий путь. За эти месяцы, по свидетельству близко знавшего его Шелгунова, «в Писареве свершилась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть ли не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он позади».

Это был ни на минуту не прекращающийся внутренний поиск, обусловленный новыми задачами, которые ставила перед ним действительность, напряженность работы мысли, не останавливающейся ни перед какими святынями, ни перед какими авторитетами в постижении ответа на один, центральный, главенствующий вопрос — о счастье народном.

«Исходной точкой всех его воззрений на окружающие явления была неограниченная, фаталистическая вера в разум, — говорил о Писареве издатель его сочинений Ф. Павленков. — Разум был его религией. Перед мыслью он благоговел, только за ней одной он признавал силу, прочность и будущность... Ум прежде всего! В этих словах, часто повторяемых покойным, — весь Писарев со всеми его достоинствами и недостатками».

Одним из распространеннейших мифов в отношении русской революционной демократии является этакий «элитный» взгляд на революционных демократов, антиисторическое представление об этом драматичнейшем, противоречивом социальном движении как о некоем «рыцарском ордене», достойном объединять в своих рядах только «избранных». Существуют и нормативы, по которым те или иные исторические деятели «зачисляются» в рыцарский орден, именуемый русской революционной демократией: система взглядов Чернышевского, Добролюбова и с некоторых пор, с большими «допусками», Герцена. Что укладывается в это прокрустово ложе, то истинно, все остальное — от лукавого.

Мы еще до сих пор никак не можем избавиться от искуса не столько исследовать наших предшественников, сколько вершить над ними суд и судить их не тем временем, в котором и ради которого они жили, но современными представлениями о нем.

Так, к примеру, известно, что отрицание искусства было свойственно не только Зайцеву, но и Писареву. На этом именно основании им не раз отказывали в принадлежности к революционно-демократическому лагерю. Как можно быть истинным демократом и в то же время искренне желать ликвидировать искусство? — спрашивали исследователи.

Подобные сомнения высказывались неоднократно — был даже найден и термин, «принципиально» отделяющий публицистов «Русского слова» с Писаревым во главе от революционно-демократической традиции, — «буржуазные радикалы». И питалось это сомнение антиисторическим, упрощенным толкованием не только творчества Писарева и его товарищей по журналу, но и того сложнейшего явления в истории русского, и не только русского, освободительного движения, которое именуется революционной демократией.

Как же быть в таком случае не только с Писаревым или Варфоломеем Зайцевым, но и с такими, скажем, фигурами, как Ткачев, Лавров, народовольцы в целом? Их «манер» мышления, их социологические системы в еще большей степени отличались от теоретических концепций Чернышевского и Добролюбова и очень разнились между собой. Считать ли их «истинными» революционными демократами или придерживаться привычной

метафизической точки зрения, противопоставлявшей революционный демократизм 60-х годов народничеству 70-х?

В действительности революционные демократы не каста избранных, не почетный титул, присваиваемый за «истинность» воззрений, но чрезвычайно сложное, объемное и противоречивое общественное движение, целая полоса, этап в истории русской общественной мысли второй половины XIX века. Мировоззрение Чернышевского и Добролюбова было истоком и одновременно вершиной революционно-демократической идеологии в России, но отнюдь не исчерпывало богатейшего содержания разночинного этапа освободительной борьбы в России.

Революционный демократизм — это не абстракция, не схема, не голая теория, но живые люди — и какие люди! — в борьбе, самозабвении, в поисках и колебаниях на протяжении ряда десятилетий искавшие пути освобождения страны от оков крепостничества и феодализма. Здесь масса индивидуального, своеобразного, противоречивого, а порой и взаимоисключаемого, да и могло ли быть иначе? Ведь это была напряженная, яркая и вместе с тем мужественная, отчаянно смелая, трудная и в конечном счете трагически безысходная борьба.

Формы этой борьбы, равно как и формы идеологии революционной демократии, не были статичными, они менялись в зависимости от исторической ситуации, — увы! — далеко не всегда сохраняя ту «истинность», которая была свойственна вершине — мирозерцанию Чернышевского. Историческая эволюция идеологии русского революционного демократизма была драматической. Начиная со второй половины 60-х, а особенно в 70-е годы, она опять-таки «стихийно влечется» к механистическому материализму, позитивизму и субъективной социологии, утрачивая цельность и высоту философского материализма и объективной философии истории, свойственных Чернышевскому и Добролюбову.

Тому есть объективная причина. Единственной общественной силой, на которую могли рассчитывать сторонники революционно-демократических преобразований в России прошлого века, было крестьянство. Крестьянская революция — вот альфа и омега идей русской революционной демократии с самого начала их возникновения.

Но давайте осмыслим в полном значении тот общеизвестный факт, что на всем протяжении второго, разночинного, этапа русского освободительного движения революционная ситуация, вызванная массовым движением крестьян, возникла один-единственный раз. Это были 1859–1861 годы — время высшего революционного подъема борьбы крестьянских масс в России XIX века, когда народная революция казалась настолько реальной, что назначались даже реальные сроки ее.

Высшая точка подъема крестьянской революционности в России — время первой половины 60-х годов совпала и с вершиной в развитии революционно-демократической мысли — деятельностью Чернышевского и Добролюбова.

Случайно ли это?...

Очевидно, не только природная одаренность и талант, но и святая вера в близкую народную революцию, то есть максимум совпадения между идеалом и

действительностью, предопределили как глубокий исторический оптимизм этих великих шестидесятников, так и концептуальную цельность, последовательность и чистоту их теории, невозможную, недостижимую для их продолжателей и последователей. И опять-таки не в силу их личной ограниченности: после того как первая революционная ситуация в России потерпела крах под одновременным воздействием репрессий и реформ, послуживших своеобразным отводным клапаном, крестьянская революционность резко пошла на спад и никогда уже на протяжении XIX века не поднялась до критической точки 1859–1861 годов. Все увеличивался разрыв между идеалом и действительностью, все мучительнее были попытки сопряжения русской революционной демократии, выявившийся окончательно в том взрыве героизма, самоотвержения, отчаяния, который завершился 1 марта 1881 года.

Вправе ли мы, размышляя о противоречивых идейных исканиях представителей русской революционной демократии 60-70-х годов, Писарева в том числе, игнорировать это решающее обстоятельство? О значении его для революционных демократов можно судить по письму Н. А. Серно-Соловьевича, написанному им Герцену и Огареву в 1864 году:

«На общее положение взгляд несколько изменился, Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому — придти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже, и приняться вбивать сваи», «Сваи» вбивали по-разному — в зависимости от понимания, как укрепить «трясину», что необходимо, что-бы разбудить народ и поднять на революцию, — причем исходным пунктом, теоретической основой для осмысления новой исторической ситуации была рационалистическая, просветительная философия истории, в различных ее вариантах общая для русской революционной демократии.

Ведь, собственно говоря, и «теория реализма» Писарева, и «бланкизм» Зайцева, а потом Ткачева, и концепция «глуповцев» Салтыкова-Щедрина, и «критически мыслящие личности» Лаврова при всей разнородности этих явлений были не чем иным, как реакцией на «болотистость» почвы, на отсутствие реальных условий для народной, крестьянской революции в России.

В течение десятилетий русские революционные демократы бились над этой неразрешимой задачей: как поднять массы на революцию? Неразрешимой потому, что революционность крестьянства была революционностью особого рода. Без руководства буржуазии или пролетариата оно не в силах было подняться на организованные и сознательные действия и было способно «только на бунты»<sup>[1]</sup>. Даже в период наибольшего революционного подъема — в 1859–1861 годах «...народ, сотню лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли»<sup>[2]</sup>.

Движение русской революционной демократии уже изначально было чревато трагедией, пусть и не всегда осознаваемой идеологами. Ибо трагическая коллизия, по Энгельсу, и заключается в «столкновении между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления (тоже историческая закономерность). Столкновение этих двух необходимостей дает трагизм положения» [3].

Предчувствие, предощущение трагизма положения русской революционной демократии было уже у Чернышевского.

«Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящей ее причиной — недостатком общности в понятиях между собой и людьми, для которых работаешь; признать эту причину было бы слишком тяжело, потому что отняло бы всякую надежду на успех всего того образа действия, которому следуешь; не хочешь признать эту настоящую причину и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоятельствах, изменить которые легче, чем изменить свой образ действий», — писал Чернышевский в 1862 году, когда стал очевидным начавшийся спад крестьянских волнений. В полных горечи и отчаяния словах уже и у Чернышевского прорывалась тоска, обусловленная, по словам Ленина, «отсутствием революционности в массах великорусского населения» [4].

### 3

Писарев — современник и сподвижник Чернышевского, это общеизвестно. Но не совсем точно. Писарев принадлежал и выразил своим творчеством иную, более позднюю эпоху, чем Чернышевский и Добролюбов, — эпоху второй половины 60-х годов. Еще точнее: Писарев и публицисты его круга — фигуры переломные; в их мировоззрении с предельной выразительностью выявился тот трагический момент в развитии революционно-демократического самосознания, когда впервые обнаружилось несоответствие классических концепций крестьянской демократии, выработанных в условиях революционной ситуации, тягостным обстоятельствам реальной жизни.

Начало идейного формирования Писарева — немногие месяцы 1861-го — начала 1862 года — пришлось на время «бури и натиска» «святых» (Чехов) шестидесятых годов, наполненное исступленным ожиданием и подготовкой революционного взрыва. «Схоластика XIX века» (май, сентябрь 1861 г.), «Меттерник» (сентябрь, ноябрь

1861 г.), «Московские мыслители» (январь 1862 г.), «Русский Дон-Кихот» (февраль 1862 г.), «Базаров» (март 1862 г.), «Бедная русская мысль» (апрель — май 1862 г.), наконец, прокламация о Шедо-Ферроти, за которую Писарев и оказался в крепости, — вот вехи его стремительного сближения с лагерем Чернышевского и Добролюбова, путь становления революционера и демократа.

«Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляют единственную цель и

надежду всех честных граждан России. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла», — писал он. в прокламации о Шедо-Ферроти в июне 1862 года. Жажду революции, которая низвергнула бы царствующее зло и изменила политический и общественный строй, Писарев пронес через всю свою жизнь. Революционно-демократическая основа убеждений Писарева оставалась неизменной при всех противоречиях его последующей эволюции — менялись представления о реальных путях коренного преобразования общества. Первоосновой же мировоззрения Писарева всегда был один и тот же неотвязный, изматывающий душу вопрос о «голодных и раздетых людях». «Вне этого вопроса», утверждал Писарев, нет «решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

И решить этот вопрос, по убеждению Писарева, могут только сами «работники», сами «голодные и раздетые люди», то есть народные массы. Эту мысль он проводил и в статье «Бедная русская мысль» (1862), и в «Исторических эскизах» (1864), и в «Исторических идеях Огюста Канта» (1865), и в своем завещании — статье «Французский крестьянин в 1789 г.» (1868).

Трагедия России той поры, трагедия революционной идеи, впервые с полной ясностью осознанная именно Писаревым, и заключалась в том, что народные, то есть крестьянские, массы не были способны на сознательную, широкую революционную борьбу за коренное изменение условий своего существования.

Так же, как и у Чернышевского, а точнее, еще и большей мере, чем у Чернышевского, сомнения в революционной активности крестьянских масс прорываются у Писарева уже в 1862 году. В те весенние месяцы 1862 года, когда он писал роковое для его личной судьбы воззвание, Писарев с горечью признавался в этих мучивших его сомнениях в готовности народа на революцию: «Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли по-прежнему — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем».

Но это состояние сомнения в революционных возможностях народа не только не препятствовало открытому возванию к немедленной революции, а, наоборот, понуждало Писарева к тому. Сомнение не исключало надежд на возможный революционный взрыв.

1863 год убил эту надежду. Сомнения в революционных возможностях крестьянства, в его готовности к активным действиям переросли в горестную уверенность. Еще в мае 1862 года Писарев, предчувствовавший возможную неудачу, писал, что исторические периоды, когда народ пассивен и не может «жить своим умом, наводят на нас тоску и досаду». Уже в первых номерах возобновленного в 1863 году после цензурного приостановления «Русского слова» этот мотив звучит с трагической резкостью. Предвосхищая цитировавшиеся выше знаменитые слова Чернышевского, журнал клеймит гнусную черту «рабской преданности» своим господам, воспитанной в народе веками крепостного права. «Мы знаем, что известные причины влекут за собой известные следствия, и поэтому мы не можем не понимать этого. Мы знаем, что крепостное право между прочими прелестями Должно было породить и эту. Но



если рабское чувство отвратительно само по себе, — утверждает журнал, — то оно делается еще отвратительнее, когда стараются возвести его в идеал добродетели...»

Начиналась новая, очень трудная для революционной демократии полоса в развитии русского освободительного движения, полоса реакции и резко обнаружившегося спада революционной волны.

Трудность ситуации усугублялась тем, что во главе движения не было уже ни Чернышевского, ни Добролюбова, чей идейный и нравственный авторитет мог бы, возможно, сохранить ту цельность, монолитность революционных рядов в трудных условиях отступления и выработки нового «образа действий». Русская революционная демократия тяжело пережила это время крушения надежд, переоценки привычных ценностей, заплатив, в частности, и тем самым знаменитым «расколом в нигилистах», по поводу которого так ликовали ее многочисленные противники.

Именно этому трудному, трагедийному времени и принадлежит Писарев. В этом прежде всего «тайна» Писарева, та неуловимая и резкая грань, которая отделила его от Чернышевского и Добролюбова, поставила особняком в блистательной плеяде демократов-шестидесятников.

В качественно новых исторических условиях Писарев в силу незаурядности ума и таланта не мог на манер Антоновича эпигонски повторять то, что провозглашал Чернышевский и Добролюбов в пору революционного энтузиазма и святых надежд. Он стремился, исходя из сути революционно-демократического мирозерцания, осмыслить эту качественно иную ситуацию и разработать новую, соответствующую условиям жизни и заветам Чернышевского концепцию борьбы. Он не только первым выразил с присущей ему смелостью открывшуюся трагедию революционно-демократического движения, но и попытался дать ответ на очень трудный вопрос: а что теперь делать? Что делать людям, жаждущим революции, в условиях, когда массы спят? Этот поиск ответов на новые вопросы времени он вел с той мощью таланта, с той бескомпромиссностью отважного ума, которые были свойством его незаурядной личности. Вот что обусловило необыкновенную популярность Писарева не только в шестидесятые годы, но и в последующие десятилетия — он сумел заразить своими идеями, своей верой, своим историческим оптимизмом массы демократически настроенной молодежи, он оставил свою особую, «писаревскую» эпоху в истории русского освободительного движения,

#### 4

Литературный критик «Русского слова» был без преувеличения «властителем дум» молодежи второй половины шестидесятых годов. Когда и где еще литературная критика имела столь высокий и беспрекословный гражданский, нравственный авторитет, как во времена Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева?

Мы не объясним этот исторический феномен и ничего не поймем в литературной деятельности революционных демократов круга Писарева, если будем мерить ее современными, привычными нам, часто обыденными представлениями о том, что есть литературная критика.

Будем судить о них мерой, предложенной ими самими, будем исходить в анализе их литературной деятельности из писаревских представлений о литературной критике.

Критика для Писарева никогда не была самодовлеющим разговором о книгах, «Подготовка и последовательное проведение того или иного мировоззрения в оценке всех текущих явлений жизни, науки, литературы называется в наше время критикой» — в этих писаревских словах как нельзя лучше раскрывается синкретический характер его собственной литературно-критической деятельности. В отвлечении от этих слов, в отвлечении от мировоззренческих исканий Писарева невозможно истолкование его литературно-критического наследия. Попробуем осмыслить спор Писарева с Добролюбовым по поводу Катерины из «Грозы» Островского или сквозную тему его творчества — тему Базарова, ниспровержение Пушкина и Салтыкова-Щедрина или статью о «Что делать?» Чернышевского в узком литературном ряду, и мы зайдем в тупик, окажемся не в состоянии объяснить столь прихотливое на первый взгляд движение его литературно-критической мысли. Литературная критика в представлении Писарева — всегда осмысление действительности, средство активного вмешательства в жизнь. Критик, утверждал он, «вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное мировоззрение, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний».

Таким критиком и был прежде всего Писарев. Эта особенность его дарования особенно явственно проявилась в статьях, посвященных Базарову, Рахметову и Катерине из «Грозы» Островского. Эти три характера, раскрывавшие, по убеждению Писарева, ведущие тенденции жизни действительной, — излюбленные герои его критики. Он возвращается к ним снова и снова, посвящает им свои наиболее значительные, программные работы: «Базаров», «Нерешенный вопрос» («Реалисты»), «Новый тип» («Мыслящий пролетарий»), «Мотивы русской драмы», «Посмотрим!». Эти характеры дают ему возможность выносить на обсуждение публики коренные вопросы жизни и исторической судьбы России в драматических условиях второй половины 60-х годов. Собственно говоря, споры об этих характерах, которые он вел в первую очередь с «Современником», были для Писарева общественным диспутом о стратегии и тактике революционно-демократического движения, о путях и методах освободительной борьбы в условиях пореформенной реакции и спада революционной борьбы. Не случайно писаревская «теория реализма», являющаяся его ответом на центральный вопрос эпохи — о путях борьбы в условиях, когда массы спят, — была сформулирована им в статье «Реалисты», посвященной разбору романа «Отцы и дети».

В основании этого общественного диспута о путях борьбы в изменившихся условиях лежит писаревский спор с Добролюбовым, который он вел на всем протяжении второй половины шестидесятых годов. Общеизвестны категоричные писаревские слова: «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собой с глазу на глаз с полной откровенностью, то они

разошлись бы между собой на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним ни на одном пункте».

Впрочем, в том же 1865 году Писарев утверждал, казалось бы, и нечто противоположное: «Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом все более и более счищается от всяких посторонних примесей», — видите, с какой осторожностью надо относиться к категоричности иных писаревских суждений!

Самое парадоксальное, что и в том и в другом утверждении есть своя истина — идеи Писарева и публицистов «Русского слова» были не повторением, но в известной мере развитием идей Добролюбова в новой исторической ситуации. Писарев и в самом деле расходился с Добролюбовым — не в главном, но весьма в существенном: в оценке революционных возможностей крестьянства, а отсюда и в понимании «образа действий», революционной демократии применительно к условиям второй половины 60-х годов. Это различие выявилось прежде всего в диаметрально противоположной оценке Добролюбовым и Писаревым характера Катерины из «Грозы» Островского.

Спор о Катерине был для Писарева не столько литературно-критическим, сколько общественно-политическим, мировоззренческим. И Катерина и Базаров для Писарева не просто литературные герои: за каждым из них та или иная программа действий, та или иная линия поведения революционной демократии в 1863–1866 годах. Впрочем, тем же была Катерина и для Добролюбова. В атмосфере предгрозовой революционной ситуации протест Катерины, пусть и узколичностный, стихийный, был своеобразно интерпретирован Добролюбовым и использован для постановки вопроса о нарастающем революционном протесте народных масс.

Писарев ясно понимал этот замысел Добролюбова. Симптоматично, что в 1864 году, несколько лет спустя после опубликования «Грозы»,... Писарев специально возвращается к этой драме только за тем, чтобы оспорить точку зрения Добролюбова на Катерину, а в действительности взгляд Добролюбова на революционные возможности крестьянства. Выступая против «коленипреклонений перед народной мудростью и перед народной правдой», Писарев заявляет, что необходимо защитить идею Добролюбова «против его собственных увлечений». Главной ошибкой Добролюбова, по мнению Писарева, было то, что он принял личность Катерины «за светлое явление». При этом критик подчеркивает, что речь идет вовсе не о Катерине как литературном персонаже драмы Островского, — «дело идет об общих вопросах нашей жизни», таких вопросах, которые «всегда стоят на очереди и всегда решаются только на время».

Добролюбов видит в Катерине «характер, которым совершится решительный разрыв со старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни». Писарев, анализируя характер Катерины, говорит о ее темноте, о стихийности, бессознательности ее протеста и противопоставляет ей характер Базарова: именно он «настоящий луч света». Потому что «народ нуждается только в

одной вещи, в которой заключаются все остальные блага человеческой жизни. Нуждается он в движении мысли, а это движение возбуждается и поддерживается приобретением знаний...Нуждается исключительно в одной *сознательности*. Как только наши неутомимые и неустрашимые труженики узнают и поймут совершенно ясно, что — ложь и что — правда, что — вред и что — польза, кто — враг и кто — друг, так они и пойдут твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не останавливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обещаний и спокойно устраняя все рогатки и шлагбаумы».

В споре о Катерине выявляется не только различие, но и общность воззрений Писарева, с одной стороны, Чернышевского и Добролюбова — с другой.

Различие в отношении к характеру Катерины, к революционным возможностям масс диктовалось изменением исторической ситуации.

Общность же проявлялась в том, что в осмыслении трагически изменившейся ситуации Писарев исходил из той просветительской, рационалистической философии, фундамент которой был заложен Чернышевским и которая была общей для революционных демократов.

Фаталистическая вера в разум, которая, по свидетельству Павленкова, в таких гиперболических формах была присуща Писареву, не являлась личным его уделом — ее разделяли все шестидесятники. Исходным и определяющим тезисом их философии истории являлось классическое для домарксовской социологии положение: «Разум правит миром». Этот тезис отчетливо выразил Чернышевский, который в работе «Лессинг» писал: «Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знание — основная сила, которой подчинена и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни».

Отдельные историко-материалистические догадки — «зародышем исторического материализма» называл их Ленин — не выводили шестидесятников за пределы той исторической ограниченности, которая была обусловлена эпохой.

Исходя из просветительской философии истории, Писарев и пытался объяснить причину национальной трагедии — отсутствие революционности в массах великорусского населения. Ради этого Писарев и его сподвижники ведут во второй половине 60-х годов пристальное исследование истории революционных движений, дабы понять, как «массы чувствуют и мыслят, как они изменяются, при каких условиях развиваются их умственные и экономические силы, в каких формах выражаются их страсти и до каких пределов доходит их терпение».

Конечный ответ диктовался исходной социологической позицией: чтобы народ поднялся на борьбу, необходим определенный уровень сознательности, его способность осознать невыносимость собственного существования.

Высокий уровень мысли, сознательности масс, по мнению Писарева, необходим не только для пробуждения народа, но и для успешного завершения революции. Ибо бывали минуты, утверждал он в «Исторических эскизах», когда привычное недоверие масс к будущему уступало «страстному взрыву

надежды», но надежда, как правило, не осуществлялась, потому что «для осуществления ее необходим не минутный взрыв, а необходима долговременная, напряженная и строго последовательная деятельность. До сих пор еще не было на свете такого народа, в котором большинство было бы способно к сознательной коллективной деятельности».

Так мы подошли к фокусу воззрений Писарева, контрапункту его концепции.

Революционная демократия в пору подъема явно переоценила активность народа, его способность на борьбу, приняв вспышки и бунты, то есть бессознательный протест, за готовность к сознательному революционному действию. Эта иллюзия диктовала и соответствующий образ действий — прямые, открытые призывы к народной революции.

Однако исторические обстоятельства второй половины 60-х годов показали, что народ не готов к этому. Его не разбудить искусственно ни воплями, ни воззваниями. Единственное, что могут и должны делать революционеры в этих условиях, — «вбивать сваи» в «трясину», «будить разум народа», медленно, упорно, целеустремленно повышать уровень умственного развития масс.

Вот из чего исходил Писарев, разрабатывая в 1863–1864 годах свою программу «реализма», которую и до сегодняшнего дня истолковывают порой как некую чисто просветительскую теорию «малых дел». Да, это было просветительство, но просветительство с далеко идущими целями — революционное просветительство, как его понимал Писарев.

Вот почему в центр своего внимания Писарев ставит фигуру Базарова. Характер героя «Отцов и детей» Тургенева был дорог критику прежде всего тем, что он давал возможность для выявления той положительной программы действий, которую выдвигал Писарев.

Антонович, исходя из этих намерений писателя, расценивал «Отцов и детей» как антинигилистический, клеветнический роман. Вместо того чтобы говорить о характере, типе Базарова, о том реальном жизненном явлении, которое стоит за ним, он представил дело так, будто содержание романа исчерпывается авторским стремлением очернить молодое поколение.

Писарев справедливо критиковал Антоновича за измену «добролюбовским преданиям, за то, что в статье «Асмодей нашего времени» он отступил от добролюбовских принципов «реальной критики».

Не субъективные намерения Тургенева, но объективный результат исследования жизни художником, который «не способен лгать», положил Писарев в основу статей «Базаров» и «Реалисты», точнее — ряда статей, так или иначе посвященных «базаровскому типу». В этих статьях он подробнейшим образом анализирует противоречивый характер тургеневского героя, раскрывает и объясняет главенствующие черты его духовного и нравственного облика. Шаг за шагом показывает он отношение Базарова к друзьям, к труду, к обществу, к любимой женщине, отделяя истинное от фальшивого, привнесенного в роман субъективной авторской неприязню.

В статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев объяснял, что его пристальное внимание к Базарову не преследовало цель прославления романа Тургенева. Дело в том, что «тупые филистеры» постарались выдать

Базарова за чудовище. Они запугивали молодежь: ваши идеи приведут всех прямым путем к этому ужасному результату. А «близорукие реалисты», подобные Антоновичу, действительно приняли Базарова за чудовище и стали доказывать, что их идеи не имеют ничего общего с Базаровым. «На этой позиции реалистам грозило неизбежное поражение, потому что филистеры могли доказать как дважды два — четыре, что Базаров — не клевета, не карикатура, а совершенно верный итог реалистических тенденций. Поэтому надо было повернуть вопрос иначе: надо было доказать, что Базаров — не чудовище, а мыслящий работник и превосходный человек... Ряд статей о Базарове был написан затем, чтобы защитить и разъяснить весь строй наших понятий, а не затем, чтобы выставить напоказ красоты тургеневского романа».

Это очень важное и точное признание критика. Его статьи об «Отцах и детях» преследовали цель защитить не только образ Базарова, но и весь строй понятий демократии 60-х годов. Писарев не только защищал и объяснял Базарова — он выявлял самые существенные стороны своего мировоззрения, комплекс своих общественных убеждений.

«...Размножать мыслящих людей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития», — утверждал Писарев.

Писарев разрабатывает и осуществляет на практике тщательно продуманную программу фронтального воздействия на души людей, и прежде всего разночинной молодежи из «образованных классов», с тем чтобы вырабатывать умственный «фермент», который шевелил бы и возбуждал мысль общества, будил сознание народа, причем в строго определенном направлении. Главным полем борьбы, основной сферой приложения сил являлась для Писарева сфера сознания, общественной нравственности. Коль скоро прямые призывы к революции не дают, не могут дать желаемого результата, надо идти вглубь, надо осуществлять глубокую вспашку человеческого сознания и, перепахав его, засеять теми семенами, которые впоследствии дадут желанные плоды.

Борьба за «эмансипацию личности» для Писарева и оборачивалась в первую очередь развенчиванием ветхозаветной, официозной, охранительной идеологии и морали, той «искусственной системы нравственности», того «умственного и нравственного рабства», которое «медленным ядом отравляет нашу жизнь».

В этом суть так называемого «нигилизма» Писарева и его сподвижников, который заключается в отрицании всей системы современных им социальных и нравственных отношений ради утверждения высокого гуманистического идеала.

Вокруг так называемого русского «нигилизма» в процессе идейной борьбы с ним, в ходе последующей идеологической борьбы в современном мире воздвигнуты горы лжи, цель которой — представить русских революционеров-демократов голыми «отрицателями», «разрушителями» без позитивной, положительной программы действий, чье мирозерцание будто бы исчерпывается еловом «nihil» — «ничто, ничего».

Как известно, именно журнал «Русское слово», ведущим публицистом которого и был Писарев, считался главным органом «нигилизма». Термин этот

распространялся некоторыми и на русскую революционную демократию в целом.

Но нельзя забывать о полемичности этого термина. Он укрепился за определенным течением русской общественной мысли, связанной в первую очередь с Писаревым и журналом «Русское слово», после выхода романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», главный герой которого, Базаров, и был поименован автором «нигилистом». В этом проявлялась как раз сложность, полемичность, неприятие либералом Тургеневым молодого, дерзкого героя-разночинца. По определению же Писарева, Базаров был не «нигилист», по «реалист». Критик сконцентрировал свое внимание на позитивных началах, которые таились в глубинах этого характера.

Со временем термин «нигилист» стал бранной кличкой, используемой реакционной литературой и журналистикой в борьбе с революционной демократией, — вспомним «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского, «Марево» В. П. Ключникова, «Некуда» Н. С. Лескова и др.

«Нигилизм» Писарева и «Русского слова» но был отрицанием ради отрицания; его конечная цель заключалась в том, чтобы натолкнуть читателей «на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековой плесенью».

Программа «реализма» далеко ее исчерпывалась чисто негативной стороной — сокрушением идеологических и нравственных основ старого общества. Казенной, охранительной морали противопоставлялась новая система нравственности, общая для революционной демократии 60-х годов, — разумный эгоизм.

Мы недооцениваем революционное содержание этой системы нравственности, которую разрабатывали и Герцен и Чернышевский, которая уходит корнями в просветительство Великой французской революции и которую наши шестидесятники восприняли прежде всего из философии Фейербаха.

В ленинских «Философских тетрадах» содержится следующая мысль: «Под эгоизмом я разумею не эгоизм «филистера и буржуа»... а философский принцип сообразности с природой, с разумом человека, вопреки «теологическому лицемерию религиозной и спекулятивной фантастике, политической деспотии» [5].

«Очень важно», — подчеркивает Ленин.

Ленин имеет здесь в виду следующее место у Фейербаха:

«Я понимаю под эгоизмом любовь человека к самому себе, то «есть любовь к человеческому существу, ту любовь, которая есть импульс к удовлетворению и развитию всех тех влечений и склонностей, без удовлетворения которых человек не есть настоящий, современный человек и не может им быть».

«Разумный эгоизм» — мораль человеческой пользы — явился для шестидесятников прежде всего ярко выраженной антикрепостнической, антидеспотической, антиклерикальной системой нравственности. Эта мораль ставила человека в центр мироздания как конечную и главную цель бытия.

«Разумный эгоизм» выводил человеческую нравственность из материалистических, точнее — антропологических предпосылок: ощущений, эмоций, чувств человека, и разрушал церковные, идеалистические, спекулятивные основы нравственности. Во времена деспотизма и крепостничества с его принижением и унижением

человеческой личности, в эпоху не только экономического, но и политического, юридического, духовного рабства мораль «разумного эгоизма», провозглашающая человека, его личность, его желания и наслаждения, его счастье основой и целью бытия, была дерзким вызовом установившемуся порядку.

Утилитаристская мораль «разумного эгоизма» в традициях европейских утопистов являлась и теоретическим обоснованием идеи социализма. «Реалист» в представлении Писарева стремление к личному счастью понимает как стремление к счастью всеобщему, от идеи личной пользы он идет к «идее общей пользы или общечеловеческой солидарности». Идея общечеловеческой солидарности для него есть «просто один из основных законов человеческой природы, один из тех законов, которые ежеминутно нарушаются нашим неведением и которые своим нарушением порождают почти все хронические страдания нашей природы».

Социализм Писарева по своим формам (но не по реальному, классовому содержанию, потому что в этом смысле он оставался крестьянским социализмом) целиком и полностью лежал в традициях западноевропейского утопизма. Главным для Писарева в отличие от Чернышевского было не общинное, но естественнонаучное обоснование социализма, а утилитаризм, «разумный эгоизм», — решающим теоретическим звеном. Тем самым звеном, который связывал антропологию и социологию, человеческую природу и ту форму человеческого общежития, которая в наибольшей степени соответствует ей.

Как известно, просветительское учение о «естественном человеке» и его взаимодействии со «средой», а также непосредственно вытекающее из него этическое учение утилитаризма («разумного эгоизма»), выступающие как важнейшие составные части материалистической философии французских просветителей XVIII века (Гольбаха, Гельвеция и других), явились одним из идейных источников западноевропейского утопического социализма. Именно эту сторону французской просветительской философии XVIII века имел в виду Маркс, когда отмечал, что направление французского материализма, берущее свое начало от Локка, «...вливается непосредственно в социализм и коммунизм».

Маркс показывает, как эта связь проявлялась конкретно. «Фурье, — пишет он, — исходит непосредственно из учения французских материалистов... Материализм этот в той именно форме, какую ему придал Гельвеций, возвращается на свою родину, в Англию. Свою систему правильно понятого интереса Бентам основывает на морали Гельвеция, а Оуэн, исходя из системы Бентама, обосновывает английский коммунизм...»



В. И. Ленин, конспектируя «Святое семейство», полностью согласился с мнением Маркса о связи французского материализма XVIII века с утопическим социализмом и коммунизмом. «Из посылок материализма, — записывает В. И. Ленин в «Философских тетрадах», — ничего нет легче вывести социализм (переустройство чувственного мира, — связать частный и общий интерес — разрушить антисоциальные Geburtsbtatten преступления и пр.)».

Итак, по Марксу и Ленину, учение о человеке и утилитаристская этика французских просветителей XVIII века явились теоретической основой западноевропейского утопического социализма и коммунизма.

Антропологическое учение о человеке, его «естественной природе», вытекающая отсюда идея гармонии личного интереса с общественными — «разумный эгоизм» и составляли фундамент утопического социализма Писарева.

Именно эта черта мировоззрения Писарева объясняет то гипертрофированное внимание, которое он уделял не только знанию вообще, но естествознанию в особенности. В популяризации естествознания для Писарева важен не только экономический, но и общественный, воспитательный результат. Естественные науки были так важны для Писарева именно потому, что только они, по его убеждению, способны научить человека понимать свою «природу» и осознавать противоречие между собственной «естественной природой» и «противоестественными» общественными отношениями.

Естествознание в представлении Писарева — объективный научный фундамент социалистических убеждений, потому что только оно дает человеку «верный, разумный и широкий взгляд на природу, на человека и на общество».

Зависимость мирозерцания Писарева от концепций европейского утопического социализма, равно как и его просветительская вера в знание, объясняет еще одну особенность его позиции в 1864–1865 годах. Размышляя о стратегии и тактике освободительной борьбы в условиях, когда массы спят, делая ставку на умственное воспитание народа, Писарев приходил к выводу о "возможности двух путей социалистического преобразования общества: «механического», то есть революционного, и «химического» — мирного, просветительского. Эта вторая возможность вытекала для Писарева из того иллюзорного представления, типичного для европейских утопистов, будто мысль, знание способны перевоспитать «агрономов, фабрикантов и всякого рода капиталистов» в «новых людей», в разумных руководителей народного труда. «Это предположение может показаться идиллическим, — добавляет Писарев, — но утверждать, что оно — неосуществимо значит утверждать, что капиталист не человек и даже никогда не может сделаться человеком».

Писаревская теория умственного перевоспитания капиталистов на первый взгляд обходит молчанием политические проблемы, а именно — вопрос о самодержавии. Но это не совсем так. Перевоспитание капиталистов приведет к благоденствию. «А если народ будет деятелен, богат и умен, то что же может помешать ему сделаться счастливым во всех отношениях?» — спрашивает Писарев, явно имея в виду политические «рогатки и шлагбаумы».

Мысль о возможном перевоспитании эксплуататоров и давала основание видеть в Писареве «буржуазного радикала», сторонника мирных реформ. Эта иллюзорная Идея Писарева и в самом деле была отступлением от теории социальной революции Чернышевского, слившего воедино демократическую революционность и утопический социализм. Но отступлением не либерально-реформистским. Это был шаг назад от теории социальной революции Чернышевского к просветительским концепциям западноевропейского утопизма, делавшего, как известно, ставку на революцию в умах, на воздействие знаний, социалистических идей. Шаг назад и в развитии самого Писарева. Истоки его коренятся как в трудностях русского освободительного движения 60-х годов, так и в рационалистической ограниченности мирозерцания революционной демократии вообще, Писарева и его сподвижников в особенности.

Однако иллюзорные надежды Писарева на нравственное перевоспитание эксплуататоров были непродолжительны. Уже в середине 1865 года в мировоззрении критика наступил перелом.

Со второй половины 1865 года просветительская теория «реализма» Писарева наполняется все более активным революционным пафосом, а его достаточно абстрактная программа умственного воспитания народа обогащается конкретным требованием пробуждения политического сознания масс.

Великий критик, отрицающий свое святая святых — эстетику как науку... Более того, отвергающий самое искусство, исключая литературу, дерзко ставящий на одну доску «великого Бетховена, великого Рафаэля, великого Канова, великого шахматного игрока Морфи, великого повара Дюссо и великого маркера Тюря».

Проницательнейший, наделенный абсолютным эстетическим слухом критик, уничтожающий классиков литературы — Пушкина и Салтыкова-Щедрина...

Убежденный сторонник и последователь Чернышевского, упрекающий в «эстетизме» Белинского и даже Добролюбова...

Общеизвестно пристрастие Писарева к парадоксам и полемическим преувеличениям. Он обосновывал эту свою страсть даже теоретически тем, что стремился расшевелить мысль читателя, заставить его думать.

И все-таки все эти писаревские парадоксы не форма апатажа читающей публики, а органический результат его мировоззрения. Более того, завязи этих заблуждений и парадоксов следует искать в конечном счете в просветительском мирозерцании революционной демократии. Личная ограниченность Писарева, в первую очередь его крен к механистическому материализму и позитивному утилитаризму, как бы через увеличительное стекло выявила историческую ограниченность революционно-демократической мысли вообще.

Мы с большим трудом избавляемся от апологетического отношения к этому великому наследию, но есть крайность другой дурной крайности — снобистского высокомерия, и до сих пор еще проявляющегося к завоеваниям русской литературно-критической мысли.

Дань глубокого и искреннего уважения должна сочетаться здесь с трезвым анализом, с пониманием исторической ограниченности наших великих предшественников. Об этом с полной точностью и глубоким проникновением в суть говорил в своем «Слове о Горьком» Леонид Леонов, выразив свое достаточно сложное, но вполне возвышенное отношение «к той особой в нашей литературе, полуподвижнической линии просветителей, где отвергается не только развлекательно-беллетристический сервис, но и отвлеченная созерцательность в отношении пускай высочайших тайн бытия, если не работают на реальное, осязаемое злободневное задание... И где генеральной целью творчества ставится всемерное обогащение черной житейской руды, из которой в сплаве с человеческим трудом когда-нибудь и должно образоваться поставленное на повестку дня счастье. В соответствии с их ведущим догматом, — подчеркивает Л. Леонов, — по которому общество является полновластным владельцем всех видов материального и духовного состояния, алмазно рассеянных гениальностей в том числе они даже стремились ограничить деятельность последних единственным средством прямолинейного воздействия, лучше всего уподобляемого стрельбе с открытой позиции и прямой наводкой, что, признаем же когда-нибудь начистоту, в силу самой недолговременности выстрела плохо сказывается не только на прочности, но и на дальнобойности подобных произведений. Да что там: оценка бессмертных наших в прошлом веке производилась самими нетерпеливыми из них по шкале такой повышенной гражданской ответственности».

Эти слова современного художника, чутко уловившего и главную силу, и главную слабость наших литературно-критических предшественников, к Писареву и близкому к нему кругу его единомышленников как наиболее нетерпеливому относятся в гораздо большей степени, чем к Белинскому или Герцену, Чернышевскому или Добролюбову.

Упрощенно-утилитарное понимание литературы прямолинейное и порой плоское толкование принципа общественного предназначения искусства составляли драму Писарева, сковывали его литературно-критический талант, приводили к грубым искажениям истины в практике литературно-критического анализа. Эта драма опосредствованно отражала трагедию революционно-демократической мысли.

\* \*

...Писарев принадлежит истории, а следовательно, и нашему времени как в своих взлетах, так и падениях, в прозрениях и ограниченности.

Будем же учиться у Писарева и его сподвижников яростной гражданственности, публицистичности, смелости мысли, бескомпромиссности в борьбе, учиться тому, чтобы критика была последовательным проведением в жизнь нашего мировоззрения, всей совокупности гражданских убеждений, желаний и надежд, чтобы она судила о произведениях непременно в связи с той жизнью, среди которой и для которой оно возникло.

Но не будем забывать и о другом — об опасности прямолинейных упрощений, даже если они порождены святым нетерпением повышенной гражданской ответственности. Будем помнить, что гражданственность в

литературе отнюдь не сводится к иллюстрации идей, что существуют магия таланта, секрет художественности, которые и сообщают искусству особое, только ему присущее могущество в постижении человека, жизни, общества, в познании высочайших тайн бытия, в непреходящей силе, «дальнобойности» воздействия подлинных его произведений на души и умы людей.

Объективные представления о главной, ведущей фигуре журнала «Русское слово» — Дмитрие Ивановиче Писареве — помогают нам глубже и точнее постигнуть жизненный и творческий путь, человеческий облик и мировоззренческие позиции его ближайших сподвижников — страстных журнальных бойцов легендарных 60-х годов прошлого века — Григория Евлампиевича Благосветлова, Варфоломея Александровича Зайцева и Николая Васильевича Соколова. Яснее и полнее понять тот идейный и нравственный урок, который живет в их поведении и творчестве и поныне, который важен не только для их современников, но и для нашего времени.

### **ГРИГОРИЙ БЛАГОСВЕТЛОВ**

Почти все знавшие знаменитого в свое время редактора «Русского слова» и «Дела» подмечали в нем «что-то солдатское» — одним он напоминал «писаря какого-нибудь маленького казенного учреждения», другим — «унтера николаевского времени».

«Где-то он говорит о себе как о существе, скованном из железа и потому внушающем не особенно нежные чувства окружающим... Роста слегка выше среднего, плотный, широкоплечий, сутуловатый, с грубым, выразительным лицом, изборожденным не по возрасту глубокими морщинами... с седыми, коротко остриженными волосами, с щеткой коротко подрезанных усов и короткими же бакенбардами, он производил впечатление силы, прямолинейности — и бесцеремонности...» Таким, по словам народника Н. Русанова, видели Григория Евлампиевича Благосветлова современники. И лишь немногие, близко знавшие его, могли разглядеть за этой непритязательной внешностью личность незаурядную.

Сдержанный и скрытный, он редко открывался людям. Письма и статьи Благосветлова, воспоминания людей, близко знавших его, помогают понять этого незаурядного человека во всей его драматической сложности. Противоречивость его была противоречивостью времени, которое он выражал, и, как это ни парадоксально, оборачивалась цельностью, удивительной цельностью натуры этого прирожденного политического бойца. Эту цельность сообщало Благосветлову то самое ощущение силы — нравственной и духовной, порой грубой, бесцеремонной, которую отмечали в нем современники — враги и друзья.

Благосветлову принадлежат грустные слова о судьбе писателя в самодержавно-крепостническом государстве: «Если родишься в России и сунешься на писательское поприще с честными желаниями, — проси мать слепить тебя из гранита и чугуна. Мать моя озаботилась в этом отношении. Спасибо ей, родимой!»

В условиях деспотизма Благосветлов бесстрашно и упрямо вел свои журналы по бескомпромиссной и трудной дороге борьбы. Его жизнь составляет и для нас нравственный урок — урок гражданственности, общественной принципиальности.

Шестидесятые годы прошлого века были временем всеобщего и всеобъемлющего неудовольствия правопорядками крепостнической России, когда крестьянская революция в стране казалась грозной необходимостью.

Благосветлов вступил на путь общественной борьбы в самом начале шестидесятых годов, он был одним из вдохновителей и выразителей этого блистательного времени, а завершил свой жизненный путь в конце 1880 года, накануне краха второй революционной ситуации. Судьба его трагична не только потому, что его гражданские, общественные идеалы оказались неосуществимыми в пору шестидесятых-семидесятых годов. И после смерти Благосветлову в отличие от многих его сподвижников не повезло. Его забыли, на всю его подвижническую деятельность легла густая тень.

До крайности разноречивы свидетельства современников о личности редактора «Русского слова» и «Дела».

«Человек умный, с большими знаниями, энергичный, смелый и решительный... В нем, несомненно, бьется жилка настоящего политического бойца, клубного оратора в якобинском вкусе!» — таково было впечатление, которое производил Благосветлов на писателя-народника П. Засодимского.

«Скарעד и торгаш», — резюмировал свое впечатление о Благосветлове сотрудничавший с ним в молодые годы Г. Н. Потанин.

Это разноречие в восприятии Благосветлова современниками, как в кривом зеркале отразившее действительные противоречия его натуры, до сих пор лежит печатью на личности редактора «Русского слова» «Дела», искажает наши представления не только о нем, но и о его журналах. Между тем Шелгунов был глубоко прав, когда говорил, что Благосветлов — один из «типических представителей» того времени, когда на арену общественной борьбы вслед за дворянскими революционерами выступили разночинцы. Таким разночинцем по происхождению и сути своей, демократом по убеждениям, по образу жизни, по манерам и внешности был Благосветлов. «Он простой, неизбалованный семинарист, чернорабочий, сам, собственными руками пробивший дорогу... — писал о нем Шелгунов, — человек с умственными привычками и ограниченными потребностями, не знавший других развлечений, кроме нескончаемой работы, просиживавший до двух-трех часов ночи у себя в кабинете за корректурами, — он, такой Благосветлов, сознававший все это хорошо, гордился своими мозолистыми руками».

### **БУРСАК И СЕМИНАРИСТ**

«Его высокопреподобию ректору и магистру Саратовских духовных училищ отцу Гавриилу.

Учеников Саратовского духовного училища высшего отделения Григория Благосветлова и низшего отделения Серапиона Благосветлова.

Покорнейшее прошение.

Мы низжайше осмеливаемся утруждать вторично Вас своим прошением. Мы, уже лишившиеся отца своего с 1838 года, бывшего в слободе Владимировке священником, а матери мы не имеем с 6 лет. Итак, к кому прибегнуть, у кого просить помощи к содержанию себя; между тем как нас, сиротствующих, осталось четыре человека. Итак, просим Вас всепокорнейше, не благоугодно ли Вам будет принять нас в число учеников, пользующихся казенным полукоштным содержанием. На что и будем ожидать милостивейшего Вашего решения... 1840 года, варя 8 дня».

Этот красноречивый документ, принадлежащий перу бурсака «высшего отделения» Григория Благосветлова, приведен в материалах «К биографическому очерку Г. Е. Благосветлова», которые собрал его однокашник, саратовский старожил Ф. В. Духовников.

Из материалов Ф. В. Духовникова явствует, что Григорий Евлампиевич Благосветлов родился 1 августа 1824 года в городе Ставрополе-Кавказском, где отец его был полковым священником. Детство свое он провел в слободе Владимировке. Приход этот, считавшийся «золотым дном», был дан в 1826 году его отцу за службу в военном ведомстве. Отец Евлампий, по рассказам, был человек прямой, справедливый и умный; память имел необыкновенную и обладал хорошим даром слова, но любил выпить. С годами привычка эта развивалась все сильнее и свела его в могилу. И при жизни пьяницы-отца семья Благосветловых бедствовала, а после его смерти оказалась в безвыходном положении. Братья Григорий и Серапион ходили даже без сапог, и их одевала из жалости вдова одного священника.

Материалы о жизни Г. Благосветлова, собранные Ф. В. Духовниковым, воспоминания очевидцев, архивные документы, записи устных рассказов однокашников Благосветлова воссоздают картину жизни бурсы и духовной семинарии тех времен. Мы имеем представление о страшном бурсацком быте по «Очеркам бурсы» сотрудника «Русского слова» Помяловского. «Наша бурса была несравненно хуже помяловской бурсы», — свидетельствует школьный товарищ Благосветлова, саратовский протоиерей Любомудров. В своих воспоминаниях он повествует о «мерзком корыстолюбии» наставников, о пристрастии их к «зеленому змию» и «ругательным выражениям», об их тупости, малоспособности и «худой нравственности», о голоде, который постоянно царил в саратовской бурсе. Но самым страшным были не голод и холод, а то бесконечное унижение человеческого достоинства учеников, которое составляло смысл бурсацкой жизни.

Тон задавало бурсацкое начальство — ректор училища и инспектора, которые буквально истязали учеников, били по лицу, секли розгами и в довершение ко всему угрозами жестоких наказаний открыто вымогали взятки.

«Подражая своим учителям, — рассказывает священник Павильонов, — и ученики брали взятки от своих товарищей. Авдиторы (ученики, опрашивавшие класс до прихода учителя) строго спрашивали учеников, и ученики давали взятки, чтобы они понисходительнее были к ним в отметках; секуторы (ученики, занимавшиеся сечением своих товарищей), зная, кому поставлена плохая отметка, тоже старались заполучить что-нибудь или деньгами(грош),

или воблой, за что секли или не очень больно, или не касаясь тела учеников... Сечение производили обыкновенно дежурные ученики, сильные, рослые, которые ничему уже не учились и не подавали никакой надежды на успех, но которые наводили на всех страх своим сечением. Весь интерес их школьной жизни заключался в розгах: вне класса, вместо уроков они приготавливали розги, перед уроками они показывали ученикам, как они будут сечь и тех, кто даст им взятку, и кто не даст, во время уроков секли...»

Но это сечение, говорит далее Павильонов, было ничто сравнительно с тем сечением, которое случалось на экзаменах, бывших три раза в год: перед рождеством, пасхой и летними, каникулами. На них обыкновенно секли учеников рослых, лет восемнадцати, уже бреющих бороды, за леность в течение трети года. Каждый экзамен производился самим ректором, священником Амадьевым. До обеда экзамен шел обычным порядком. После обеда учитель и ректор являлись навеселе, ни тому, ни другому не хотелось экзаменовать — и вот тогда-то начиналось сечение лентяев.

«— Захаров! — вызывает ректор ученика.

Выходит рослый детина с черными щетинами на бороде.

— А ну-ка, просклоняй «розга»!

— Именительный падеж — розга, родительный — розгой, дательный — розгами...

— А ну-ка его розгами! — кричит ректор. — Дневальные, выходите!

Исполняя приказание, дневальные секли ученика с двух сторон, подобно тому как кузнецы куют молотами железо на наковальне в кузнице. Жидкие пучки розог так и взвивались в воздухе, кровь лилась, Несчастный Захаров сначала кричал, но потом, выбившись из сил, лежал молча. До ста ударов было дано ему. Мы все сидели в большом страхе, мертвенно-бледные; слышно было, как пролетит муха».

Порой сечение сопровождалось звуковыми эффектами — например, звоном в колокол. Часто оно превращалось в изощренную пытку — когда лоза распаривалась в молоке с перцем и вином, после чего жертва вытаскивалась из класса без чувств.

Павильонов рассказывает, как удручен, убит был Благодетель в тот день, когда порол несчастного Захарова: «Пришедши домой после этого экзамена, Гриша был печален, хмурился; ничего ни с кем не говорил и, несмотря на то, что хотел есть, лег спать не евши; только на другой день он сказал: «И что это за зверство сечь до полусмерти? За что? За то, что Захарова ничему не учили учителя?» Человек болезненной впечатлительности («едва аи был другой человек, который бы брал все так близко и глубоко, Благодетель переживал все вчетверо сильнее, чем другие», — свидетельствует Шелгунов), он тягостно воспринимал бесчеловечность бурсы.

Воспоминания и рассказы тех, кто учился с Благодетельным в бурсе и семинарии, рисуют его как личность «живую, правдивую и свобододлюбивую». Уже тогда нравственная сила Благодетельного поставила его в совершенно особые отношения к учителям и к товарищам. И дело не только в том, что «он был очень добр, щедр и жалостлив к своим товарищам» (на этот счет в

материалах Духовникова приводится масса свидетельств), — дело в уровне человеческого достоинства, столь непривычного в бурсе, в той серьезности отношения к жизни и к людям, которые отличали бурсака и семинариста Благосветлова от его забитых сверстников.

«Хотя Г. Е. был в хороших отношениях с немногими товарищами... — свидетельствует протоиерей Любомудров, — но уважали его все, и все искали случая поговорить с ним. Речь его поражала всех. «Из какой книги говорите вы?» — спрашивали его». «Говорит как по печатному», — рассказывали про него его слушатели.

Начальство и учителя относились к нему благосклонно и даже с уважением. По воспоминаниям Любомудрова, «учителя очень часто хвалили и ставили его нам в пример. Сознавая его превосходство перед нами, мы не только не завидовали ему, но даже гордились им, как светлую звездою в нашем курсе, думая, что из него выйдет или монах-аскет, или высокоученый человек».

Самого Благосветлова перспектива стать монахом-аскетом никак не устраивала. Уродливая жизнь духовной среды с отрочества выработала в нем отвращение к «попам». «В попы идти — никогда! Буду до седых волос учиться, а уж поступлю в университет», — говорил он. Его серьезное отношение к учению, поражавшее товарищей по семинарии, определялось именно этой затаенной, всепоглощающей мечтой. Уже в семинарии, в этом «вертепе скудоумия и лени», он самостоятельно постиг основы французского и немецкого языков. Так как семинарская библиотека была недоступна для учеников, да и состояла она только из учебников и книг духовного содержания, Благосветлов на последние копейки брал книги напрокат у базарных торговцев, продававших их среди всякой прочей рухляди, — и это было в ту пору, когда он, «кроме пищи и жилища, во всем прочем очень нуждался». Читать «светские» книги ученикам было строго запрещено — считалось, что они «развращают» будущих отцов церкви, поэтому замеченная «светская» книжка немедленно конфисковывалась инспектором. И тем не менее Благосветлов читал запоем и без разбора все — от «Истории Государства Российского» Карамзина до «Капитанской дочки» Пушкина. «В то время как в комнате вокруг него происходили беготня, шум, крики, пение, — свидетельствует Любомудров, — Г. Е. сядет за стол, зажмет уши и читает, не обращая внимания на то, что делается вокруг него. В десять часов вечера все ученики должны идти в спальни спать, Г. Е. оставался в комнате, назначенной для занятий, и просиживал там целые ночи за работой. Узнавши об этом, инспектор Тихон запретил ему оставаться после 10 часов для занятий, но ему не спалось: когда все спят, он ходит, бывало, ночью без огня по спальне и о чем-то думает».

О чем? Наверное, не только о прочитанных книгах и тяготах семинарской жизни. В одном из писем к своему земляку, историку Мордовцеву, Благосветлов впоследствии писал: «Саратов оставил в моей памяти два резких типа — отвратительно гадкий тип помещика и великолепный тип бурлака. Сквозь безобразия последнего, безобразия наружного, светятся черты богатырской природы, не сломившейся ни под... ни под... и мало ли под чем».



В ту пору Благодетель, конечно же, не был книжным юношей: его ум и душа были открыты впечатлениям окружающей его действительности. Уже эти штрихи — его болезненная реакция на бесчеловечный быт бурсы, его взгляд на «отвратительно гадкий тип помещика» — говорят о том направлении, в котором развивался Благодетель в молодости. Не случайно еще на семинарской скамье идеалом человеческой личности стал для него Иринарх Иванович Введенский — человек, оставивший глубокий след в истории русского демократического самосознания, оказавший серьезное влияние на формирование не только Благодетель, но и Чернышевского.

Благодетель и Чернышевский примерно в одно время учились в Саратовской семинарии (Чернышевский поступил в семинарию на два года позже). Известно, что они вместе брали уроки татарского языка у известного ориенталиста, востоковеда, жившего в Саратове, Гордея Семеновича Саблукова. Впоследствии, обращаясь к Некрасову, Благодетель писал: «Никто лучше меня не понимает, как человек, с которым работал Чернышевский (*а я с ним рос и воспитывался*) и которого он любил искренне, имеет право на признательность не меня одного...»

О взаимоотношениях Благодетель и Чернышевского в Саратовской семинарии не сохранилось сколько-нибудь достоверных материалов, но слова «я с ним рос и воспитывался» достаточно определены. Брат Г. Е. Благодетель Серапион, служивший в шестидесятые годы в Саратове фельдшером, свидетельствовал даже, что именно решение Благодетель оставить семинарию и уехать учиться в Петербург «столь сильно повлияло на жаждавшего знаний Н. Г. Чернышевского, что и тот последовал его примеру, к прискорбью местного духовенства».

Мечта об университете у Благодетель зрела под влиянием примера жизни Иринарха Введенского. Этот удивительный человек давно уже окончил курс семинарии и, оставив за пять месяцев до окончания Московскую духовную академию, учился сначала в Московском, потом в Петербургском университетах, а в Саратове все еще из уст в уста передавались рассказы о его начитанности, его удачных ответах, возражениях преподавателям и т. п. Сын бедного священника глухого села Жуковки Саратовской губернии, выросший в темном деревенском углу, Введенский в таком совершенстве выучил французский язык, что поражал своими познаниями не только семинарскую корпорацию, но и высшие круги саратовского общества. Уже на семинарской скамье он перечитал всего Вольтера и французских энциклопедистов, писал сам и слыл вольнодумцем. «Множество сочинений Введенского, по словам биографа его Благодетель, «долгое время ходило по рукам учеников семинарии в виде толстого фолианта». А когда одно из сочинений Благодетель оказалось настолько образцовым, что было приписано Введенскому, радости молодого семинариста не было предела.

Первой серьезной литературной работой, которую напишет впоследствии по окончании университета Благодетель, будет биография Введенского. Благодетель подчеркнет здесь самое важное для него: трудность пути к образованию, к духовной культуре и гражданским убеждениям, который

пришлось пройти Введенскому, «грудью отстаивавшему каждый шаг умственного развития». «Конечно, от аристократического кабинета до академических кресел переход легкий, — напишет Благосветлов, — но от рыбацкой хижины до Болонской академии, как, например, шел Ломоносов, переход трудный, исполинский. Юноша, окруженный обильными средствами, может в десять лет обогатить себя такими познаниями, для приобретения которых бедняк, с тем же самым талантом, должен употребить вдвое больше трудов и времени. Пушкин на 24-м году жизни мог читать иностранных писателей на трех языках в оригинале, а Кольцов на 34-м году от рождения не умел правильно писать на своем родном языке. Восемнадцатилетний Жуковский поставил свое имя в ряду замечательных русских писателей, а Н. А. Полевой в том же возрасте только мог прийти до сознания всей нелепости своего первоначального самообучения, и за купеческой конторкой начал снова переучиваться» [6].

Эти слова относятся к самому Благосветлову в такой же мере, как и к Иринарху Введенскому. И тому и другому знания, образование, высокие гражданские убеждения суждено было «взять с бою», ценой необыкновенных усилий и жертв. Так и входили в ту пору разночинцы в культуру и общественную жизнь России, отвоевывая себе достойную роль в жизни упорной борьбы.

Путь по стопам Введенского — от семинарии в университет — для Благосветлова оказался нелегким.

Уже на семинарской скамье в судьбе Иринарха Введенского Благосветлов угадывал свою судьбу. По свидетельству однокашников, «влияние И. И. Введенского на Г. Е. Благосветлова еще в семинарии было несомненно», «все свои ученические годы в семинарии Г. Е. Благосветлов проводил в среде, которая жила под впечатлением рассказов о Введенском».

Прошение его об увольнении из семинарии и духовного ведомства наделало ему столько хлопот и причинило столько неприятностей, что он помнил их очень долго. Начальство, по-видимому, не могло простить ему нежелания «идти в попы».

Борьба Благосветлова с духовным начальством за право продолжать «светское» образование закончилась тем, что этот блестящий ученик, которым долгое время гордилось семинарское начальство, был в 1844 году исключен из семинарии... «по безуспешности».

Практически это был «волчий билет», с которым почти невозможно было поступить в высшее учебное заведение. Вдобавок Благосветлов был беден настолько, что вынужден был просить ректора семинарии «снабдить его деньгами, чтобы пробраться на родину». В действительности деньги эти нужны были ему для того, чтобы любыми путями «пробраться в Петербург».

### **УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ**

О нелегком пути в Петербург, в чем-то и в самом деле похожем на ломоносовский, Благосветлов расскажет сам в письме к начальнице Мариинского института, написанном после увольнения его от должности преподавателя словесности.

«Вот, Ваше превосходительство, тот путь, которым я шел к своей цели и который дал мне право на насущный кусок хлеба...

На четырнадцатом году своего возраста я остался круглым сиротой; 420 рублей и кой-какие домашние вещи были единственным наследством, которое мы четверо получили после своего отца. Я отдал свою долю сестре, вышедшей замуж, и поступил на казенное содержание в духовное училище. Сиротская жизнь — скоро подружила меня и с холодом и с голодом; юношеские молодые силы переносили все лишения бодро. Двенадцать лет я учился в семинарии и, обязанный своим природным хорошим способностям, всегда был первым учеником. Семинарское образование, лишенное эстетической стороны и жизненных начал науки, во многом меня не удовлетворяло. По окончании семинарского курса мне предстояло пастырское поприще и тихая семейная жизнь. Но в груди моей кипела жажда знаний, я желал учиться — и это желание, рано во мне пробудившееся, от меня не зависело. Вследствие этого я решился оставить духовное звание и ехать в Петербургский университет. 60 рублей, накопленных с помощью частных уроков, дали мне возможность совершить полупешком путь около 1500 верст и добраться до столицы. Загорелый, бедно одетый, я явился к попечителю С.-Петербургского университета Мусину-Пушкину с просьбой позволить мне подвергнуться испытанию и вступить в число студентов. Мусин-Пушкин бросил на меня взгляд презрения и сказал: «Теперь поздно». Это было в 1844 году, в половине августа. Целый год я должен был ожидать приема в университет. Между тем через две недели после моего приезда в Петербург у меня не осталось ни одного медного гроша. Знакомых никого не было. Как неопытный провинциал, я представлял себе столицу земным раем, а людей — ангелами; но холодный эгоизм скоро разочаровал меня в моих наивных мечтах. Лишенный пристанища, я проводил ночи под открытым небом, засыпал на голой земле под деревом — и одни звезды были свидетелями тех горячих слез, которые прямо текли из растерзанной души; днем читал книги в каком-нибудь саду и, продавая последние с себя вещи, 6 месяцев питался каждый день куском черного хлеба и стаканом воды. Крепкое здоровье, привезенное мной из южных провинций, расстроилось. На другой год, не имея еще никаких положительных способов к содержанию, я принужден был поступить в медицинскую академию. Семь месяцев я учился в медицинской академии и с особенной любовью занимался естественными науками, к сожалению, никак не мог победить в себе отвращения к хирургическим операциям. Увидев возможность удовлетворить всегдашнему и душевному своему желанию, я решился перейти из медицинской академии в университет. Университетский курс наук пришелся мне по душе. Юридические и исторические науки были предметом моего изучения. Из этой огромной области человеческих знаний я избрал специальной отраслью знаний — русскую литературу, историю, новые и древние языки. В то же время я давал частные уроки и тем обеспечивал свое существование. Через четыре года, на 26-м году жизни, я вышел из университета с правом кандидата.

Поступив в военно-учебные заведения преподавателем, я надеялся, после долговременных трудов и беспокойств, собрать плоды своей не роскошной жатвы и хоть немного успокоиться. Единственная мечта горела в моей душе — заработать некоторое количество денег и отправиться за границу для ближайшего знакомства с новейшими языками и для изучения английской литературы во всех ее подробностях. Одна минута уничтожила все эти планы и поставила меня в безутешно-скорбное состояние.

Что ожидает меня впереди! — об этом страшно подумать».

В своем письме Благодетель обходит молчанием человека, явившегося его добрым гением в негостеприимной столице, который не только помогал ему учиться в университете, но и составил протекцию на должность преподавателя военно-учебных заведений, — Иринарха Введенского. Зато в биографии Введенского Благодетель не только воздаст должное своему «благодетелю», не только подробно опишет столь же трудный его путь в университет, но и расскажет, как, не имея ни знакомых, ни друзей, ни ломаного гроша в кармане, Иринарх Иванович жил в столице будто на необитаемом острове, как,

не имея квартиры, он проводил ночи в академической беседке или в саду под деревом. «Здравствуй, бедная книжка, — приводит Благодетель выдержки из дневника Введенского, — имею честь рекомендоваться тебе голодным жителем роскошного города. Почти полгода прожил я в Петербурге, преданный всем родам унижения, ужасной нищете, брошенный на произвол судьбы».

Благодетель мог бы рассказать здесь, как погибавший от голода студент Введенский решился наконец просить материальной помощи. «Нашелся только один весьма бедный и недавно бывший в мое положение поставленный человек, который принял во мне живейшее, какое только мог, участие. Ему-то обязан я тем, что могу дней пять не умереть с голоду», — писал Введенский одному из современников в 1840 году. Этим «весьма бедным... человеком» был Белинский.

Таким же добрым гением, каким для Введенского был Белинский, для Благодетеля стал Введенский. Мы не знаем, когда, как и при каких обстоятельствах встретился Благодетель с кумиром своей семинарской юности, но достоверно известно, что во второй половине сороковых годов он не только познакомился с Введенским, но и подружился с ним, был принят в его кружок.

Этот круг демократической интеллигенции конца сороковых — начала пятидесятых годов был своеобразным «перекидным мостиком» из сороковых годов в шестидесятые, одним из тех ручейков, которые соединили времена Белинского и петрашевцев с эпохой «Современника» и «Русского слова». В 1868 году Погодин писал: «Мне хотелось узнать подробнее о происхождении петербургских нигилистов, и я, к удивлению моему, услышал, что одним из их родоначальников был Иринарх Введенский». Именно Введенский, бывший инспектором в военных учебных заведениях, по мнению Погодина, «развел нигилистов по всем корпусам».

Размышляя далее о родословной нигилистов, Погодин выводит их «умственную духовную генеалогию» из учения Герцена и Белинского.

И в этом он прав. Конечно, было бы натяжкой ставить знак равенства между мировоззрением Введенского и Белинского или Герцена, однако бесспорен тот факт, что взгляды и убеждения этого незаурядного человека развивались в демократическом русле.

Образованнейший человек своего времени, талантливый педагог, великолепный переводчик, в совершенстве знавший европейскую литературу, Введенский самой личностью своей, ломоносовской биографией, демократическим отношением к жизни оказывал облагораживающее влияние на молодежь. Именно Введенскому Благодетелю обязан самой светлой стороной своего облика: стойкостью демократических убеждений. «Стойкость в убеждениях, — писал Благодетель о Введенском, — была для него главным правилом в жизни. Там, где нужно было сказать правду, явиться защитником доброго дела, он забывал всякие внешние расчеты и прямо шел к своей цели... Суровая школа жизни, пройденная И. И. Введенским, по-видимому, должна была ожесточить его, вооружить против людей, как это действительно и бывает с характерами неразвитыми; напротив, он вынес из этой школы пламенную любовь к добру; испытав на себе много несправедливостей, он с тем большею силой ненавидел лицемерие и ложь».

Впечатление такое, будто Благодетель пишет все это и о себе — так много было общего у него с учителем. А Введенский в полном смысле слова был учителем Благодетеля, за что последний до конца дней своих платил ему уважением и сыновней любовью. Трудно сказать, кто был больше огорчен — учитель или ученик, когда вдруг рухнула мечта жизни Введенского — такой мечтой для него была кафедра в университете. По свидетельству Благодетеля, Введенский «смотрел на профессорское место не как на отличие» — оно было для него высоким общественным служением. Целый год в тяжких трудах готовился Введенский к конкурсу — он должен был читать с кафедры пробные лекции. Конкурентов было еще двое — М. И. Сухомлинов и некто Тимофеев.

И вот в огромной университетской аудитории в присутствии высокого начальства и большой массы студентов началось состязание. Вначале гладко, уныло зачитал свою лекцию Сухомлинов, потом едва не уморил слушателей скукой Тимофеев, и вот на кафедре выросла крепкая, угловатая фигура Введенского.

В аудитории воцарилась тишина. О таланте Введенского многие были наслышаны — и он оправдал надежды. Лекция шла с блистательным успехом. Он говорил о народности литературы, о человеке, основавшем ее, перед которым он преклонялся, о Ломоносове. Голое его крепчал: «Энергия деятельности Ломоносова имела источником то, что он был мужик!» — тяжелый удар кулака по кафедре с полной выразительностью подчеркнул смысл столь неблагозвучного в этих стенах слова «мужик».

«...По какому-то странному стечению обстоятельств И. И. Введенский не получил профессорского места», — с грустью и иронией резюмировал Благодетель итог этой столь необычной лекции.

Демократизм воззрений сблизил Благодетеля и Введенского. Двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин в книге воспоминаний «Мои заметки»

подчеркивает, что Благосветлов, которого он встречал у Введенского, «уже тогда» был «человеком решительных мнений».

Кто еще входил в узкий круг друзей, собиравшихся вначале по средам, а потом по пятницам у Иринарха Введенского?

А. П. Милюков, который был участником не только кружка Введенского, но и кружка петрашевцев», пишет в своих воспоминаниях: «На вечерах у Введенского чаще других бывали Владимир Дмитриевич Яковлев, автор имевшей в свое время большой успех книги «Италия», Григорий Евлампиевич Благосветлов, впоследствии редактор журнала «Дело», и Владимир Рюмин, издатель «Общезанимательного вестника». Несколько позже стал посещать эти вечера Чернышевский... Предметом разговора были преимущественно литературные новости, но часто затрагивались и вопросы современной политики... С этим связывались, конечно, и вопросы социальные, и сочинения Прудона, Луи Блана, Пьера Леру нередко вызывали обсуждения и споры».

По настроением, по темам разговоров, да отчасти и по составу участников кружок Введенского был близок к обществу петрашевцев, разгромленному в конце сороковых годов. На «средах» Введенского Благосветлов имел возможность познакомиться со знаменитым письмом Белинского к Гоголю и другими произведениями «бесцензурной печати», приобщиться к идеям утопического социализма. Собрания кружка Введенского, как свидетельствовал один из его активных участников, А. Чумиков, «были в то время едва ли не единственным местом в Петербурге, где можно было услышать живое слово и свободную мысль». Темами обсуждения на этих вечерах были вопросы религии, социалистическое учение утопистов, особенно Фурье, безрассудность цензуры, несправедливость существующего социально-политического строя и, в первую голову, крепостного права.

Отзвуки этих бесед мы встречаем в юношеских дневниках Чернышевского, которому общение с Введенским дало очень многое.

«...Милюков говорит в социалистическом духе, как говорю я, но мне кажется, что это у него не убеждение, как у Ир. Ив. (Введенского. — *Ф. К.*) или у меня, что у него не ворочается сердце, когда он говорит об этом...»

«Вечером, был у Ир. Ив. Введенского... Чумиков умнее всех остальных говорил о заговорщиках... (речь идет о петрашевцах. — *Ф. К.*) . После говорили и о социализме и т. д. Чумиков — решительный приверженец новых учений, и это меня радует, что есть такие люди, и более, чем можно предполагать», — заносит он в дневник свои мысли и впечатления в декабре 1849 года.

«...У Ир[инарха] Ивановича] было много народу, одних мужчин 13 или 14 человек да 3–4 дамы, и время прошло довольно хорошо (с начала вечера Минаев рассказывал о жестокости и грубости царя и т. д. и говорил, как бы хорошо было бы, если бы выискался какой-нибудь смельчак, который бы решился пожертвовать своей жизнью, чтоб прекратить его). Под конец читали Искандера», — запись за 15 сентября 1850 года.

О настроениях кружка Введенского достаточно ясно говорят письма участника его А. А. Чумикова Герцену, которые он писал в 1851 году из

Парижа. Рассказывая о деле петрашевцев, о пытках, которые применялись к ним в III отделении, он обращался к своему корреспонденту: «Скажите, что Вы думаете об этом заговоре? Мог ли он к чему-нибудь повести? А общество существовало два года, и полиция не знала. Неосторожный Петрашевский набирал прозелитов без всякого разбора и тем погубил дело (не свободы, далеко до нее) либерализма. Мы все (по списку увидите, что либералы есть во всех слоях общества) сильно упали духом. Посоветуйте нам, что делать, как быть, чтобы не идти назад. Ваше слово — для нас закон. Вы наш оракул... Вы авторитет (а нас более, чем Вы полагаете), и мы — стадо без вождя: руководствуйте нами, пишите более, только не для Европы, а для нас собственно — Европа Вас не поймет, она слепа и глуха теперь! Пишите по-русски. Старайтесь найти средство распространять Ваши сочинения в отечестве, хоть посредством аэростатов (если иначе нельзя провести через границу), ведь в Берлине уже разбрасывают объявления таким средством. Надо немедленно организовать подпольную печать, иначе сон наш надолго продлится».

Целая программа демократической или, как называл ее в ту пору Чумиков, «либеральной» деятельности. Но от чьего имени он выдвигает ее? Кто это — «мы все», даже занесенные Чумиковым в «список», приложенный к письму Герцена (к сожалению, список этот не сохранился)? Как понимать слова: «нас более, чем Вы полагаете», «мы — стадо без вождя»? Может быть, речь идет не о каком-то определенном кружке людей, а о передовых русских людях пятидесятых годов *вообще*? Это предположение опровергается дальнейшим текстом письма Чумикова, в котором он пишет: «Жалкое состояние Франции (речь идет о положении во Франции после разгрома революции 1848 года. — *Ф. К.*)! С какой вестью возвращусь як своим друзьям; они не верят газетам и поручили мне узнать о положении свободы на самом месте ее казни» (курсив мой. — *Ф. К.*).

Но кто же эти друзья Чумикова, поручившие ему «узнать о положении свободы» во Франции? Петрашевцы? Они были разгромлены. Остается предположение: «друзья» Чумикова, которых немного, по более, чем Герцен мог бы предполагать, — члены кружка Введенского.

Письма Чумикова свидетельствуют, что кружок Введенского, куда он входил, не был таким уж безобидным, узколитературным собранием преподавателей и литераторов, каким его привыкли представлять. Он не являлся, конечно, организованным революционным обществом, но представлял собой тесную, спаянную группу «решительно» настроенных людей. И в числе их не на последнем месте был Благодетель, пользовавшийся особым расположением и дружбой Введенского. Это очень тревожило Серапиона Благодетельского, который оканчивал курс в Медико-хирургической академии и не благоволил опасному настроению ума своего брата. «Сошелся Григорий с И. И. Введенским, — жаловался Серапион землякам-саратовцам, — он внушает ему разные вредные идеи, которых хватался за границу. Как бы он не испортил его!» Идеиные распри братьев Благодетельских зашли так далеко, что

Серапион хотел даже донести на Григория жандармскому офицеру, и Благосветлову-старшему пришлось спешно сжечь много бумаг.

В 1851 году, после окончания университета, Благосветлов по протекции Введенского поступил преподавателем словесности в Пажеский корпус, в 1852 году — в

Михайловское артиллерийское училище, потом — во Второй кадетский корпус и, наконец, в Дворянский полк (впоследствии Константиновское училище), где и заместил уже самого Введенского, после того как тот, лишившись зрения, вынужден был уйти в отставку.

По отзывам учеников, Благосветлов был высокоталантливым преподавателем. Но служба в военных учебных заведениях явилась для него тяжелым нравственным испытанием. Очень уж решительным был разрыв между всей прошлой жизнью Благосветлова — нищей, голодной, поистине демократической — и обществом высокопоставленных учеников, в которое он попал. Пажеский корпус — это самое привилегированное учебное заведение Петербурга — соединял характер военной школы и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора. В нем воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью детей самой высокой знати. Первые шестнадцать учеников выпускного класса назначались камер-пажами к членам императорской фамилии, что, конечно, считалось большой честью.

Благосветлов начал учить пажей не в пору «освобождения» шестидесятых годов, когда волны либерализма захлестнули и эту «святая святых» российского аристократизма, — он пришел в корпус в 1851 году, в разгул «николаевщины», в пору «мрачного семилетия». В корпусе царил полковник Жирандот, француз на русской службе, принадлежавший в прошлом к ордену иезуитов, насаждавший среди слушателей подслушивание и доносы.

С величайшим тщанием готовится Благосветлов к первому занятию с «пажиками» — учениками Пажеского корпуса: до синевы выскребает жесткую щетину на щеках, коротко подстригает свои фельдфебельские рыжие усы и бакенбарды, примеривает новенький, с иголки, вицмундирный фрак с золочеными пуговицами и бархатным воротником. Все это — и сизые щеки, и короткие «мужицкие» пальцы, и топорщащийся, чересчур новый вицмундир, и даже гордость Благосветлова — элегантный темно-зеленый портфель — стало вскоре предметом злых насмешек востроглазых «пажиков». Топорная щеголеватость нового учителя лишь подчеркивала для них плебейство его происхождения. И хотя непродолжительное время спустя были замечены и оценены его знания, его талант рассказчика, Благосветлов так и остался для большинства пажей «Гришкой Ламповщиком» — обидная кличка, которая прилипла к нему с первых дней преподавания в корпусе.

Вспоминают, что многие пажи не любили его за «семинарские повадки», но еще больше за «неблаговоспитанную раздражительность, которую ему не всегда удавалось сдерживать и которая порождала часто саркастические, довольно топорные, переходившие в грубость выходки». Особенно раздражался он против тех воспитанников, которые отлично знали французский язык, а по-русски, как говорил он, «лапти плели». В таком случае



учителю ничего не стоило дрожащим от злости голосом оборвать юного тупицу-аристократа: «Садитесь, господин. У вас в верхнем этаже квартиры отдаются».

Впрочем, вслед за подобной вспышкой у Благодетеля нередко начинались угрызения совести: он вспоминал, что аристократ «тоже человек», а унижать человеческое достоинство ни в ком не позволительно. В тех случаях, когда ему казалось, что он в своем раздражении был не прав, он имел мужество принести извинения. Подобного рода поведение поражало слушателей и расположило в пользу нового учителя немало детских сердец. Надо сказать, что к выполнению своих учительских обязанностей в Пажеском ли корпусе, в артиллерийском ли училище, или в Дворянском полку Благодетель относился с величайшей серьезностью. Вдобавок он обладал незаурядным талантом преподавателя.

Как вспоминает один из выпускников Михайловского артиллерийского училища, Н. Н. Фирсов, по «характеру преподавания» и по «обращению со своими учениками» Благодетеля можно считать «едва ли не первым (во всяком случае, одним из немногих первых) пионером по внесению живого света в сухое, как скелет, схоластически-фрунтовое преподавание русского языка в военно-учебных заведениях». Он «проворно и добросовестно», справлялся с сухой официальной программой и далее «развивал перед нами подробности... не только необязательные, но, по всей вероятности, нежелательные для высшего учебного начальства... Они подготовляли почву самостоятельного развития взглядов на общественные перевороты в России, которые в недалеком будущем нам пришлось переживать и в которых многим пришлось участвовать».

Благодетель тщательно руководил чтением воспитанников. Его богатая личная библиотека всегда была открыта для них. Большинство книг, которые он рекомендовал для чтения, были цензурны, но в учебных заведениях чтение их не допускалось, вот почему он давал учащимся свои книги или указывал, где ту или иную книгу можно купить на толкучке. Такие же книги, как стихотворения Кольцова или Плещеева, которые были тогда строго запрещены и со времени дела Петрашевского изъяты из продажи, Благодетель давал читать ученикам только у себя дома.

Нельзя относиться к пятилетнему преподаванию Благодетеля в военно-учебных заведениях Петербурга как к чему-то незначительному. Это была высокоблагородная и общественно значимая деятельность.

«Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь выдающихся деятелей и деятельниц в области литературы или общественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю словесности. Во всякой школе, всюду должен был быть такой учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь в общих чертах программой, и которому предоставлена свобода выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить, таким

образом, в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской «Словесности», — писал в своих «Записках революционера» князь П. Кропоткин, поступивший в Пажеский корпус два года спустя после того, как уволили Благосветлова.

Именно таким преподавателем был в свое время И. И. Введенский, а следом за ним Г. Е. Благосветлов, В. Попов, В. Рюмин, чуть позже Н. Г. Чернышевский, занимавшие кафедры литературы в различных военных учебных заведениях. Любопытно отметить, что с января 1853 года Чернышевский преподавал теорию поэзии в том же Втором кадетском корпусе, куда в 1852 году поступил Благосветлов. И если в пору шестидесятых годов многие представители русского офицерства оказались в рядах освободительного движения, немалая заслуга в том принадлежит скромным преподавателям русской словесности, вызвавшим во многих сердцах «стремление к возвышенному идеалу».

Любая аудитория, где читал Благосветлов, не оставалась равнодушной к своему преподавателю. Чванливые, заносчивые, пустопорожние, ленивые его не любили и даже ненавидели. Другие — таких было больше в артиллерийском училище, во Втором кадетском корпусе, в Дворянском полку, являвшихся более демократическими заведениями, чем Пажеский корпус, — боготворили своего преподавателя словесности.

Педагогическая работа приносила все большее удовлетворение Благосветлову. Даже с точки зрения такого требовательного педагога, как Иринарх Введенский, его успехи были «блистательными в полном смысле этого слова».

И вдруг рухнуло разом все.

И апреля 1855 года, в девять часов утра, рассказывает Благосветлов в письме одному из своих воспитанников, М. И. Семевскому, он получил из Пажеского корпуса приглашение явиться к инспектору классов.

«— Вы не служите больше в нашем корпусе, — сказал ему генерал-майор, — это воля государя.

— Слушаю, — ответил растерянный Благосветлов и опрометью направился к двери.

— Пойдите, — остановил его генерал-майор. — Жалко мне вас, очень жалко... Вы потеряли все места в военно-учебных заведениях; нынче или завтра вам откажут и другие корпуса, *можно умереть с голоду...*»

«Можно умереть с голоду». Эти слова, как острые иглы, запущенные под ногти, болезненно прошли по моей душе, — писал Благосветлов об этом разговоре одному из своих учеников, будущему издателю «Русской старины» М. И. Семевскому, — голова загорелась, в сердце проснулось ужасное негодование, и я, оглушенный молотом, ударившим непредвиденно прямо в темя головы, возразил:

— Неужели я лишился всех мест?...

— Всех до одного, — продолжал мой беспощадный палач, карманный герой 12-го года. — Всех до одного, — подтвердил он и бросил на меня свой

генеральский взгляд, в котором ярко засветилась горькая насмешка, растворенная отвратительным коварством».

И в самом деле, вернувшись домой, Благосветлов обнаружил пакет с отставкой со службы в артиллерийском училище, а несколько позже получил известие об увольнении из Кадетского корпуса.

«Как я дошел до квартиры И. И. Введенского — не знаю, — рассказывает Благосветлов далее в том же письме, — вошел в его комнату; он лежал на диване, закрывшись.

— Здравствуйте, Ир[инарх] Ив[анович], — сказал я дрожащим голосом, и слезы брызнули из глаз.

— Здравствуйте, — сказал покойный друг, — знаю вашу историю — не бойтесь ничего: губят вас во имя политических фантомов. Ничего! Не унывайте. Эта буря предвещает вам чудное, новое утро жизни. — И слова слепого мудреца, как освежительная капля, падающая на язык истомленного жаждой, ободрили меня, освежили мои силы. — Ну, — продолжал он, — клянусь вам отстоять вас, разве сам упаду духом и не поборю Ростовцева».

Введенскому не удалось отстоять своего ученика: три месяца спустя, 14 июля 1855 года, Иринарх Иванович умер. Смерть Введенского, крах собственной ученой карьеры — все это, вместе взятое, потрясло Благосветлова. «Тридцать лет провести без радостей, без надежд, без сочувствия, среди лишений, нужды, непрерывных трудов, и в заключение этого дивертисмента стать перед лицом голодной смерти: это...» — обрывает он горестным отточенным письмом Семеvскому.

«Два слова разрушили все мои планы, обратили в пепел все мои надежды», — пишет он в другом письме.

Что это за слова, оказавшиеся столь роковыми? В письме начальнице Мариинского института, с которого начинается эта глава, Благосветлов в подробностях рассказывает историю своего увольнения из Пажеского корпуса.

На обсуждении в одном из классов читал свое сочинение «О кончине государя императора Николая Павловича» паж Ханьков, который представил одну только внешнюю сторону деятельности императора, «то есть коснулся одних второстепенных предметов». Это-то обстоятельство, по уверению Благосветлова, и заставило его бросить фразу в том духе, что, судя по сочинению г. Ханькова, «государь занимался одними пуговицами и воротниками». Если верить этому оправдательному письму Благосветлова, слова о «пуговицах и воротниках» были произнесены в укор ученику, представившему дело так, что «долговременная благотворная деятельность государя императора ограничивается одними мелочными деяниями». Однако слушатели этого укора не почувствовали. По-видимому, крамольная фраза, сводившая «долговременную благотворную деятельность» Николая I к «пуговицам и воротникам» (ядовитый намек на пристрастие покойного царя к фрунту и внешним воинским атрибутам), была произнесена в иной, утвердительной и достаточно резкой интонации. Слух об этом выпад неосторожного учителя разнесся по Пажескому корпусу. И когда четыре дня спустя он поставил несколько нулей самым ленивым своим воспитанникам (это

было вечером, в субботу; нули мешали им ехать домой в воскресенье), один из них, «именно г. Бибиков, глупый ленивый и избалованный мальчишка, сказал про себя, но так, чтоб я слышал: «Я скажу инспектору: он бранил государя». «Я смолчал, — продолжает рассказ Благодетлов, — чтобы доложить об этом г. инспектору наедине. В то время когда я спокойно занимался в своем классе, вдруг один воспитанник 1-го класса, г. Супонев, с нахальным видом, в небрежной позе, остановился невдалеке от меня и довольно громко сказал: «А ведь я окажу дяде, и его высекут». (После я узнал, что он племянник г. Дубельта.) Этого оскорбления я перенести не мог... Я взял шляпу и вышел из класса... Дальнейшего хода дела не знаю. Знаю только то, что еще никто не знал об этом событии из моих начальников, ни генерал Ростовцев, ни директор, ни инспектор корпуса, государю императору было известно... Я не был призван ни к оправданию себя, ни к пояснению своего дела. Во внимание была принята только одна сторона, обвиняющая меня. Впрочем, как теперь, так и тогда я не решился бы придавать своему делу официальной формы. Мог ли я вступить в борьбу с племянником г. Дубельта, я, не имеющий ни покровителей, ни связей, человек бедный, который добывает себе пропитание тяжелыми трудами преподавателя?»

Обида и гнев Благодетлова пали прежде всего на племянника шефа жандармов Дубельта, «от которого редкий из учителей не потерпел какого-нибудь оскорбления» и которого даже генерал-инспектор корпуса «называл мерзавцем, терпимым в заведений только по необходимости». Супонев был прежде учеником Благодетлова и имел повод не любить своего учителя, потому что тот «не был снисходительным к его дурным поступкам и лености». Но Благодетлов понимал, что причины его увольнения куда более глубокие, чем мстительность злого шалопа-аристократа.

«Девять месяцев я находился без всякой должности, — продолжает он свое письмо. — Не зная света, не имея покровителей, лишенный всяких надежных средств к существованию, среди ежеминутных душевных тревог и опасений за неизвестное будущее, я затворился в тиши кабинета и искал единственной отрады в науке».

Именно в это время Благодетлов занялся журналистикой. В журнале «Сын Отечества» (№ 28, 31, 38 за 1856 год) он печатает статью «Исторический очерк русского прозаического романа». В «Отечественных записках» (№ 1 за 1856 год) — статью «Взгляд на русскую критику» («Я защищаю в этой статье память Введенского», — писал он Семевскому). В «Общезанимательном вестнике» — «Современное направленно русской литературы» (1857, № 1) и биографию И. И. Введенского (1857, № 5, 6). «Это мой непреложный обет», — писал он о работе «И. И. Введенский».

Собственно, журнал «Общезанимательный вестник», просуществовавший меньше двух лет, весь являлся своего рода памятью Введенского. Его издателем был Владимир Николаевич Рюмин, преподаватель литературы в Дворянском полку, участник «сред» Введенского. Постоянными авторами — Г. Е. Благодетлов, преподаватель Кадетского корпуса В. П. Попов и другие посетители «сред». Редактировал журнал близкий друг Благодетлова В. П.

Попов. В письме ему из-за границы от 12 января 1858 года Благосветлов пишет: «Передай комплимент В. Н. Рюмину за прекрасную бумагу и печать его журнала. Желая ему счастья, а тебе — умного редакторства. Веди дело умней и осторожней». В том же письме он называет «Общезанимательный вестник» «приемышем» Попова. К годовщине смерти Введенского журнал опубликовал его портрет и стихи «К портрету Введенского». «Всегда окружен клеветою, с интригою вечно в борьбе, не пал он могучей душою и верен остался себе: предать не хотел убеждений, интригами мест не искал и ряд молодых поколений на службу добру воспитал» — так начинались эти неуклюжие, но искренние строки, подписанные: «В. П. Попов, один из учеников. И. И. Введенского».

«Общезанимательный вестник» в развитие демократических традиций Введенского в первых же номерах провозгласил необходимость «отрицательного направления» на Руси.

Открывающая первый номер журнала статья Благосветлова «Современное направление русской литературы» ратовала за умственный прогресс, за «образование», осмысляемое граждански, за выработку в русском обществе и русской литературе «твердых убеждений». По мнению Благосветлова, главный недостаток современной ему русской словесности заключается «в отсутствии живого и твердого направления». Истоки такого направления он видел в традициях «победоносной силы XVIII века», времени «благородного энтузиазма», когда человеческая мысль «страшным ударом поражала отжившие предания феодализма». В России же это направление выразил Белинский, заслугу которого Благосветлов видел в том, что, «защищая идею красоты и добра среди самой материальной эпохи, он сблизил литературные вопросы с общественными симпатиями» и «как честный солдат отдал все в пользу своей битвы». Так в самом начале творческого пути Благосветлов при очевидной расплывчатости своего мировоззрения развивался тем не менее в русле демократических идей. Однако речь здесь идет лишь об общности тенденций, но не о тождестве мировоззрений. Демократическая традиция в русской общественной мысли на всех этапах ее развития, а в особенности в пору пятидесятых годов, включала в себя множество оттенков.

Исследователей творческого наследия Благосветлова не могло не смутить то обстоятельство, что в своих статьях 1856–1857 годов Благосветлов спорил не только с реакционными журналами, но и с «Современником», упрекая его в непоследовательности: «Современник» новой редакции в первые годы своей деятельности является жарким защитником так называемой «натуральной школы», — одобрительно пишет он о времени сотрудничества в этом журнале Белинского. Однако позже журнал «начал подрываться под ту же натуральную школу, которую он, назад лет шесть, считал единственно возможною в литературе...».

Благосветлов верно подметил здесь «снижение тона», которое произошло в «Современнике» после смерти Белинского. Он справедливо критикует журнал за отказ от традиций Белинского в статьях Дружинина, Боткина и других столпов «эстетической критики» в период «мрачного семилетия». Но он не

видит иной, демократической тенденции, которая, несмотря ни на что, продолжала жить в «Современнике» этого периода. И главное — что совсем уж несправедливо он и в 1856 году отказывается «Современнику» «во всяком направлении». Такое отношение Благосветлова можно объяснить, в частности, тем, что в апрельском номере «Современника» за 1854 год был помещен фельетон «Тонкие критики»-, содержащий резкие и необоснованные нападки на Введенского. Не случайно биографию И. И. Введенского Благосветлов завершает прямой полемикой с «Современником», где защищает память Введенского. И все-таки истоки полемики Благосветлова с критикой «Современника» лежат глубже.

Надо сказать, что Благосветлов неоднократно говорил о своем глубоком уважении к Чернышевскому. В марте 1861 года он писал Мордовцеву, жалуясь на свое крайнее одиночество в Петербурге, что уважает в столице всего «двух-трех литераторов-людей», и в их числе особо выделял Чернышевского: «*C'est un homme de la trempe bien fine et bien torte*»<sup>[7]</sup> но с ним-то, кого я особенно любил, и не приходится видеться. Жену его я терпеть не могу, а он очень любит ее: вот мы и разошлись». Последние слова многозначительны и раскрывают в какой-то степени свидетельство сотрудника «Русского слова» Н. Фирсова: «О Н. Г. Чернышевском он по возможности избегал разговаривать. Когда же было необходимо, то задумчиво хмурился, стараясь не глядеть никому в глаза, отделивался общими, впрочем, не противоречащими истине фразами: «Мы в ранней молодости близко были знакомы с Чернышевским» (намек не только на Саратовскую семинарию, но, бесспорно, и на кружок Введенского. — Ф. К.), «вместе учились», «я его очень уважаю», «я в существе разделяю его взгляды, но во многом с ним не могу согласиться» и т. д...»

Сложность взаимоотношений Благосветлова и Чернышевского объяснялась, по-видимому, не только отсутствием в Благосветлове симпатии к жене Чернышевского, но прежде всего определенным различием взглядов. Чтобы увидеть эти различия, достаточно сопоставить, как оценивали в это время (1856–1857) Благосветлов и Чернышевский критику Белинского. Для Чернышевского в его «Очерках гоголевского периода...» характерны не только глубокое понимание творчества Белинского, но и подлинный историзм. Благосветлов же относится к творческому наследию Белинского с симпатией, но метафизически. «Зрелость и самостоятельность начались для Белинского поздно, незадолго до его смерти», — скажет он в 1860 году в рецензии на 7-й том сочинений критика. Эта мысль, перечеркивающая все раннее творчество Белинского, пронизывает и статьи Благосветлова 1856–1857 годов. Предвосхищая Писарева и Зайцева, он упрекает Белинского в непоследовательности, в том, что тот слишком долго шел дорогой «эстетической» критики.

Не отсутствие демократических начал, а чрезмерную прямолинейность их являл Благосветлов, этот человек «решительных мнений», уже в самом начале своей публицистической деятельности. Степень его радикальности в это время ясно выражена в одном из его писем к Семевскому, написанном в годовщину отчисления его из Пажеского корпуса (11 апреля 1856 года). «Ученик донес на

своего учителя, который никогда ничего не желал своим воспитанникам, кроме добра и пользы. Ученик предал своего учителя, как Иуда, которому даже отказали в кровавых сребрениках... Это совершенно достойно русского аристократа и его сына, будущего представителя лучшего народного сословия. Бр-бр-бр... мерзавцы, достойные костров, темниц, цепей и рабства, гнетущего вас, пресмыкающихся тварей и подлых лакеев придворного крыльца. Да падет кровь тысяч невинных страдальцев на вас и на потомков ваших — и она действительно падет. Прозвучит последняя минута вашего жалкого блаженства — и дворцы ваши падут среди пожаров, дети ваши застонут в колыбели, матери и жены будут просить жизни, как милостыни, у самых презренных рабов, богатства ваши разлетятся прахом... и палаты ваши, доселе оглашаемые стопами раболепных клиентов, обольются кровью ваших собственных трупов... Гроза грянет, и гнев небесный не пощадит никого из вас. Смотрите вдаль и учитесь воспитывать своих детей не для шпионства и подлых доносов, клевет и обмана, а для спасения вашего же собственного счастья».

Этот взрыв гражданского негодования, эти гневные и прозорливые пророчества совершенно по-новому освещают фигуру Благосветлова. Неукротимость его революционного темперамента, ненависть к деспотизму, к русской аристократии объяснялись, конечно же, далеко не личной обидой, которую он получил. Эта «решительность мнений» была подготовлена всей его предыдущей жизнью. Ведь письмо написано отнюдь не по горячим следам событий, но год спустя, как раз в ту пору, когда все личные неприятности были для Благосветлова позади.

«Я служу преподавателем русского языка и словесности в *Мариинском институте*.!!/» - пишет он Семевскому 7 февраля 1856 года. Он был принят в этот весьма привилегированный институт «для благородных девиц», находившийся под покровительством великой княгини, по конкурсу. Испытание держали четыре преподавателя русской словесности очень высокой квалификации. Конкурс показал, что «г. Благосветлов пред всеми прочими отличается как глубиной и обширностью сведений, так и замечательным талантам преподавателя».

В январе 1856 года Благосветлов приступил к преподаванию литературы «благородным девицам» благодаря тому, что, как писал он Семевскому, III отделение «забыло маленький Мариинский институт, в углу которого я притаился», по ненадолго. Уже три месяца спустя из канцелярии III отделения на имя великой княгини Елены Павловны был доставлен с грифом «Секретно» срочный пакет: «Государь император высочайше изволил повелеть: учителя Мариинского института *Благосветлова* уволить от занимаемой им должности и впредь па службу по учебной части не определять».

Рядом с этим документом в «деле» Мариинского института хранится еще один — «Покорнейшее прошение» учителя Благосветлова: «Болезненное расстройство организма и в особенности груди ставит меня в невозможность продолжать учительскую деятельность в Мариинском институте, вследствие чего прошу покорнейше Совет института уволить меня от службы».

Свое «прошение» Благосветлов написал после того, как «секретарь ее величества» вызвал к себе учителя словесности и объявил ему «очень холодно и спокойно: «Великая княгиня приказала вам подать в отставку за болезнью». Это был для него страшный и окончательный удар. «Боже мой! Чего бы я не отдал великодушному царю за одно слово прощения, — пишет он 17 июня 1856 года тому же М. И. Семевскому. — Год крепости, 5 лет жизни — все, что есть дорогого для меня на земле, все отдаю за то только, чтобы не лишали меня того поприща, для которого я чувствую себя способным и на котором я мог приносить посильную пользу».

Благосветлов не знал, что во все учебные округа империи — Санкт-Петербургский, Московский, Казанский, Киевский, Харьковский, Виленский, Варшавский и другие — еще 15 мая срочно был направлен секретный циркуляр министра просвещения, в котором сообщалось повеление государя об «увольнении от службы» Благосветлова в силу его «неблагонадежности». Благосветлов был лишен возможности заниматься дорогой его сердцу учительской деятельностью где бы то ни было. «Оставляя Мариинский институт, я не могу без глубокой скорби подумать о том, что я теряю учебное поприще один раз и навсегда, — писал он в прощальном письме начальница Мариинского института. — Если бы с этой потерей соединялись одни материальные невзгоды и лишения, я сумел бы перенести их равнодушно, благодаря остатку тех сил, которые судьба еще пощадила во мне. Притом воспитание мое, слава богу, научило меня не презирать ни одного честного поприща. В материальном отношении для меня все равно — стоять ли с лопатой в руках в ряду поденщиков или сидеть за министерским столом, — лишь бы честный труд давал насущный хлеб. Но, кроме материальных потребностей, есть потребности ума и чувства для человека, рожденного не с пустым сердцем, есть свое призвание в жизни, и неотразимый голос этого призвания часто бывает сильнее всяких расчетов».

Благосветлов теряется в догадках, откуда вновь пришла беда, и полагает, что это расплата за прежнее — за резкие слова о Николае I, сказанные им в Пажеском корпусе. Он так и не узнал до конца жизни истинной причины окончательного увольнения его с учительского поприща. А причиной было то самое письмо Семевскому от 11 апреля, в котором он слал проклятия и призывал па голову «мерзавцев, достойных костров, темниц, цепей и рабства» — русских аристократов — народную революцию. Благосветлов не знал, что он когда-то был не просто уволен из Пажеского и других военно-учебных корпусов «за неспособность преподавать пауку в выражениях приличных», но и определен под строгий секретный надзор тайной полиции, что вся его переписка перлюстрируется, что полное гнева и ярости письмо его Семевскому было вскрыто, прочитано и немедленно доложено Александру II, после чего царь «высочайше» повелел: навсегда лишить Благосветлова нрава преподавания.

Трогает своей искренностью немного театральный и аффектированный рассказ Благосветлова о его прощании с Мариинским институтом, последним местом его педагогической деятельности: «Институтки узнали, что я выхожу из



их заведения за болезнью. Огромная аудитория была битком набита. Из других классов собрались многие воспитанницы, классные дамы и даже посторонние.

По обеим сторонам кафедры стояли букеты свежих цветов, и верх кафедры был покрыт куском светлого сукна. Когда окончился класс, воспитанницы высшего отделения встали и сказали мне следующее приветствие: «Вы дали нам в первый раз почувствовать настоящую цену науки, живого и не бесполезного ее преподавания; вы заставила нас полюбить русский язык, читать русские книги и с охотой трудиться; не покидайте нас, г-н Благосветлов; а мы, с своей стороны, постараемся оправдать ваше доброе мнение о нас, утешить вас своими успехами». Я заплакал и скорей убежал из класса, ничего не ответил. 12 июня (это был последний класс) я пришел в институт под влиянием самой тяжелой мысли. С одной стороны, мне хотелось сказать своим прекрасным ученицам всю правду, почему я покидаю их, с другой — мне строго было запрещено. Став на кафедру, я обратился к ним с прощальной речью, в которой хотел намекнуть на истинную сторону дела... При этом грудь моя зашаталась, голос задрожал, тайна полетела к черту, и речь, не лицемерная и правдивая, водилась широким потоком. 30 воспитанниц единодушно заплакали. Я не видел этого благодаря своей близорукости, но белые платки, замелькавшие в руках, показались мне странными. Я сам был взволнован и, если бы не стыдно было плакать, как ребенку, заплакал бы с удовольствием. Класс кончился. Через час, проходя мимо аудитории, в которой я прощался с институтками, я взглянул на кафедру: она была покрыта трауром с белыми плерезами. Воспитанницы стали в два ряда по коридору, и я шел между ними, убитый тяжелой тоской. До самого конца лестницы милые девушки сопровождали своего учителя, не заслужившего такого внимания; последняя из них подала мне букет; и когда швейцар подал мне шляпу, в ней лежал прекрасный венок из роз и незабудок. Я всю дорогу наедине плакал, как только можно плакать без свидетелей человеку с глубоко потрясенным сердцем».

### **НАСТАВНИК ДЕТЕЙ ГЕРЦЕНА**

Спустя год, летом 1857 года, Благосветлов уехал за границу — вначале в Швейцарию, потом в Париж и в Лондон. Как явствует из «дела» III отделения «О штабс-капитане Попове и литераторе Благосветлове», официальные чины полиции, по недосмотру выпустившие Благосветлова за границу, были строго наказаны — «надзиратель Богомоллов уволен от службы, а с Сахарова сделано взыскание».

Уезжал он, по-видимому, в состоянии, еще более ожесточенном и раздраженном, чем в пору своего злополучного письма Семевскому. Вдобавок вся атмосфера жизни в Швейцарии столь резко контрастировала для мыслящего человека с условиями существования в самодержавной России, что Благосветлов вновь, не оглядываясь, вылил гнев в первых же письмах из-за границы к другу своему В. П. Попову. «Видя вокруг себя безграничную свободу мысли и глубокого уважения к ней, трудно удержаться в пределах полицейского деспотизма, трудно не сказать того, что чувствуешь», — оправдывался он в ответ на упреки Попова в «неосторожности». «Я не боюсь за себя; пусть казнят в добрый час: всякая новая жертва — шаг вперед к расплате

за нее...» Однако он обещает «сдерживать себя, сколько возможно больше», несмотря на то, что «этот пост и молитва обходятся нервам очень дорого». Но решительно отказывается от «насильственного распятия» своей мысли, ибо «лишь бы не затворили дверей в Россию, а о крепости нечего заботиться: даровая квартира по приезде — это недурно», — иронизирует он. Благосветлов за границей ведет жизнь труженика: проводит время в библиотеках, каждую копейку экономит на книги, слушает лекции в Сорбонне и мечтает о кафедре в Парижском университете.

Но он ищет в Европе не только «всевозможные источники образования». Европа для Благосветлова — школа общественного мышления, политической борьбы. «Здесь жизнь кипит, рвется по всем направлениям, — пишет он Попову. — Народ грызет последнее звено своих ржавых цепей и с каждой минутой ожидает воззвания к себе; масса пороку готово — нужна одна искра, чтобы все вспыхнуло». Он рассказывает, как Париж, этот «богомерзкий и проклятый город, вздумал охотиться бомбами по Наполеону III и его худенькой супруге», и продолжает: «Я хожу по самой горячей почве; не нынче, так завтра явятся баррикады; но сами французы боятся будущей революции, хотя и убеждены в неизбежной ее необходимости».

Он не идеализирует положение дел в Европе, видит и не принимает останки «Европы средневековой», над которой история произнесла свой последний приговор. Но он не принимает в буржуазной Европе и ее «новую жизнь» с ее «безусловным поклонением золотому идолу».

«Вперед выступает промышленная сила, — пишет он в путевых заметках, опубликованных в «Общезанимательном вестнике», — банкир правит рулем того оснащенного корабля с оборванными парусами, на котором сотни поколений напрасно искали обетованной пристани».

Это очень важно — понять истинное отношение Благосветлова к Западной Европе, потому что еще с легкой руки Н. В. Шелгунова считалось, что Благосветлов «свое умственное развитие... получил в Англии и во Франции». Именно этим странам, по утверждению Шелгунова, он обязан «первым пробуждением в нем общественных чувств... своим политическим сознанием».

Это свидетельство не совсем точно потому, что «первое пробуждение» общественных чувств и политического сознания в Благосветлове произошло, как мы видели, значительно раньше, под влиянием кружка Введенского прежде всего. Он уезжал в Европу человеком во многом сложившихся мнений, он смотрел на европейскую жизнь под собственным, вполне определенным углом зрения. Это был угол зрения демократа, ненавидевшего крепостничество и деспотизм, томившегося по свободе.

Благосветлов красочно передал впоследствии (статья «Страна живых контрастов») те свои ощущения, с которыми впервые ступил на берег Англии: «Когда вдали открылись меловые берега Англии — а это было рано утром в один из ясных майских дней, — я почувствовал то же, что должен чувствовать дикарь, уносимый на европейском корабле от родного уголка земли и неизвестную даль... Меня отделяла от берега, на котором человек чувствует

себя лично свободным, как птица, только одна доска, по которой надо было сойти с парохода...» (129).

За этими строками давняя, выношенная тоска по свободе, идеальное, вынесенное из книг и многочисленных бесед представление об Англии как той стране, которая якобы являет собой разительную противоположность деспотической России. Однако при реальном столкновении с ней Англия явилась для Благосветлова «страной живых контрастов», где богатство уживается «с отвратительной нищетой, низводящей человека ниже животного».

Так что же все-таки привлекало его в Европе, почему он ставил европейские государства в пример России?

Прежде всего, как ему казалось вначале, завоеванное человеком право чувствовать себя «лично свободным», о котором он писал в статье «Страна живых контрастов». Это не так уж мало — особенно если учесть, что Благосветлов приехал в Англию из бесправного, деспотического государства.

Несколько позже (в начале шестидесятых годов) Благосветлов поймет недостаточность, а порой и призрачность этой «свободы». Но пока он весь во власти ощущения, когда «человек чувствует себя лично свободным, как птица». В его письмах к Попову — постоянные параллели между «свободной» Европой и полицейской Россией: «Я русский: «ты раб», — отвечает на это общее мнение... Как далеко мы отстали в цивилизации от западноевропейских народов — трудно измерить это расстояние», — говорит он.

Вместе с тем его не оставляют мысли о том, что происходит в России, напряженное ожидание перемен, связанное в значительной степени с воцарением Александра II.

«До нас доходят страшные слухи о вас, — пишет он в письме от 15 января 1858 года. — Во-первых, будто вы освободили крестьян, на что очень сердятся в Париже помещики, разумно думающие, что после уничтожения кабалы им нельзя будет мотать даровые деньги в парижских кафе и в собраниях лореток... Во-вторых, будто вы уничтожили чины. На это особенно негодуют гвардейские офицеры и лакеи, думавшие получить со временем коллежского регистратора».

«С именем нашего доброго настоящего государя Европа соединяет великолепные надежды, по уже начинают в умах резких возникать сомнения, и не дай бог, если повернется общий голос назад...» — пишет он в другом письме.

Нетрудно заметить, что в своем отношении к Александру II, к его обещаниям реформ Благосветлов в начале шестидесятых годов близок Герцену. Не только иллюзии в отношении Александра II, но и нечто другое — общий демократический склад мировоззрения Благосветлова, как и других шестидесятников, формировались во многом под влиянием пропаганды Герцена. К этому времени Герцен осуществил свою заветную мечту: «Полярная звезда» и «Колокол» будили Россию, звали ее на борьбу.

Вскоре после отъезда Благосветлова за границу III отделение нащупало непосредственные связи его с Герценом. В записной книжке одного из кадетов Константиновского корпуса, где преподавал Благосветлов, были найдены выписки из сочинений Герцена и следы корреспонденции к Герцену через

Благосветлова. В делах III отделения мы читаем: «При рассмотрении в 1858 году бумаг воспитанника Константиновского корпуса Мишевского оказался у него дневник, в котором между прочим было отмечено: «Либеральное наше письмо<sup>[8]</sup> отправлено к Благосветлову, а от него к Искандеру».

15 января 1858 года Благосветлов пишет Попову: «История Басистова<sup>[9]</sup> попала под «Колокол», но это еще цветики, — плоды привезу в Лондон...» История эта была опубликована в шестом (декабрьском) номере за 1857 год; она была посвящена Якову Ростовцеву, куратору военно-учебных заведений, тому самому Ростовцеву, который, говорится в статье, двадцатилетним юношей, пламенно любящим отечество, в порыве молодого и неопытного энтузиазма сделал донос в 1825 году на своих вольнолюбивых друзей. Через тридцать лет, говорится в заметке, Ростовцев донес царю на газету «Петербургские ведомости», напечатавшую негодную Ростовцеву статью. Цензоры были наказаны, министр просвещения князь Вяземский, на чьей ответственности находилась цензура, бросился искать виновного — «и что же по справке оказалось? Статью писал учитель Московского кадетского корпуса Батистов, то есть подчиненный Ростовцева... Съел Яков Ростовцев вяземскую коврижку с инбирем, делать нечего. Как нечего? В 1825 году, желая спасти Россию «от раздробления», он пожертвовал своими друзьями, а Батистов что ему за друг, целость России дороже. Он велел *отставить учителя*. Оказалось, что Батистов — один из лучших преподавателей; директор корпуса попробовал его защититить — не тут-то было! *Батистова отставили!*»

Несправедливость, учиненная с учителем, была так понятна Благосветлову. Но, судя по его письму Попову, это были «еще цветики» — «плоды», то есть серьезные корреспонденции для «Колокола», он намеревался передать лично Герцену.

Переписка Благосветлова с Поповым свидетельствует: будущий редактор «Русского слова» во время своего пребывания за границей не только корреспондировал в «Колокол», он взял на себя тяжелую и опасную миссию — помогать в транспортировке в Россию нелегальных герценовских изданий.

«Послал я тебе книг через Дюфура (книгопродавец в Петербурге. — Ф. К.) путем секретным, но совершенно безопасным, — пишет он Попову 15 января 1858 года. — От г. Гейгенбаха (знакомый Благосветлова. — Ф. К.) можешь узнать об — этих книгах. Чтобы не смешать их с чужими, на моих книгах стоит буква У. Посланы — 6 № «Колокола», 3 части «Полярной звезды», 4 кн. «Голосов из России», 1 кн. «С того берега», 1 кн. «Тюрьма и ссылка», 1 кн. «Крещеная собственность», 1 кн. Стих. Рылеева, 1 кн. Лермонтова («Демон»), 1 кн. «Войнаровский»... Читай, давай другим, но не теряй книги. Они дороги во всех отношениях. Этим же путем я буду и впредь посылать запрещенные книги... Пожалуйста, береги книги и отвечай мне, сколько получено, отмечая цифрой их счет».

Все последующие его письма к Попову полны намеков на эту опасную деятельность — в течение всего времени пребывания за границей он пересылал

в Россию «путем секретным» запрещенные книги, в первую очередь издания Герцена.

«Относительно Дюфура. Сделай милость, повидайся с ним и переговори о книгах», — пишет он в январе 1859 года.

«Наиосторожнейший из самых осторожных Василий Петрович, твое последнее письмо стоило мне стакана, который я разбил от испуга. Я никак не думал, что твои дипломатические способности: так низко пали. Прежде чем разъезжать по Дюфурам, ты потрудись спросить у Гейгенбаха, какие книги должны быть посланы. Ну что, если Мелье перемешал как-нибудь да отправил протестантские вместо католических, — ведь цензурный] комитет отведет мне даровую квартиру в Петропавл[овской] Крепости месяцев на шесть.

Разумеется, книги посланы с тем, чтобы ты получил их от Дюфура; другие имена здесь ничего не значат; но вот вопрос: как получить- их? На это нужна вся твоя сноровка, умение и, главное, способность понимать меня, когда я не могу очень ясно выражаться», — пишет Благосветлов в следующем письме.

«Относительно книг можно успокоить меня одним ловким словом; я пойму его и перестану думать», — вновь возвращается он к тому же вопросу в письме от 21 апреля 1859 года.

Весной 1858 года Благосветлов переезжает в Лондон и в первом же письме оттуда сообщает: «Был я и у лондонского патриарха; он кланяется всем вам...» «Тебе есть искренний привет из Лондона», — пишет он Попову 5 января 1860 года.

Благосветлов не называет даже фамилии Герцена и ничего не сообщает Попову о той духовной близости, которая установилась у него с «лондонским патриархом», — и это естественно в той обстановке, когда каждое письмо, полученное из-за границы в Россию, могло быть перлюстрировано в III отделении. И мы не имели бы представления о действительном характере взаимоотношений Герцена и Благосветлова во время пребывания последнего в Лондоне, если бы не сохранилось письмо Благосветлова Лаврову, написанное им в 1877 году, уже после смерти Герцена, во время пребывания Благосветлова в Женеве. Письмо это посвящено русской эмиграции за границей. «Что Наша эмиграция в Париже? — спрашивает Благосветлов Лаврова. — В Женеве все опустилось и притихло. Ожиданий было много, а плодов собрано мало. И невольно моя мысль обращается к Герцену. Теперь только начинаешь ценить, что это был за великий талант. У меня лично не было лучших дней в жизни, как сближение с ним в продолжение одиннадцати месяцев».

Это письмо исключительно важно для нас. Оно является единственным свидетельством того, что знакомство Благосветлова и Герцена не было формальным, что оно носило характер продолжительной духовной близости. Знакомство это продолжалось долгие годы и стало семейным. В мае 1869 года Герцен пишет своей дочери Наталье Александровне и сыну Александру Александровичу: «На днях явился Благосветлов с женой и детьми — обрился так же безобразно. Рассказывал о крепости и Муравьеве в крепости. Худякова бил офицер нагайкой по голове и пр.». Из письма Герцена от 13 июня 1869 года Н. Герцен явствует, что во время пребывания Благосветлова в Лондоне в 1869

году он уговаривал Герцена писать в «Дело», предлагая ему «сто рублей серебром с листа».

В своих «Воспоминаниях» Н. А. Огарева-Тучкова пишет, что она помнит Григория Евлампиевича в доме Герценов в конце пятидесятых годов. «Он был средних лет, по-видимому, добрый, честный человек, но такой молчаливый, что я не слыхала, для какой цеди он пробыл довольно долго в Лондоне, — помнится, года два. Он занимался переводами, за которые Герцен платил ему... Он изучил в это время английский язык и перевел с английского «Записки Екатерины Романовны Дашковой», которые состояли из двух больших томов и представляла необыкновенный интерес...» «Записки Дашковой» были изданы Герценом с предисловием его.

Н. А. Огарева-Тучкова пишет также, что Благосветлов был учителем русского языка старшей дочери Герцена Наташи, после его возвращения в Россию эту обязанность стал выполнять В. Кельсиев. В деле секретного архива III отделения по этому поводу говорится: «В одном частном письме, полученном здесь на днях из Висбадена, упоминается о некоем Благосветлове, что он был до настоящего времени учителем детей Герцена в Лондоне и ныне возвратился в Петербург».

Сам Благосветлов об этом последнем своем учительстве вспоминал с благоговением. В октябре 1861 года он писал в Саратов Мордовцеву, пересылая ему в подарок ручку для письма: «Эта ручка, в двух экземплярах, подарена мне в Лондоне русской девушкой — Наташей, дочерью нашего эмигранта, известного р[усским] звоном на берегах Темзы. Я давал уроки русского языка этой милой девушке и сестре ее — Оле; когда надо было проститься, ученицы мои сделали мне великолепный подарок, из которого я попросил выбрать два шотландских черенка для перьев. Одним я сам пишу и оставляю его потомству, если таковое окажется: лучшего наследства за мной не предвидится...»

Вообще в письмах Благосветлова к Мордовцеву — а это самый обширный массив переписки Благосветлова начала шестидесятых годов, который дошел до нас, — руководитель «Русского слова» постоянно возвращается мысленно к этим «лучшим дням» в его жизни, когда он был не только принят, но и жил в доме Герцена. В письме от 31 августа 1861 года он пишет: «Под звуки хорошей музыки превосходно работается двум людям Европы — Сафи, бывшему триумвиру Рима 1848 года, и Гарибальди. Первого я часто видел в Лондоне у нашего русского эмигранта и всегда восхищался его итальянской импровизацией, когда милая русская девушка, навсегда оторванная от р[одного] берега, играла на пианино.» В письме от 11 мая 1862 года читаем: «Помню, в Лондоне я постоянно находился вместе с сыном русского эмигранта, и под конец уж мы не разлучались: различие лет, образования и взгляды на вещи — все исчезло в чувстве глубокой дружбы».

Сближение с Герценом, время, проведенное в его семье, работа по пересылке герценовских изданий в Россию — все это, конечно же, не могло не оставить самый глубокий след в миросозерцании Благосветлова. «Для меня одна строчка Г[ерцена] дороже всей Публичной библиотеки, — дороже потому, что идет в

самую жизнь и зовет к новой жизни», — пишет он Мордовцеву 4 марта 1861 года.

Кружок Введенского, а позже Герцен — таковы главные вехи идейного формирования будущего редактора «Русского слова». Игнорируя эти важнейшие факты духовной биографии Благосветлова, невозможно понять и объяснить его общественные позиции и ту серьезную роль, которую он играл в освободительном движении шестидесятых годов. Что значило для Благосветлова его сближение с Герценом, вполне определенно выражал П. В. Быков, писавший позднее, что время, проведенное Благосветловым в Лондоне в качестве учителя детей Герцена, имело «большое влияние на умственный склад Григория Евлампиевич... сформировало и закрепило его общественные убеждения».

### «УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕДАКЦИЕЙ»

В ту пору, когда Благосветлов жил в одной из бедных мансард Латинского квартала Парижа, его разыскал поэт Я. П. Полонский и предложил сотрудничество в новом петербургском журнале «Русское слово». Журнал этот был предприятием богатого мецената графа Кушелева-Безбородко, а редактировал его Полонский.

В течение первых полутора лет существования издание это не пользовалось ни популярностью, ни авторитетом, и даже захудалый «Русский инвалид» позволял себе писать о нем: «Русское слово» напоминает собою балованных, пухлых и одутловатых детей, откормленных на конфетах и сладостях и продолжающих свое жалкое существование единственно по необъяснимой снисходительности природы, дающей место и роскошной пальме и бесцветному слизняку».

«Кушелевский журнал я сразу же понял как прихоть золотого барчонка» — так писал о мотивах, которые двигали графом Кушелевым-Безбородко, его ближайший помощник по журналу Аполлон Григорьев. Впрочем, он был не во всем прав.

«Русское слово» было не просто прихотью богатого меценатствующего барина. В журнальной затее Кушелева-Безбородко ярко проявился общий либеральный дух того беспокойного времени с его стремлением к гласности, прекраснодушными иллюзиями, общественным оживлением, когда, по свидетельству Н.В. Шелгунова, новые издания «появлялись, как грибы». В этой обстановке и возникло «Русское слово», как еще один орган «прогресса и умеренности», с необычайно расплывчатой, неопределенно либеральной программой.

Я. Полонский и А. Григорьев практически призваны были вести журнал, но граф Кушелев-Безбородко неоднократно и настоятельно подчеркивал, что главным-то хозяином является он. «Оставляя себя и главным и единственным редактором... надеюсь, что «Русское слово» нисколько не упадет от моего исключительного редакторства, даже имею самонадеянность предполагать, что оно получит новое развитие и большую популярность, постоянно действуя согласно главной цели его основания», — писал он Я. Полонскому.

Граф был излишне самонадеянным. К середине второго года издания тираж «Русского слова» упал до 1200 экземпляров, и журнал оказался на грани краха, удерживаясь на ней только капиталами Кушелева. Всеядность и бесхребетность, отсутствие серьезной гражданской программы превращали журнал в склад случайных, далеких от запросов жизни, малоинтересных статей и публикаций. И это в то «удивительное время... когда всякий захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко, — писал о 1860-х годах Н. В. Шелгунов. — Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный, и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России...» Шелгунов вспоминает, что в воздухе тех лет чувствовалось «политическое электричество», «все были возбуждены, никто не чувствовал даже земли под собою, все чего-то хотели, куда-то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня, а завтра явится неведомый Мессия», «...все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало».

А «Русское слово» уходило от всех сколько-нибудь серьезных жизненных вопросов и кокетничало мнимой «надпартийностью».

С первых же месяцев существования журнала Кушелева-Безбородко в его редакции завязывается ожесточенная борьба. Истоки ее были прежде всего в соперничестве Я. Полонского и А. Григорьева, каждый из которых стремился к максимальному влиянию на Кушелева-Безбородко и на ведение журнала. Но соперничество это не было только личным. Я. Полонскому претило славянофильство А. Григорьева, и он стремился ограничить «дух» «Москвитянина» в «Русском слове». Борьба эта закончилась поражением Я. Полонского, которому пришлось уйти.

Дав отставку Я. Полонскому, Г. Кушелев-Безбородко назначил с июля 1859 года «управляющим редакцией» некоего А. Хмельницкого, первой акцией которого было увольнение А. Григорьева за проповедь «отсталых взглядов».

А. Хмельницкий, как редактор, смотрел на журнал как на чисто коммерческое предприятие, как на легкую возможность извлечь из затеи богатого графа личный капитал. Итоги его деятельности были плачевными. Прошло немного времени, и даже Кушелеву-Безбородко стало ясно: «Русское слово», которое становилось все убыточнее и убыточнее, стоит на пороге гибели. Необходимы были самые энергичные меры, чтобы спасти журнал, столь основательно скомпрометированный в глазах читателей.

Летом 1860-го Кушелев-Безбородко обращается к Благодетелю, уже сотрудничавшему в журнале, с просьбой взять на себя ведение «Русского слова». С того времени, как Благодетель стал управляющим редакцией (июль 1860-го), и началось то истинное, настоящее «Русское слово», которое вошло в историю русской культуры, в историю русского освободительного движения как выдающийся демократический журнал, союзник и сподвижник «Современника» в общественной борьбе.



Благосветлов пришел в редакцию «Русского слова» со сложившимися демократическими убеждениями. Будучи человеком властного характера и немалых практических, организаторских способностей, твердой рукой направлял он журнал по тому пути, который соответствовал его взглядам. Уже те немногие статьи, которые опубликовал Благосветлов в «Русском слове» до того, как он пришел в журнал, раскрывают характер его мировоззрения.

Чтобы правильно понять позиции Благосветлова в этих статьях, надо ваять в расчет следующее его письмо в редакцию «Русского слова» в 1859 году: «Желал бы знать, в какой степени Ваш журнал ограничен относит[ельно] политич[еских] воззрений?» — задавал он вопрос Я. Полонскому, советуя тут же ему сосредоточить внимание прежде всего на истории. И действительно: все или почти все напечатанное Благосветловым в 1859-м — первой половине 1860 года в «Русском слове» посвящено истории. Уже в самом выборе тем для статей, в том, как разрабатываются эти темы, в обширных отступлениях, намеках и полунамеках ощущается взгляд демократа и просветителя на насущные проблемы народной жизни России шестидесятых годов.

Первое и главное, что привлекает внимание Благосветлова, — французская революция. Истории Франции, причинам, которые обусловили французскую революцию, посвящены наиболее серьезные работы Благосветлова — «Кольбер и система его» (1860, № 2), «Тюрго и министерство его» (1860, № 4–5). Эти статьи обнаруживают первооснову политического кредо Благосветлова в начале шестидесятых годов.

Симпатии Благосветлова, его душа и помыслы отданы эпохе Великой французской революции и людям, которые ее подготовили. Там его страсть, его любовь, его социальная и политическая мечта, школа борьбы. «Не было ни одной эпохи, которая бы так широко и глубоко волновала ветхий мир, так была богата великими деятелями мысли и результатами ее; по крайней мере никогда любовь к истине не заявила себя такими благородными жертвами, не возбуждала такого энтузиазма и сочувствия, как в прошлом столетии, — писал Благосветлов. — Это был век умственного потрясения во всех человеческих верованиях, убеждениях и надеждах. Его дух доселе живет с нами; его горячее и вдохновенное слово доселе раздражает нервы и шевелит сердце; его школа была школой всего человечества»<sup>[10]</sup>. Деятелям революционной Франции, по мнению Благосветлова, нельзя

Благосветлов с грустью пишет о том, что последовавшие за революцией «реакции» рассеяли «золотые сны старого времени». «Поставив на место трибуны мелочную лавку и усадив банкира на мешке хлопчатой бумаги вождем современных событий, мы думаем, что лучшего счастья нельзя желать народам» (1860, 4, I, 69), — саркастически замечает он. Благосветлов задыхается в этой «мутной атмосфере эгоизма и апатии», которая окутала жизнь за последние десятилетия, и не скрывает того, что всеми фибрами души стремится к той поре «нравственной силы, отваги и благородных действий», которыми отмечен XVIII век. «В состоянии ли мы возвыситься до тех высоких

начал, которые в конце прошлого века одушевляли философа, политика и солдата? Говорят, есть эпохи, в которые жизнь измеряется днями, и эти дни стоят нескольких лет другого времени» (1860, 4, I, 70), — говорит Благосветлов. Трудно в подцензурной статье яснее выразить тоску по революции.

Что отличает позиции Благосветлова этой поры от воззрений вождей русской революционной демократии — Чернышевского или Добролюбова?

В это время перед Благосветловым не встает еще в полный рост проблема социализма. Да и в последующие годы вопросы, связанные с утопическим социализмом и критикой капитализма, будут волновать Благосветлова гораздо меньше, чем Писарева, Шелгунова или Зайцева.

В статьях же 1859–1860 годов он неоднократно и с большим уважением отзывается о «социалистах», однако серьезного понимания сути их идей не обнаруживает. Его пугают крайние социалистические и коммунистические системы тем, что они, по мнению Благосветлова, узурпируют личность.

Это не значит, что Благосветлов славит капитализм. Нет, в его выступлениях 1859–1860 годов немало грозных филиппик против буржуазности. Он критикует буржуазию как эксплуататорское сословие с точки зрения народа, с позиций трудящихся, эксплуатируемых масс. Он показывает, как постепенно возвышалась буржуазия, утрачивая со временем то прогрессивное, с чем она выступила на политическую арену, как все дальше отделялась она от «низшего сословия», с которым ее уравнивали когда-то «невежество, раболепие, бедность и одинаковое желание освободиться от «медвежьей лапы» вассала».

«Народ» для Благосветлова — понятие не дифференцированное. Прежде всего это русское крестьянство.

Верный правилу «будем валить все на историю», Благосветлов касается жизни русского народа на материале иных народов, других эпох. Вот как характеризует он, к примеру, жизнь французского крестьянства: «В его недрах, как в нетронутых золотых россыпях, лежит вся сила народа; оно работает за всю страну, дает лучших детей войску, несет всю тяжесть государственных расходов, страдает за всю Францию, и никто не хочет этого видеть; мирный житель его находится на положении современного индийского райи... Все, что выше его, стоит к нему в положении осаждающего: сеньор, его вассал, сборщик податей, церковник и всякая инфузория, отличенная от него мундиром, требует покорности, работы и денег» (1860, 5, I, 242). Характеристика настолько прозрачна, что не представляет большого труда раскрыть истинный и главный смысл ее: бедственное, бесправное положение не только французского, но и русского крестьянина. Оно-то и привело страну к состоянию, которое публицист определяет как «состояние опасно беременной женщины».

Каковы причины того тяжелого экономического положения, которые привели Францию (читай — Россию) к голоду и нищете ее народа? Что стоит на пути экономического процветания страны и благополучия народных масс?

В ответе Благосветлова на этот вопрос проявилась вся непоследовательность и незрелость его критики капитализма и одновременно величайшая последовательность демократа-просветителя, ненавидевшего крепостное право

и все его порождения в экономической, социальной и юридической области, страстно защищавшего просвещение, свободу и европеизацию России, искренне верившего, что отмена крепостного права принесет общее благоденствие.

Благосветлов убежден, что благосостоянию народа мешает прежде всего *отсутствие свободных учреждений в России*.

В истории русской журналистики шестидесятых годов немного назовешь людей, которые с такой же неукротимостью проводили в своих статьях идею свободы – личной и политической. Даже беды, «ввязанные с эксплуатацией труда капиталом, он предполагает лечить тем же — к слову сказать, чисто буржуазным — путем: свободой труда. Свобода труда в его представлении — это панацея от всех бед, гарантия экономического здоровья и благосостояния народа. Он и не подозревает пока, что «свобода труда» и «индивидуальная независимость», эта «великая тайна народного богатства», — прямая дорога к тому неприемлемому для Благосветлова обществу, которое «приносит работника в жертву капиталисту».

В глубине понимания социальных коллизий времени Благосветлов уступает таким корифеям общественной мысли, как Чернышевский или Добролюбов. Но демократический характер самого требования *свободы труда* в условиях крепостнической России вряд ли можно подвергать сомнению. Тем более что для Благосветлова он был лозунгом прежде всего политической борьбы. «...Без политической свободы нет свободы труда, а без свободы труда нет народного богатства» (1860, 2, I, 85), — формулирует Благосветлов этот столь важный для него принцип и последовательно проводит его в жизнь.

Идея «свободный человек в свободном государстве», которая, по свидетельству Шелгунова, была руководящей идеей Благосветлова, заключала в себе прежде всего антикрепостнический, антимоноархический смысл.

С убежденностью и последовательностью, насколько это позволяли цензурные условия, выступал он против всего, что сковывает свободу человека в сфере политической и духовной. Здесь истоки той борьбы за всестороннюю и полную эмансипацию личности, которую поведет «Русское слово» в 1861–1866 годах.

Благосветлов придает свободным политическим учреждениям огромное значение и порой идеализирует политические порядки западных стран. Это свидетельствует, что поначалу его воззрениям была свойственна известная незрелость. Но эта незрелость не ставит под сомнение главного: демократического характера убеждений Благосветлова. Равно как и того, что он взял на себя руководство журналом ради идейных целей — ради проведения в общество определенной системы убеждений и верований, резко отличной от той программы расплывчатого либерализма, которая отличала кушелевский журнал. Вот почему с первых же шагов его редакторской деятельности столь остро встала перед Благосветловым проблема направления журнала, цельности, единства и строгой выдержанности его.

«Между редактором и его сотрудниками должно быть согласие и спетость, — без этого нет идеи и ее результатов» — этот принцип положил Благосветлов

в основу своей редакторской деятельности. «Положим, — писал он позже Шелгунову, — что мы выиграем в солидности фактов, в основательности мнений, если поручим Костомарову разбирать историю Соловьева, Пыпину — домострой, Кавелину — гражданские законы, Прыжову — оружие Грановитой палаты; но черт ли в этой солидности? Ведь это будет концерт из кастрюль, сковород, ухватов и кухонной посуды, это будет ученая крошка, приготовленная на филистерском бульоне, это будет то, что противно моей душе и голове хуже всякого рвотного».

Первое, что необходимо было сделать для преобразования журнала, — освободиться от прежних сотрудников и сформировать новый круг публицистов, единых по своим убеждениям. Так как цвет демократической публицистики был сосредоточен вокруг «Современника», перед Благодетелем стояла нелегкая задача.

Трудности не могли не усугубляться и тем обстоятельством, что в течение 1860–1862 годов он не был ни редактором, ни издателем «Русского слова». Он был лишь «управляющим редакцией» у графа Кушелева-Безбородко. Последний самолично отвечал за направление журнала перед правительством и неоднократно подчеркивал, что хочет «иметь полное влияние на направление его», а не ограничиваться ролью «плательщика», то есть денежной шкатулки. Кушелев сам стремился сотрудничать в журнале и вдобавок имел немалое число «литературных друзей».

Позже Благодетель в заметке «От издателя» писал о начале своей редакторской деятельности в «Русском слове»:

«...Всматриваясь в самый состав редакции, я нашел ее совершенно на бюрократическом положении. Его превосходительство профессор Казембек получал, кроме по листной платы, 150 р. в месяц только за ту честь, которую он оказывал своим именем и статьями журналу; г. Лоховицкий за ту же честь получал 100 руб. и т. д. Находя, что при 1200 подписчиках «Русского слова» в 1860 году такая честь дорого обходится журналу, я скоро расстался со многими почтенными филистерами, разумеется, не без борьбы, и повел журнал на новых основаниях» (1865, 9, III, 6).

Прежде всего Благодетель много и плодотворно сотрудничает сам. С июля 1860 года в редком номере «Русского слова» не появляется его статья, а иногда и две-три статьи. С первых же номеров благодетельского «Русского слова» активно сотрудничает в журнале его старый друг и помощник по редакции, воспитанник И. Введенского, В. Попов.

Благодетель преобразовывает отделы журнала, с тем чтобы максимально приблизить его к запросам жизни действительной и из академического «учено-литературного» издания превратить в орган политической борьбы. «Политический журнал... постоянно будит ум России, сторожит за преобладающим чувством общества и выражает его в общедоступной и убедительной форме» (1860, 9, III, 2), — утверждал Благодетель. И проводил этот принцип в жизнь.

С июля 1860 года в «Русском слове» появляется отдел «Политика» — обозрение политической жизни зарубежных стран, который давал возможность

не только освещать борьбу сил прогресса и реакции за рубежом, но на материале чужеземном ставить проблемы сугубо отечественные. Наиболее активным сотрудником этого отдела поначалу был сам Благодетель, а потом, с сентября 1860 года, он вел в этом отделе постоянный обзор современных событий. Начиная с ноября 1860 года в отделе «Политика» начинает печатать «Парижские письма» революционно настроенный французский публицист, будущий участник Парижской коммуны Эли Реклю, который вскоре стал основным автором политического обозрения.

В марте 1861 года после долгой борьбы с цензурой в журнале появился еще один новый отдел — «Современная летопись» — обозрение внутренней жизни России. Появление «Современной летописи», а также фельетона «Дневник Темного человека» (об авторе его Благодетель писал: «Минаев — Темный человек<sup>[11]</sup> кусается великолепно, весь наш...») было большой победой редакции: эти отделы давали возможность выносить на обсуждение наиболее проблемные вопросы жизни, не обращаясь к материалу истории или чужеземных стран. «Современная (с 1863 года — «Домашняя») летопись» стала ведущим отделом журнала. До начала 1865 года ее составлял, как правило, Благодетель.

Но, конечно, самым значительным событием в истории журнала был приход Дмитрия Ивановича Писарева.

«Вы, конечно, лучше меня видите, чем хромает журнал, — писал Благодетель Мордовцеву, — у него нет критического нерва, потому что нет здоровой и всесокрушающей критики». Надо было обладать редакторским даром Благодетеля, чтобы в двадцатилетнем юноше, который приносил ему переводы из Гейне, разглядеть талантливого критика, будущего «пророка молодого поколения», каковым, по словам Шелгунова, явился Писарев.

«Раз утром зашел я к Благодетелю. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным умным лбом и с большими, умными красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев», — вспоминает Шелгунов о своей первой встрече с критиком «Русского слова».

Писарев познакомился с Благодетелем в конце 1860 года, а с первых месяцев 1861 года началась его систематическая деятельность в журнале. Прежний опыт его литературной работы ограничивался сотрудничеством в издаваемом отставным артиллерийским офицером Кремпиным «Рассвете» — журнале «наук, искусств и литературы для взрослых девиц».

Со времени прихода в «Русское слово» «в Писареве свершилась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, — пишет Шелгунов, — которая при его страстности принимала чуть не горячий характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он назад».

Что обусловило столь бурную эволюцию Писарева в 1860–1862 годах? Чем объясняется разительное быстрое превращение сотрудника журнала «для девиц» в первого критика «Русского слова» и автора прокламации о Шедо-Ферроти? Здесь взаимодействовал целый комплекс причин: прежде всего общественная атмосфера времени, которое В. И. Ленин определял как время революционной ситуации, проповедь «Современника» и «Колокола», революционно настроенный круг молодых друзей Писарева (братья Жуковские, Баллод и др.), в котором критик «Русского слова» вращался в 1860-1861 годах. И конечно же, редакция журнала, куда пришел работать молодой критик. Благодетель с самого начала принял самое горячее участие в судьбе Писарева. После того как тот съехал со своей студенческой квартиры, где жил вместе с Баллодом и братьями Жуковскими, Благодетель поселил его в семье своего друга В. Попова. Прошло немного времени, и руководитель «Русского слова» сделал молодого критика своим помощником по редакции. Благодетель был буквально влюблен в Писарева, и тот, в свою очередь, платил ему горячей признательностью и уважением. «Не будь около меня Писарева и Минаева, я считал бы себя похороненным в любезном отечестве», — пишет Благодетель Мордовцеву в марте 1861 года. В кабинете Благодетель, по свидетельству Мордовцева, висел портрет Писарева с собственноручной его подписью, гласившей: «Слова проходят — дела остаются».

Вопрос о влиянии Благодетель на Писарева занимал многих. Однако большинство исследователей, исключая, может быть, Л. А. Плоткина, решали его с субъективных позиций. Одни из них — недоброжелатели Писарева, а их было немало в дореволюционной науке, — стремились превратить критика в ничтожного последователя Благодетель. Другие — доброжелатели — отрицали какое бы то ни было влияние Благодетель на Писарева, потому что признать, будто убеждения Писарева сложились под руководством Благодетель, значило, на их взгляд, принизить Писарева. И те и другие исходили из совершенно превратного понимания позиций и общественного лица Благодетель.

В действительности, хотя вполне справедливы слова Шелгунова, что «Благодетель принадлежал к группе людей, во главе которых стал Писарев», большим счастьем для молодого критика было то, что начал он свой литературный и общественный путь под руководством такого опытного и зрелого политического бойца, каким был Благодетель. Прав, по-моему, Л. Плоткин, считающий, что «многие взгляды Благодетель послужили исходной точкой, отправным пунктом для Писарева» и что вместо с тем в дальнейшем деятельность Писарева развернулась с такой широтой, «что роли переменялись и ученик стал учителем».

Сам Благодетель впоследствии писал, что у него не было в жизни более близкого человека, чем Писарев: «У меня не было на земле лучших нравственных симпатий, как к нему (Писареву), и уж я, стоявший так близко к самому процессу этого хрустального ума, мог понимать и ценить его силу». В свою очередь, Писарев неоднократно свидетельствовал, какое колоссальное духовное и идейное влияние оказал на него Благодетель.

В 1865 году в журнале «Современник» в ходе полемики «Современника» и «Русского слова» было опубликовано весьма примечательное письмо матери критика — Варвары Писаревой.

«В январе (1861 года. — *Ф. К.*) сын мой был еще эстетиком, — подводит итог В. Писарева, — в апреле он еще, по своей неразвитости, был способен входить в сношение с «Странником», а в ноябре уже «Современник» предлагал ему работу; дурно или хорошо то превращение, которое в нем совершилось, об этом я не говорю ничего; но факт состоит в том, что этим превращением он исключительно обязан г. Благодетелю. Если, говорил он мне часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честного литератора, то я должен сознаться, что это понимание пробуждено и развито во мне г. Благодетелем; поэтому сын мой видит в г. Благодетеле не «прихвостня», а своего друга, учителя и руководителя, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты...

...Сообщая Вам эти сведения, милостивый государь, я руководствуюсь весьма законным желанием оградить честь моего сына, связанную самыми тесными узами с честью того человека, под руководством которого развернулась его литературная деятельность и сложились его убеждения...»

Имеется документальное свидетельство, убеждающее, что данное письмо — акция самого Писарева. Р. А. Коренева-Гарднер так отвечала на вопрос В. Д. Писаревой по поводу этого письма: «...письмо Ваше к Некрасову, разумеется, читала. Вы спрашиваете меня, поступил ли Митя благородно. Да...»

Правда, в статье «Посмотрим!» в сентябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год (в это время назревал конфликт между Писаревым и Благодетелем) Писарев внес некоторые коррективы к приведенному выше письму. «Я действительно многим обязан Благодетелю в моем развитии, но я никогда не говорил, что Благодетель *первый* познакомил меня с теми идеями, которые я теперь провожу и защищаю в «Русском слове», — говорит здесь Писарев и продолжает: «Редактор обыкновенно берет к себе в сотрудники таких людей, в которых уже зашевелилась работа мысли и в которых эта работа представляет хоть что-нибудь родственное, хоть какую-нибудь точку соприкосновения с главными идеями редактируемого журнала. Именно так случилось и со мною». И тем не менее и в статье «Посмотрим!» Писарев ни в коей мере не отрицает огромной роли Благодетеля в том «превращении» его в революционно-демократического критика, которое произошло в 1861–1862 годах. Говоря о письме матери, опубликованном в «Современнике», он свидетельствует: «Все показания этого письма совершенно верны...» Именно Благодетель, по свидетельству Писарева, помог молодому критику «Русского слова» понять, что «литература — великая общественная сила, которая начинает развращать общество с той самой минуты, как только она перестает двигать его вперед». Благодетель помог Писареву постигнуть всю меру гражданской ответственности литератора перед обществом. Своим влиянием он навсегда «застраховал меня от бесцветного либерализма... — говорит Писарев, — и теперь я смотрю на дело писателя, как на серьезную общественную обязанность. Таким образом, Благодетель сделал для меня очень много».

Вот эта черта — неподкупной честности и последовательности в убеждениях, эта мера гражданской ответственности писателя, которую Благосветлов стремился передать своему молодому другу, составляла нравственную основу деятельности руководителя «Русского слова». «У нас есть старинный предрассудок — считать человека честным, если он не берет взятки или не дает пощечин своим крепостным, — говорит он в письме Мордовцеву 12 декабря 1861 года. — Честный человек тот, кто честен в своем мнении, чист в убеждении и прав в деле мысли». Благосветлов исповедовал своеобразный культ гражданской честности, ее он ставил на первое место среди прочих человеческих добродетелей, и отнюдь не фразой звучали вот эти его строки в письме к Мордовцеву: «Да отсохнет мой язык, если я стану говорить против того, в чем искренне убежден; а мнения свои я привык выражать откровенно...»

И конечно же, не только уважение к человеческим убеждениям, но и чистоту этих убеждений, само направление их стремился передать Благосветлов сотрудникам «Русского слова». «Мне предстоит возратить совесть и честь не одному изданию, но и самой редакции...» — писал он Мордовцеву 4 августа 1860 года, то есть в самом начале своей редакторской деятельности.

Переписка Благосветлова с Мордовцевым времен 1860–1862 годов помогает понять суть той гражданской программы, на которой Благосветлов стремился сплотить сотрудников. «Признаюсь Вам, — пишет он 4 марта 1861 года, — я никогда не понимал науку для науки, искусство для искусства. Но для меня понятны усилия ума и сердца, направленные к общему народному делу». Такова основа положительной программы Благосветлова в отношении науки, литературы и журналистики: дело народа и жизнь народа — тех «шестидесяти миллионов грязных тулупов и лаптей», освобождению которых от угнетения и нищеты любой граждански честный человек должен посвятить свою жизнь.

Он всячески поддерживает Д. Мордовцева в его пристальном внимании к жизни и истории угнетенного крестьянства и безоговорочно встает на его сторону в споре с историком Костомаровым, который высмеял Мордовцева за то, что в своем исследовании «О крестьянах Юго-западной Руси XVII века» тот был излишне пристрастен к «хлопам». Поименовав «хлопов» неграми, Благосветлов писал Мордовцеву 27 июня 1861 года: «Вы совершенно правы, более, чем правы, — Вы становитесь на такую почву, с какой трудно сбить современного мыслителя не только Ник[олаю] Ивановичу] (Костомарову. — Ф. К.), но всем всероссийским пушкам. Если не ошибаюсь, наш век вытянет за уши демократический принцип и проведет его в жизнь так или иначе. Факты, стремления и борьба — все за него... Но эта идея слишком нова для нас, и потому Катковы, Краевские и весь Гостиный двор нашей литературы относятся к ней чем-то вроде тех средневековых ученых, которые не могли без дурацкого колпака и докторской рясы войти в аудиторию и показаться людям. Ник[олай] Ив[анович] перенял их ухватки. Совершенно согласен с Вами, что он шутит неосторожно, что он Шутит огнем над своим париком... Я могу ошибаться, увлекаться, но не потворствовать ученой придури, тем паче неприличным шуткам с народом...»



«Демократический принцип» означает для Благосветлова прежде всего яростное отрицание всего того, что стоит на пути к счастью и благоденствию крестьянства. Письма его к Мордовцеву полны гневных, неистовых филиппик в адрес самодержавно-крепостнической действительности. Он видит в отечественной истории «одну живую сторону — отрицание...». «...Желчность моя иногда брызжет горечью против всякого желания с моей стороны, — пашет он в марте 1861 года. — Такова уже обстановка жизни: надо иметь чугунные нервы и сердце-тряпку, чтоб сохранить то внутреннее спокойствие, которое я желал бы иметь». И он снова и снова клянет это общество, не имеющее «ни политической жизни, ни социальных сил, ни даже честности», этот «мир, для которого кнут был бы слишком благородным наставником», потому что «гниет все, все падает и, главное, все утешает себя жизнью и совершенством».

Неистовость отрицания Благосветловым существующих правопорядков, мера его ненависти к самодержавию и крепостничеству засвидетельствованы во многих воспоминаниях современников. Естественно, далеко не все писали об этой черте характера Благосветлова с восторгом, «Больше всех выживал меня отсюда (из журнала. — *Ф. К.*) азартный и бешеный редактор Благосветлов, — писал, к примеру, пытавшийся в годы молодости сотрудничать в «Русском слове» Г. Потанин. — Бывало, зубами скрипит, кулаком грозит в воздухе и бестолково кричит: «Разите! Жарьте это гнилое общество! Покрепче, укрепче их». Теперь мне кажется смешно и забавно беснование Благосветлова, а тогда не было забавно. Бывало, стоишь, слушаешь наставления, а сам думаешь свое: «Как еще укрепче? Петропавловская крепость еще крепче твоего кулака, а у меня семья».

При всей памфлетности этой характеристики в основе своей она верна. Таким он и был, этот неистовый отрицатель, по собственной характеристике «вспыльчивый донельзя и в пылу гнева страшно невоздержанный на язык...». В таком направлении и наставлял он своих сотрудников, выражая свои мысли порой с такой пугающей резкостью, что Д. Мордовцев пытался даже тактично предостеречь его. «Меня искренне радуют успехи «Русского слова», и я вполне сочувствую Вашим благородным стремлениям. Много ожидаю я от исполнения хоть части того, что Вы задумали... — пишет он 3 августа 1861 года. — Едва ли, как Вы говорите, в Вас недостает ловкости вести журнал к известным целям и подтачивать сердцевину старого дуба, заслоняющего от нас свет божий, — продолжает он, имея в виду царское самодержавие, — у Вас она есть, но у Вас есть еще одно, кажется, качество, в сущности благородное, но, пожалуй, излишнее. В Ваших статьях прорывается искренность, сердечность, какая-то нервность, которая обнаруживает, что вот так-то а так-то бьется Ваше сердце, туда-то и туда клонится Ваша мысль».

«Точить сердцевину старого дуба» — русского самодержавия, — «пока он не упадет», — вот основное направление деятельности Благосветлова в журнале «Русское слово». Вот как он сам формулирует в одном из писем к Мордовцеву эту мысль: «Демократический принцип, с социальным отрицанием всего существующего, — единственное знамя нашей эпохи. Подкопать надо огромную мину, но как можно шире, иначе упадет только один угол здания, а

три угла останутся на ногах. Трудно вдруг подойти к этому принципу: сторожат нас, а все же подойти можно. Пока подходим: по дороге можно разбросать кой-какие материалы, пригодные потом, когда сведем все к итогу».

Сторожили новую редакцию «Русского слова» крепко. Письма Благосветлова Мордовцеву пестрят жалобами на «цензурные застенки», на «комитет восьми вселенских идиотов».

Царская цензура верой и правдой охраняла классовые интересы самодержавно-крепостнического государства. Положение демократической печати было исключительно тяжелым. Социальные условия, в которых находилась русская демократическая журналистика, отражали в конечном счете реальное классовое размежевание сил в русском обществе того времени. Ленин говорил о том, что в каждой национальной культуре есть две культуры: одна — демократическая и социалистическая, другая — буржуазная, в большинстве своем черносотенная и либеральная. Условия существования этих двух культур в самодержавно-крепостническом государстве были принципиально различными, что уже само по себе разрушает фальшивую версию о мнимой внеклассовости, надпартийности литературы и журналистики в классовом обществе. Если либерально-черносотенные издания типа «Русского вестника» Каткова пользовались протекцией и охраной со стороны самодержавных властей, то такие журналы, как «Современник» или «Русское слово», отстаивавшие интересы народа, подвергались беспрепятственным правительственным гонениям. Ленин неоднократно писал о мужестве демократических публицистов, умевших сквозь все препоны и рогатки царской цензуры проводить мысль о необходимости крестьянской революции против самодержавия и крепостничества. Облик Благосветлова — демократического редактора и публициста — был бы неполным, если бы мы обошли молчанием его последовательную борьбу с самодержавно-крепостнической царской цензурой, начавшуюся сразу, как только он пришел в журнал.

«...Наш язык не правится цензуре; у меня в прошлом месяце погибло девять страниц за *нежность* тона и ласковость выражения... Шесть статей запрещено в «Русском слове» и в сентябрьской книжке; исполать им — нашим милым палачам!» — пишет он 7 сентября 1860 года, то есть уже три месяца спустя после прихода в редакцию.

«С нами случился цензурный погром, — сообщает он в следующем письме от 16 октября 1860 года. — За статью о Белинском, страшно искаженную, меня хотели сослать за границу, закрыть журнал, но ограничились удалением от должности Ярославцева... С моего приезда у меня уничтожила цензура 6 печатных листов; еле держусь со своей «Политикой». Рахманинов сочиняет за меня целые страницы».

«Цензурный погром» случился прежде всего из-за статьи самого Благосветлова, подписанной инициалами Р. Р. и посвященной седьмому тому сочинений Белинского (1860, № 9). Чиновник Главного управления цензуры Богушевич, разбиравший номер, в частности, писал: «Статья эта должна обратить на себя особенное внимание по нескольким выражениям:...она заключает в себе следующие не позволенные фразы: «кругом него

(Белинского) наслаждалось ленивое барство, привилегированная ничтожность» (стр. 26); «где недоставало (у противников Белинского) ума, там служил им донос или ябеда» (27); «он первый заявил, что Гоголь (издав «Переписку с друзьями») изменил знамени, растоптал свою собственную славу, из рабской готовности *подкурить через край царю земному и небесному*» (30)». В этой статье Благосветлов смог даже — впервые в подцензурной печати — процитировать знаменитое письмо Белинского к Гоголю.

Заканчивалась записка Богушевича так: «В сентябрьской книжке «Русского слова» довольно ясно высказывается то. направление, которому намерен следовать этот журнал под управлением нового лица, *Г. Е. Благосветлова*, которому с июля поручено графом Кушелевым-Безбородко заведование редакцией», что «должно вызвать на будущее время особенное внимание гг. цензоров к «Русскому слову».

Четыре дня спустя после этого доклада цензор Ярославцев, пропустивший сентябрьскую книжку «Русского слова», был уволен в отставку, а председателю С.-Петербургского цензурного комитета было предложено объявить лично редактору «Русского слова» или заступающему его место, что «журнал сей неминуемо подвергнется запрещению, если не изменится замечаемое как в целом, так и в частностях его направление, несогласное с государственными учреждениями».

Таким цензурным благословением началась для Благосветлова его журнальная деятельность. Продолжалась она в условиях все более тяжелых.

«Цензура опять начинает бесноваться; в капризах этого дикого божества все зависит от погоды и желудка. Я же не думаю слишком поступаться и, пока достанет сил, не выдам ни одной честной строчки без боя».

«Всю мартовскую книжку перецензуировывал новый цензор, и потому мы опоздали, как никогда не опаздывали. У меня было готово письмо к графу — с просьбой закрыть журнал, если не переменят Дубровского... этого польского лакея, заслужившего общее презрение в Петербурге».

«Цензура поедом ест. Снова выговор, опять угроза запретить журнал, опять гонение на редакцию. Ноябрьская книжка вышла 8 декабря, чего с нами еще не случалось. И чего только мы не извели за это время. 12 листов печатных погибло в меотийских болотах цензуры, вся книжка прошла через цензурный комитет; ни одной статьи не осталось целой. Буря, впрочем, улеглась, и мы снова поднимаемся, но как и с какими надеждами? Омерзительно даже подумать... Нет, Опять думаю сослать себя в Западную Европу, в Англию или Италию».

И так без конца. О, как понятны становятся слова Благосветлова, вырвавшиеся у него в письме Мордовцеву от 4 марта 1861 года, — и года не прошло с тех пор, как он принял на себя журнал: «Признаюсь Вам, хуже, пошлее я ничего не знаю редакторской обязанности в нашей журналистике. Много бы можно было сказать об этом предмете, да черт его побери со всей холопской литературой нашего гения. «Русское слово» едва не задохнулось под цензурой г. Дубровского — этого замечательного кретина и подлеца. Не перемени его нам еще два месяца, я бросил бы все и уехал бы в киргизские

степи от русской литературы; долее дышать нельзя было. Нам испортили год, и не один Дубровский; это была палка в руках людей того дантова ада, где сочтены все наши помыслы, чувства, вздохи и стоны...»

Таковы были реальные обстоятельства, в которых работал Благосветлов. «Подкопать огромную мину» под здание самодержавия было главной целью его трудов.

Но каковы пути подведения этой «огромной мины» под устаревшее здание феодализма, самодержавия и крепостничества? В том ответе, который давал Благосветлов на этот вопрос уже в первые месяцы редактирования «Русского слова», мы увидим зачатки многих идей, которые впоследствии разовьют на страницах журнала Писарев и Зайцев, — правда, в мной, куда более талантливой форме.

Подведение мины под существующий правопорядок Благосветлов видел прежде всего в социальном воспитании народных масс. Этому должно служить направление идей, пропагандировавшихся на страницах «Русского слова». Этой цели необходимо было подчинить всю многогранную деятельность демократов, ведущих борьбу за будущее своего народа.

Уже первый, июльский номер «Русского слова» за 1860 год, выпущенный под редакцией Благосветлова и являвшийся программным для него, был в значительной степени посвящен этой теме.

«...Потребность народного воспитания становится одним из капитальных вопросов, с которым соединяется мысль о будущем России» (1860, 7, II, 60), — утверждает здесь Благосветлов.

Воспитание внутреннего сознания народа, как обязательное условие возрождения общества, — излюбленная идея Благосветлова, которая с особой силой зазвучит позже — в 1863–1866 годах. Она питалась той идеалистической концепцией исторического развития, которую, как и все демократы шестидесятых годов, разделял, а точнее, со всей страстностью его природы исповедовал Благосветлов. Разум правит миром — это убеждение лежало в основе всех социологических построений Благосветлова. С этих позиций он осмыслял историю революционных движений масс, причины их побед и поражений. «...Ум — сила, и притом главная сила человека. Для развития умственных способностей единственным орудием служит знание в обширном смысле этого слова» (1861, 12, I, 13).

В этой связи Благосветлов придавал огромное значение умственному освобождению каждой отдельной личности, без чего не может быть, по его мнению, и умственного освобождения масс. «Умственная эмансипация отдельной личности есть высшая человеческая цель, к которой мы должны стремиться», — утверждал он.

И если, по справедливому замечанию Шелгунова, главным вопросом «Русского слова» «было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к обществу и общему прогрессу», то первым человеком, выносившим эту идею и выразившим ее в журнале, был Благосветлов. Знаменем журнала ее сделал Писарев.

Кстати, это преувеличенное внимание к умственному освобождению народа и дало прежде всего повод утверждать, будто Благосветлов был далек от революционного демократизма, от идеи крестьянской революции и являл собой тип этакого буржуазного радикала-просветителя, сторонника просвещенных реформ. И надо сказать, что в его статьях можно встретить высказывания, которые на первый взгляд дают основания для таких выводов. «За победами следуют поражения, за революциями — реакции, но за народным образованием никогда не возвращается варварство» (1860, 7, III, 58–59), — говорит он, к примеру, в статье «Реформа Италии, как понимал ее Монтанелли», напечатанной в июльской книжке журнала за 1860 год.

Что это? Сомнение в результативности революционного пути? Не революция, но распространение грамотности и образование спасет Россию?

Чтобы понять правильно здесь Благосветлова, надо разобраться, какое реальное содержание вкладывал он в понятие «народное образование», «народное воспитание». Народное образование в представлении Благосветлова — это не прописные ученические истины, но выработка *гражданского самосознания* масс. «Кажется, пора перестать думать, что образование нам нужно для разных пристяжных целей... нет, оно необходимо для приготовления нам человека и гражданина» (1860, 11, III, 4). — утверждает он.

Иными словами, Благосветлов с самого начала своей деятельности выдвигал на первый план требование гражданского, политического и социального воспитания масс. И требование это он связывал с революционным преобразованием общества.

В статьях, посвященных проблемам русской народной жизни, Благосветлов, естественно, не мог полностью обнажить выводы, которые следовали из его требования политического, гражданского воспитания масс. Но в том же июльском номере за 1860 год Благосветлов печатает статью В. Попова «История государственной теории», скромную рецензию на скромный труд одного незадачливого итальянского историка, где идея народного воспитания раскрыта до конца. «Революции бессознательные оканчиваются падением ненавистных личностей, сознательные — падением ненавистных принципов; они входят в кровь и плоть народа и составляют основу для следующих переворотов, тогда как первые, укрощенные паллиативными мерами, возобновляются бесплодно, до тех пор, пока не делаются сознательными» (1860, 7, II, 91–92), — утверждает Попов. И далее продолжает: «Как скоро идея найдет многочисленных поборников, движение ее сопровождается войною. Самые мирные учения не избежали этого. Врожденный человеку инстинкт самоохранения побуждает его отстаивать свое существование, свои убеждения всеми зависящими от него средствами» (1860, 7, II, 94).

Так, мысль о свете, знании, воспитании народного самосознания уже на самых первых порах — была органически сплавлена в журнале Благосветлова с идеей революции...

Правда, идея революции для Благосветлова на первых порах была абстрактной идеей. Благосветлов видел в революционных переворотах двигатель прогресса — при условии, если эти революции подготовлены

развитием народного самосознания. Таких условий в России, по его мнению, еще не было. Поэтому вопрос о революции в самом начале шестидесятых годов применительно к конкретным условиям России того времени для него не стоит столь остро и конкретно, как для «Современника».

Но при всех противоречиях и непоследовательностях неправильно, как это делали многие исследователи, выводить Благосветлова и его журнал из рула революционно-демократического движения. Революционная демократия шестидесятых годов — явление достаточно сложное и неоднородное. Было бы антиисторичным требовать, чтобы движение революционных демократов-шестидесятников в лице каждого его представителя находилось на теоретическом уровне Чернышевского. В противном случае не вставал бы вопрос о становлении, эволюции мировоззрения ряда шестидесятников, о той огромной воспитательной роли, которую играл Чернышевский в шестидесятых, да и не только в шестидесятых годах.

Да, мировоззрение Благосветлова и позиция «Русского слова», особенно в начальный период его нового существования, были недостаточно последовательными и зрелыми в сравнении с «Современником» Чернышевского и Добролюбова. Но факты показывают, что тенденция развития и самого Благосветлова, и журнала «Русское слово» шла в направлении к «Современнику».

Благосветлов не скрывает своих симпатий и сочувствия революционным движениям народов и в традициях Герцена считает их благодетельными при двух условиях: если нет возможностей для мирного, бескровного пути и если революционное движение подготовлено гражданским воспитанием масс.

Читая выступления Благосветлова 1859–1860 годов, нетрудно обнаружить влияние Герцена в главном: в общем взгляде на революцию и прежде всего в трактовке вопроса о праве народа на революционное насилие. В статье о Тюрго Благосветлов писал: «Умирая, Тюрго видел, что Франция скоро должна выйти на путь экономических преобразований, начатых им. К сожалению, выйти не мирным прогрессом, а радикальным переломом в целом обществе» (1860, 5, I, 252). Что означает это «к сожалению»? Отрицательное отношение к радикальному, революционному пути развития общества? Ответ на этот вопрос дает другое высказывание Благосветлова: «...Там, где форма слишком грубо противоречит народному духу, общество тревожно ищет лучшего состояния, и если не находит его с помощью мирных средств, вынуждает силой» (1860, 7, II, 40).

Именно Герцен особенно настойчиво подчеркивал мысль, что революционное насилие, кровавый путь оправданы лишь в том случае, если исчерпаны возможности мирного, бескровного пути, — эта мысль часто встречается в статьях Благосветлова.

Л. А. Плоткин в своей книге видит проявление буржуазной умеренности Благосветлова в следующем его высказывании о Маколее: «Он знал, как трудно вырабатывается общечеловеческий прогресс, каких страшных усилий и жертв, какого пота и крови стоит народам каждый шаг продвижения вперед. С тем вместе его гуманному чувству были противны эти бессмысленные

политические драмы, которые оканчивались перед его глазами безумными реакциями и упадком нравственных сил народа» (1861, 1, III, 36).

«Революционные восстания здесь объявлены бессмысленными политическими драмами», — комментирует исследователь. Комментирует неточно. Это высказывание Благосветлова, как и любое другое, нельзя брать вне контекста его воззрений на революцию, вне контекста позиций журнала. «Бессмысленными политическими драмами» Благосветлов считал не «революционные восстания» вообще, а «бессознательные» революционные восстания, те восстания, которые не были подготовлены политическим, гражданским воспитанием масс и потому заканчивались «безумными реакциями и упадком нравственных сил народа».

Не только в оправдании революционного насилия, но и в мыслях о «сознательной» революции Благосветлов шел от Герцена. Обе эти стороны воззрений у Благосветлова сливались воедино, ибо во главу угла он ставил движение революционной «идеи»: «...Торжество ее, чистое от крови и тирании там, где она не встречает на своем пути противодействия и упорства, совершается во имя убеждения ума и образования сердца» (1860, 2, III, 1).

Итак, торжество революционной идеи может быть чистым от крови только в том случае, если она «не встречает на своем пути противодействия и упорства». В противном случае оправданы и «кровь», и революционная «тирания».

Журнал Благосветлова из номера в номер публикует статьи, посвященные революциям других эпох и народов, подчеркивая благодетельность революционного подъема масс, величие духа народных вожаков. Не случайно национально-освободительная революция в Италии и ее вождь Гарибальди становятся с середины 1860 года основной темой политического отдела журнала. «В самом торжестве этого благородного вождя есть что-то необыкновенное, — пишет он об «отважном герое Рима» Гарибальди. — Самое имя его сделалось символом спасения для угнетенного и страха для тирании» (1860, 7, II, 1). Тайна этого удивительного успеха не в одном гении Гарибальди и его личном мужестве. «Гарибальди крепок не собственной силой, а всеми силами Италии: понимая ее потребности глубже и выражая их верней, чем кто-нибудь из его современников, он служит представителем итальянской народности и ее затаенных, по живых инстинктов. Такому Давиду легко идти с одной пращей против всякого Голиафа» (1860, 7, II, 2).

Интерес к личности Гарибальди и революционным движениям в Европе не был для Благосветлова «академическим». Пытаясь разобраться в глубинных процессах современной ему действительности, он пытался найти там залог обновления родной страны. В 1861 году в письмах его к Мордовцеву все чаще встречаем мы размышления о судьбе «хлопов», о крестьянском вопросе. А крестьянский вопрос в шестидесятые годы был неотделим от вопроса о путях дальнейшего развития России. «Крестьянский вопрос перепутывает многое и многое в нашем мире», — замечает он в письме к Мордовцеву от 12 января 1861 года. «Завтра объявляют крестьянскую волю, — пишет он за день до обнародования «Положений 19 февраля», — падаю на колени и молюсь — молюсь в первый раз в жизни или проклиная все, что живет и дышит...

Минута страшного ожидания. Тайны еще; никто не знает... Да выручит же нас судьба — хоть: один раз».

### **ТАЙНА ОТКРЫЛАСЬ...**

Чем же обернулась для Благосветлова «минута страшного ожидания»?

Во внутреннем обозрении («Современной летописи») мартовской книжки журнала за 1861 год обозреватель, скрывающийся за инициалами А. Г., давал выдержанную в официально-либеральном духе оценку «Положений 19 февраля». Но к толкованию и оценке этих «верноподданнических» высказываний следует подходить с большой осторожностью. Летопись эта печаталась сразу же вслед за опубликованием «Положений», когда давление цензуры было столь велико, что и журнал Чернышевского был вынужден напечатать в своем мартовском номере в «Заметках» И. Панаева стандартные «верноподданнические» похвалы реформе. А главное — она была первой «Современной летописью», первым внутренним обозрением в журнале, — отдел этот Благосветлов отвоевывал в цензуре долго и с большим трудом. Возможно ли было в самой первой «Современной летописи», являвшейся внутренним обозрением важнейших дел в стране и появившейся в марте 1861 года, обойти молчанием или отрицательно оценить такое кардинальное государственное событие, как реформа 19 февраля?

Официальные похвалы реформе в мартовской книжке журнала были единственным подобного рода откликом на правительственные преобразования — в последующих номерах журнала мы не встретим и тени похвалы в адрес «Положений». Уже в следующем номере «Русского слова», вышедшем в свет в апреле 1861 года, когда вся либеральная пресса была заполнена песнопениями в адрес свершившейся реформы, нет ни строчки о «Положениях», зато напечатана большая, имеющая принципиальное значение статья «Невольничество в Южно-Американских штатах» за подписью «А. Топоров». Текст этой статьи убеждает, что она была не чем иным, как точным и вполне прозрачным комментарием реформы.

Первые страницы статьи поражают неожиданной, но важной для России шестидесятых годов мыслью: «Рабство, в какой бы форме оно ни было, производит странное, необъяснимое впечатление. Нам кажется, что только одна абсолютная идея свободы поддерживает еще в благоразумном человеке теплое, хотя несколько болезненное чувство к рабу, но сам по себе раб не может внушить к себе ничего, кроме инстинктивного отвращения...» (1861, IV, 2).

Почему? Да потому, что «уважать рабов можно только тогда, когда они заставят уважать себя сами», ибо ничто не мешает им «разбить цепи, которые на них надеты. Позорное клеймо неволи прежде всего должен стараться смыть тот, кто его носит...» (1861, IV, 16–17).

Так что же, по мнению автора статьи, мешает неграм силой разбить цепи, надеты на них плантаторами? Прежде всего недостаток самосознания, то обстоятельство, что годы рабства воспитали в них рабье чувство к своему господину. Освобождение обездоленных от эксплуатации «зависит от степени сознания эксплуатируемой доли общества... Вероятно, негры под влиянием тех современных идей, которые направлены на них передовой шеренгой



аболиционистов, скоро начнут сами освобождение свое» (1861, IV, 15–17). И только в этом случае, утверждает автор статьи, негры получают подлинное освобождение. Если же «сами негры не в состоянии себя освободить», в этом случае «вопрос о невольничестве пойдет так называемым *мирным законодательным путем и, по всей вероятности, остановится на полумерах, под видом обоюдных уступок и желания согласить несогласие интересы обеих сторон: плантаторов и невольников*» (1861, IV, 27) (курсив мой. — Ф. Я.).

Статья написана ради доказательства этой мысли: рабы получают свободу при одном условии — если завоюют ее сами. Мирное, законодательное «освобождение» будет обманом, потому что для рабовладельцев здесь «дело касается принципа», а «установившийся принцип, как известно, сильно себя защищает».

Статья насыщена намеками и прозрачными аналогиями, не оставляющими и тени сомнения, в чем ее конечный смысл. В одном из писем Мордовцеву редактор «Русского слова» прямо называл закрепощенных холопов «неграми XVII века». Стоило подставить вместо слова «невольник» — «крепостной», а вместо «Американских штатов» — «Россию», и умудренный опытом читатель шестидесятых годов приходил к последовательным выводам.

Но, быть может, статья Топорова — случайность для журнала?

В майской книжке журнала за 1861 год помещается «Современная летопись» того же автора, что и статья «Невольничество в Южно-Американских штатах» (подпись А. Т-ров — сокращенное от А. Топоров), где содержится вполне прозрачная аллегория: «Вообразите, что вы владелец обветшалого, деревянного, *деревенского барского* дома, доставшегося вам по наследству по длинной нисходящей линии... Все стены вашего дома, полы, мебель, одним словом, все, что помягче, — изъедено, подточено, испорчено и требует *конечного, радикального* возобновления, но вы скупы, вам хотелось бы все исправить, только не заново, потому что жаль перестраивать с самого основания старый дом;., и вот вы решились исправить покоробившиеся полы ваших комнат, но тут возникает вопрос о крепости стен, вы пробуете вставить несколько бревен, но тут возникает вопрос о гнилости углов, там далее оказываются сгнившими и крыша, и потолки, и т. д.» (1861, V, 2) (курсив мой. — Ф.К).

В действительности, делает вывод обозреватель «Русского слова» А. Т-ров, «весь дом не годится» и его следует перестраивать заново. К радикальной перестройке «ветхого здания» стремится истинный его хозяин — русское крестьянство.

Эта мысль в «Летописи» подтверждается подробным рассказом о «печальном событии» — подавлении крестьянского восстания в Бездне.

Подчеркнув, что он вынужден сообщать о восстании крестьян в Бездне в «том самом виде», в каком этот факт «сообщен» в официальной «Северной пчеле», то есть без каких бы то ни было комментариев, летописец подробнейшим образом излагает ход событий в Бездне и находит возможность в эзоповой форме выразить в подцензурной печати чаяния и стремления, толкнувшие народ на восстание: «чистой» воли «ожидали» и «желали»

крестьяне, именно она «как нельзя более согласовывалась с ожиданиями крестьян». А «чистая» воля — это «*полное освобождение крестьян с землей*». Крестьяне не получили такой «воли» — в этом причина волнений и бунтов, которые вызвало, говоря словами Герцена, «всекаемое освобождение».

Восстания и возмущения крестьян «в губерниях Владимирской, Самарской, Симбирской, Калужской, Пензенской, Орловской, Подольской, Петербургской, и Ярославской» (1861, 6, III, 1) — так встретили, по свидетельству летописца, русские крестьяне свое «освобождение». Июньская «Современная летопись» «Русского слова» вся, от первой до последней страницы, заполнена материалом о крестьянских волнениях, вызванных к жизни реформой 19 февраля.

Летописец недвусмысленно раскрывает их причину: «Толкователи Положения», то есть те народные вожаки, которые одушевляли крестьян к «непреклонному сопротивлению», «*хорошо поняли Положение — иначе действия их не могли бы иметь столь определенно *противоправительственного характера**» (1861, 6, III, 14) (курсив мой. — Ф. К.).

Из номера в номер летописец «Русского слова» показывает, что реформа не изменила в принципе «экономического порядка», порождающего массовый голод крестьян, потому что была проведена в интересах помещиков: «Едва ли какое-либо правительство отнеслось бы к интересам своих землевладельцев более заботливо, как это поступило наше» (1865, 5, III, 33). Реформа явилась таким откровенным обманом народа, что теперь крестьянин уже с крайним недоверием встречает очередные нововведения сверху, «которые он так долго выносил на своей спине». «Крепостное право, — пишет обозреватель, — ниспослало на него реформы, от которых не скоро заживут бока этих странных людей», не понявших тех благих «намерений», с какими «преподавали» им «помещичью цивилизацию» (1863, 11–12, III, 49), — прямой намек на методы, которыми «всекалось» освобождение крестьян.

А в итоге, пишет обозреватель журнала, крестьянин наш «так запуган всякими попечительскими о нем габотами, что поневоле делается осторожен, упрям и недоверчив ко всякому новому благодению. Курная и вонючая изба для него кажется лучше не потому, чтоб он не сознавал потребности жить в светлой и чистой избе, а потому, что ему боязно решиться на всякую перемену, так как она самым вероломным образом может обмануть расчеты его; так ему хоть жутко, но он уверен, что не будет хуже» (1863, 11–12, III, 49).

Но кто же этот таинственный летописец, автор внутреннего обозрения журнала, который с такой последовательностью из номера в номер развивал те революционно-демократические идеи, которые столь определенно были высказаны еще в статье А. Топорова «Невольничество в Южно-Американских штатах» в апрельской книжке журнала за 1861 год?

Основной массив материалов в журнале «Русское слово», посвященных оценке крестьянской реформы, — как статья за подписью А. Топорова «Невольничество в Южно-Американских штатах», так и «Летописи», — принадлежал Благосветлову. Эти выступления свидетельствуют, как далеко была истинная позиция редактора «Русского слова» от того либерального

взгляда на реформы, который ему по традиции приписывают. «Иллюзии на какие-то высшие благодеяния наших администраторов начинают отрезвляться», — с удовольствием замечает Благосветлов в письме Мордовцеву от 12 марта 1862 года.

Благосветлов живо интересовался настроениями крестьян в ходе «всекаемого» освобождения и даже имел, по-видимому, в разных концах России добровольных корреспондентов, сообщавших ему о крестьянских делах. Один из них, некто В. Бабилин из деревни Приволье Симбирской губернии, писал в мае 1861 года Благосветлову: «Сообщаю Вам, что и как здесь говорится о совершающихся около нас событиях. В народе настроение умов прежнее: безднинская бойня напугала, сломила сопротивление, но не уничтожила народных стремлений, не изменила его заветных желаний и отнюдь не заставила лучше понять непонятное Положение. Оно, впрочем, и не могло быть иначе; насильственные меры не убеждают и не просвещают: народ по-прежнему волнуется; в народе говорят, что все случившееся должно было случиться; в старых книгах написано, что настоящая воля не может быть добыта без крови, что сперва польется кровь крестьян, а потом потечет и помещичья, — а так как крестьянская уже пролита, то настоящую волю будет теперь легче добыть. Начальника и толкователя в Бездне, Антона Петрова, расстреляли; а многие этому не верят, говорят, что Антон бежал, а расстреляли, говорят, товарища его, назвавшегося его именем, чтобы спасти учителя... В Симбирской губернии дело покуда кончилось все розгами; зато здешний флигель-адъютант едва успевает сечь, несмотря на содействие земской и даже городской полиции; он почти постоянно переезжает из одного уезда в другой... Говоря о всех этих происшествиях, я не касался уж мелких неповиновении и мелких экзекуций, — их слишком много, и говорить о них не стоит, особенно при других более важных движениях и беспорядках. Маленькие неповиновения могут служить только доказательством неудовольствия народа и волнения в нем».

В условиях жесткой цензуры руководитель «Русского слова» находит возможность не только рассказать о крестьянских волнениях — он проводит мысль о недостаточной революционной активности русского крестьянства, о том, что века угнетения и нищеты должны были выработать в нем более энергичный и сильный протест. Если в чем и можно упрекнуть русское крестьянство, по словам Благосветлова, так это в «долготерпении»: «*наш* крестьянин действительно добр и мягок; но для полной и верной характеристики следует, по нашему мнению, к этим качествам прибавить еще одну крестьянскую добродетель: терпение» (1861, X, 21).

Так прорывалась у Благосветлова глубокая неудовлетворенность тем, что революционный протест крестьянства, вызванный грабительской реформой, был недостаточно силен. Его позиция в крестьянском вопросе в пору шестидесятых годов была позицией революционера. Отвергая путь правительственных реформ, он видел спасение страны в народной революции.

Вот почему на страницах «Русского слова» в это время с такой последовательностью и откровенностью пропагандируется идея революции.

В августовском номере журнала за 1861 год в «Обзоре современных событий» Г. Благосветлов ставит на обсуждение кардинальный для того времени вопрос — о революционном насилии, о допустимости «войны». Он утверждает здесь, что в принципе война — «социальное зло», что война «со временем делается не только невозможной, но и невыносимой, — следовательно, вся тайна в том, чтоб угадать такие общественные отношения, при которых война, как социальное зло, становится невозможной...» (1861, 8, II, 4). Но пока что «война неизбежна», источник ее таится «в самих условиях нашей общественной жизни», в том «внутреннем антагонизме, который происходит внутри нас, в наших понятиях, сословных отношениях, в экономическом распределении труда и капитала». С точки зрения Благосветлова, сами условия социальной действительности оправдывают революционное насилие, освободительную войну: «Как непереносимое зло по своим материальным последствиям, она в то же время может быть орудием сохранения и пропаганды справедливейших и благороднейших убеждений человечества» (1861, 8, II, 4).

Возвращаясь к этой мысли в февральской книжке «Русского слова» за 1862 год в связи с войной за освобождение негров, он развивает ее до конца. Война для него — «величайшее несчастье нашего времени», но «что же делать?» — спрашивает он. «Само собой разумеется, что много погибнет людей, много будет разрушено состояний, разве меньше зла причинит рабство в ряду нескольких поколений, разве не теми же человеческими костями будут усеяны поля, залитые потом и кровью негров? Мы даже думаем, что никакая война, как бы она ни была гибельна по своим последствиям, не может идти в сравнение с таким глубоким злом, как медленные и глухие страдания четырех миллионов рабов в продолжение уже истекших семидесяти лет» (1862, 2, II, 5).

Слова эти принадлежат Благосветлову — тому самому буржуазному радикалу-реформисту и «журнальному эксплуататору», каким он представляется некоторым исследователям по укоренившейся традиции. Их невозможно объяснить, если идти вслед за этой освященной временем легендой. В действительности позиция Благосветлова в отношении реформы и крестьянской революции органична и естественна, если брать в расчет не фальшивую версию о его эксплуататорстве, но реальные факты жизни этого «настоящего политического бойца в якобинском вкусе». Только такую позицию в пору революционной ситуации и мог занимать человек, дерзнувший в условиях деспотии перейти от слов к делу и, по ограничиваясь легальной пропагандой, уйти в революционное подполье.

#### **ЧЛЕН ЦК «ЗЕМЛИ И ВОЛИ»**

К историческим фактам, не исследованным до конца, относится и история тайной революционной организации «Земля и Воля» шестидесятых годов. О существовании ее стало известно лишь много лет спустя, когда мало кто из ее участников остался в живых.

Общество «Земля и Воля» возникло осенью 1861 года. Его создателями были друзья и ученики Чернышевского — Николай Обручев, братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Александр Слепцов и другие. О масштабах и

численности организации можно судить хотя бы по тому, что, по свидетельству А. Слепцова, только в Москве насчитывалось около четырехсот членов «Земли и Воли».

Помимо нелегальной работы, смысл которой заключался в подготовке крестьянской революции и издании прокламаций («Земля и Воля» выпускала даже подпольный листок «Свобода»; вышли два номера — в феврале и июле 1863 года), землевольцы стремились и к легальному воздействию на массы и русское общество. Ради этого было предпринято устройство воскресных школ, организация книжных магазинов и читален с очень дешевой платой, издание популярных книг. Особые надежды руководители «Земли и Воли» возлагали на демократическую печать, и прежде всего на журналы «Современник» и «Русское слово». В самом начале организации общества руководители его, по воспоминаниям Слепцова, предложили Благосветлову вступить в «Землю и Волю».

«Всю силу организации, — писал по этому поводу А. Слепцов, — мы видели прежде и больше всего именно в пропаганде, исходя из ужасной темноты народной массы...» В силу этого прежде всего «обращено было внимание на создание возможного взаимодействия с русской журналистикой, чтобы, помимо тайной пропаганды, читатель из разночинной интеллигенции... был взят кругом в определенный цикл понятий и интересов. Решено было остановиться на братьях Василии и Николае Курочкиных, Благосветлове, Г. З. Елисееве и А. Ф. Погосском... Все эти писатели вступили в общество. Лавров же и Елисеев официально не сделались членами...»

Материалы архивов, в первую очередь архива III отделения, подтверждают свидетельство А. Слепцова и раскрывают в известной степени характер деятельности Благосветлова в «Земле и Воле».

Следует сказать в первую очередь о роли Благосветлова в так называемом Шахматном клубе. Он был открыт в январе 1862 года, а закрыт правительством в начале июня того же года, сразу после петербургских пожаров, — закрыт потому, что, как говорилось в распоряжении петербургского генерал-губернатора, в нем «происходят» и из него «распространяются неосновательные суждения». Третье отделение, направившее в Шахматный клуб трех своих агентов (Волгина, Вельяшова и Волокитина), видело в нем легальное место встреч революционеров. Собственно, так оно и было... Шахматный клуб был тем местом, где встречались деятели революционного подполья; он «облегчил работу по сколачиванию тайного общества «Земля и Воля», явившись ширмой для свиданий, переговоров, сближения, связи различных политических кружков и направлений».

И в самом деле, трудно было придумать более удачную и невинную форму для конспиративных встреч, бесед, дискуссий, чем клуб любителей шахматной игры. Кто был организатором — фактическим и подставным — столь удобного легального прикрытия конспиративной деятельности землевольцев? В нашей науке этот вопрос не ставился. А между тем вопрос этот отнюдь не праздный как для биографов Благосветлова, так и для историков «Земли и Воли». Дело в том, что организатором этого клуба был не кто иной, как граф Кушелев-

Безбородко, а «первенствовал» в нем, по свидетельству агентов III отделения, Г. Е. Благосветлов. В бумагах члена «Земли и Воли» Николая Курочкина, отобранных у него при аресте в апреле 1866 года, мы нашли следующее письмо Кушелева-Безбородко, адресованное Н. Курочкину: «Спешу уведомить Вас, что я получил положительное известие, что так как общество любителей шахматной игры имеет уже высочайше утвержденный устав, нет надобности ни в каких формальностях, а просто требуется извещение, подписанное старшиною общества (одним из них — их полагается по уставу три) о помещении общества на такой-то квартире, в такой-то улице... Теперь, стало быть, нужно только узнать положительно, есть ли достаточно желающих поступить в члены, чтобы обеспечить его существование, — для этой цели необходимо бы, мне казалось, собрать 170 человек, по 15 рублей в год. Для достижения этой цели не признаете ли удобным способом — предоставить всем редакциям журналов и газет представить куда-нибудь в выбранный центр описок людей, за положение которых в обществе они отвечают во всех отношениях... Если бы Вы затруднились, я бы Вас просил очень приехать ко мне в пятницу — у меня в этот день собираются все мои сотрудники по «Русскому слову» — и можно тогда сообща положительно узнать, достаточно ли количества людей находится теперь, чтобы осуществить эту весьма полезную затею».

Эта «весьма полезная затея» — полезная для революционно-демократических кругов, чьи интересы представляли Н. Курочкин, Благосветлов и другие истинные организаторы Шахматного клуба, — была осуществлена.

Известно, что 11 января 1862 года, на следующий день после открытия Шахматного клуба, агент III отделения доносил по начальству:

«Там собралось вчера человек до 100, почти исключительно литераторы, ибо по прочтении наскоро имен записавшихся у швейцара в книге встретились следующие: граф Кушелев-Безбородко, Вернадский, Лавров, Краевский, Панаев, Некрасов, оба Курочкины, Степанов, Толбин, Крестовский, Писарев, Писемский, Благосветлов, Чернышевский, Апухтин, Рычков, Утин.

Из них, говорят, первые трое... избраны директорами. Сделано распоряжение, чтобы один из наших агентов, В.<sup>[12]</sup> записался в Шахматный клуб членом». Через две недели после открытия Шахматного клуба один из агентов III отделения, наблюдавший за Чернышевским, доносил: «В Ша — м клубе, куда Чернышевский ездит постоянно, иногда в 11 часов вечера, первенствует некто Благосветлов, занимающийся в редакции «Русского слова», правая рука гр. Кушелева. Он сын священника и, говорят, очень озлоблен против правительства. О нем будут собраны ближайшие сведения».

Несколько позже в деле «Об обществе «Великоросс» и революционной партии, стремящихся к распространению воззваний и к возбуждению волнений в России» III отделение дало следующую характеристику Шахматному клубу: «Из этого-то Шахматного клуба и вышли такие лица, как Михайлов, Обручев, Добролюбов, Пиотровский, Чернышевский, Писарев, Благосветлов, Гиероглифов и др... На вечерах этого клуба собирались люди всех оттенков

революционной партии. Пропаганда революции велась всеми возможными способами...»

Напуганное крестьянскими волнениями и деятельностью «революционной партии», правительство летом 1862 года переходит в наступление против сил революционной демократии. Готовилось оно давно. 27 апреля 1862 года шеф жандармов и начальник III отделения князь В. А. Долгоруков представил царю обширный доклад о необходимости срочных мер борьбы с угрозой революционного «разрушения, приготавливаемого... неутомимым старанием революционной пропаганды». К докладу приложен список из 50 человек, у которых предполагалось «сделать одновременный строжайший обыск»: Чернышевский, Шелгунов, Обручев, братья Серно-Соловьевичи, Благодетель и др. Против фамилии Благодетеля стоит следующая приписка: «Литератор. Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству и первенствует в Шах-клубе, где ведет разные разговоры».

Сигналом для наступления реакции послужили знаменитые майские пожары в Петербурге. Они начались в середине жаркого и сухого мая 1862 года и продолжались до конца месяца. Много дней подряд бушевал пожар, пожирая здание за зданием, квартал за кварталом. Большая и Малая Охта, затем Ямская, потом Толкучий рынок, Апраксин и Щукин двory с тысячами лавок погибли в пламени. Перепуганные городские обыватели искали причины этого страшного бедствия — и вот уже из уст в уста, с уха на ухо начало передаваться зловещее словечко «поджигатели».

Не исключено, что они и в самом деле были — «поджигатели». Существует предположение, что майские пожары в Петербурге явились полицейской провокацией, затеянной ради того, чтобы натравить обывателей и власти на революционную молодежь. Впрочем, если здесь не было преднамеренной провокации — как известно, деревянная Русь горела из года в год и до и после мая 1862 года, — факт провокационного использования правительством майских пожаров не вызывает сомнения.

Начало пожаров совпало с появлением прокламации «Молодая Россия». Прокламация эта, вышедшая из московского студенческого кружка Зайчневского и Аргиропуло, была самой неистовой по революционной страстности из всех воззваний шестидесятых годов. «Скоро, скоро наступит день, — предупреждали авторы прокламации, — когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное и с громким криком: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» — двинемся на Зимний Дворец истребить живущих там...»

«Поджигатели» были найдены. Реакционная журналистика вкупе с тайной полицией использовала прокламацию «Молодая Россия» для того, чтобы указать перстом на мнимых виновников пожара — на демократическое студенчество, на молодежь. Началась охота на всех одетых в пледы и синие очки. Аресты следовали один за другим. Их жертвами стали Н. Чернышевский, Д. Писарев, Н. Серно-Соловьевич. Решением правительства были закрыты

Шахматный клуб, 2-е отделение Литературного фонда, ведавшее помощью студентам, воскресные школы, приостановлены на восемь месяцев «Современник» и «Русское слово».

«Повсюду аресты и обыски, Писарев в крепости, — за что? — бог ведает эту тайну тайной полиции. Сколько я знаю, кроме журнальной деятельности, этот милый юноша ни во что не мешался. Чернышевский и Серпо-Соловьевич тоже в крепости; я не безопасен, когда все пишущее берется и заключается в каземат, — пишет в июле 1862 года Благосветлов Мордовцеву. — Чем все это кончится, неизвестно, но жить становится скверно, так скверно, что ничего путного не делается, ни о чем путном не думается. Положение мое невыносимо тяжелое; я работник, у которого отняли и труд, и кусок хлеба, и даже не потрудились объяснить, за что отняли. Страшная апатия, страшная тоска!»

Слова Благосветлова о том, что редакциям «Русского слова» и «Современника» даже не потрудились объяснить причину их закрытия, подтверждаются документально: в «Деле особенной канцелярии министра народного просвещения о прекращении на 8 месяцев издания журналов «Русское слово» и «Современник» (№ 158) нет никаких указаний на то, чем именно было вызвано это запрещение. Факт этот свидетельствует лишь о том, что решение это было само собой разумеющимся. Оно было предопределено еще в сентябре 1860 года, когда после опубликования рецензии Благосветлова на сочинения Белинского цензура пригрозила закрыть журнал, если он не изменит своего направления. Но революционно-демократическое направление журнала «Русское слово», особенно после прихода Писарева, развивалось и углублялось. В ноябре 1861 года член Главного управления цензуры Никитенко представил подробный письменный доклад о направлении «Русского слова» и «Современника», в котором говорилось: «Можно без преувеличения сказать, что настоящее молодое поколение большей частью воспитывается на идеях «Колокола», «Современника» и довершает свое воспитание на идеях «Русского слова». Прочитав доклад, министр народного просвещения Головнин, в чьем ведении находилась цензура, хотел запретить «Русское слово», но уступил Никитенко, предложившему дать журналу «последнее строгое предостережение».

«О запрещении «Р[усского] слова», — пишет в том же письме Благосветлов Мордовцеву, — ничего не могу сказать Вам, кроме замечания Головнина, которое я слышал от него лично: Вы слишком вперед забегаете, сказал министр, посмотрев на меня исподлобья. Я же думаю, что он пошутил, и как шутки плохо удаются иезуитам, готовым из-за министерского стула продать литературу, себя и свою совесть кому угодно, хотя бы даже Валуеву (министр внутренних дел. — *Ф. К.*), то его шутка и вышла очень плоской и грубой».

Благосветлов не знал, что именно в это время власти всерьез занимались не только его журналом, но и им самим. 5 августа 1862 года следственная комиссия князя Голицына докладывала III отделению: «Последствия... допросов в продолжение минувшей недели указали на неблагонамеренность действий проживающих в С.-Петербурге прикомандированного ко II кадетскому корпусу гвардии штабс-капитана Попова и литератора,



занимавшегося в редакции «Русское слово», Благосветлова... Но имеющиеся в виду о сих лицах данные не могут еще служить достаточным поводом к принятию касательно их решительных мер и к их арестованию. Посему для большего разъяснения поступков этих лиц комиссия обратилась к управляющему III отделением об учреждении секретного наблюдения за Поповым, Благосветловым...»

Репрессии правительства не испугали Благосветлова. Именно в это время, в конце 1862 года, его связи с революционным подпольем принимают вполне определенные формы. Как свидетельствует А. Слепцов, в ноябре 1862 года «было решено, что места бр[атьев] Серно-Соловьевичей (в Центральном комитете «Земли и Воли». — *Ф. К.*) займут Н. Утин и Г. Е. Благосветлов».

Таким образом, с ноября 1862 года Благосветлов становится одним из пяти руководителей этой значительной для того времени революционной организации. Примерно с мая 1863 года из пяти членов Центрального комитета могли продолжать свою работу только В. Курочкин и Г. Благосветлов: 4 января 1863 года уехал за границу Слепцов, а в первых числах мая — Н. Утин; с начала 1863 года, после освобождения из крепости предателя Костомарова, начавшего слежку за знакомыми ему радикально настроенными офицерами, решением Центрального комитета был отстранен от активного исполнения обязанностей члена комитета Н. Обручев. А между тем работа «Земли и Воли» продолжалась в течение всего лета 1863 года; в частности, в июле 1863 года Центральным комитетом был выпущен № 2 листка «Свобода».

Многочисленные агентурные донесения о революционной деятельности Благосветлова, которые имеются в архиве III отделения, помогают раскрыть роль и практическую деятельность Благосветлова в «Земле и Воле». Правда, часть донесений принадлежит бывшему студенту Технологического института, исключенному в 1861 году за участие в беспорядках, сыну смотрителя пересыльной тюрьмы Волгину, к показаниям которого (как и вообще к материалам III отделения) следует относиться с осторожностью. Как свидетельствует М. Лемке, Волгина проследили агенты «Земли и Воли», посылали ему вздорные доносы и всячески водили за нос. И тем не менее, пишет М. Лемке, хотя Волгин в силу этого и «городил всякий вздор», он «все-таки иногда направлял внимание своего патрона на настоящих землевольцев, не подозревая их истинной роли в обществе».

Последнее прежде всего относится к донесениям Волгина о Благосветлове. Они ни в малой степени не расходятся с теми данными о революционной деятельности его, которые имеются в воспоминаниях Слепцова и нередко подтверждаются донесениями других агентов.

В начале 1863 года Волгин доносил петербургскому обер-полицмейстеру Анненкову: «Со времени последнего моего визита у Вашего превосходительства я продолжал следить за всеми действиями известной Вам партии. Главное и видное место нынче в круге ее действий в Петербурге принадлежит г-ну Благосветлову, бывшему главному члену Шахматного клуба, ныне редактору журнала «Русское слово». Поэтому я решился искать случаев познакомиться с ним лично для ближайшего следования за действиями партии,

в которой, как мне положительно известно, он занимает одно из первых мест, и, как кажется, судя по слышанным мною намекам от разных лиц, он из числа членов теперешнего Петербургского комитета, состав которого недавно переменялся и потому неизвестен еще мне вполне».

Посылая 19 марта донос Волгина в III отделение, обер-полицмейстер Анненков добавлял от себя: «Сведения эти имеют свое значение... как подтверждение того предположения, что последняя прокламация («Льется польская кровь». — *Примеч. Лемке*) могла быть напечатана в типографии «Русского слова». Образ мыслей, направление и вся предшествовавшая деятельность Благосветлова... допускают возможность подобного предположения. Лицо, доставившее мне прилагаемые сведения, заверяет положительно, что предпоследняя прокламация «К образованным классам» была напечатана в типографии «Русского слова» и что Благосветлов был вынужден ее напечатать, чтобы сохранить в своем кружке то значение, которого он добивается».

С этого времени полиция не прекращала тщательной слежки за Благосветловым.

14 апреля 1863 года обер-полицмейстер Анненков докладывал Долгорукову: «В...предупредил меня, что на святой неделе выйдет прокламация, и заявил положительно, что она будет печататься в типографии Благосветлова. Это вынудило меня поместить одного из агентов моих наборщиком в означенную типографию, и если прокламация действительно вышла в свет оттуда, то я буду знать это в очень скором времени. Скорее полагать можно, что она печаталась где-либо на дому, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что Благосветлов есть главный распорядитель этого дела». Анненков подчеркивал здесь, что сведения Волгина «сходятся во многом с теми сведениями, которые уже имеются насчет этого предмета».

Вполне возможно, что Анненков переоценивал старательность своего агента. Во всяком случае, не довольствуясь донесениями Волгина и агента, направленного в качестве наборщика в типографию к Благосветлову, III отделение тщательно собирает любые данные, хоть в какой-то степени бросающие свет на революционную Деятельность Благосветлова.

«Вчера узнано, — сообщает 12 апреля 1863 года один из агентов, — что в конторе типографии Рюмина, принадлежащей Благосветлову, два раза в неделю собираются литераторы будто бы по делам... Подобное собрание было вчера, и агент, который по обыкновению хотел войти в контору означенной типографии, не был допущен».

Однако все попытки III отделения собрать улики против Благосветлова, достаточные для того, чтобы арестовать его, оказывались безуспешными. В июне 1863 года III отделение подсылает к Благосветлову нового агента в надежде на успех.

«Сближение с Благосветловым, который держит себя чрезвычайно осторожно и скрытно, — сообщает по этому поводу 22 июня 1863 года Анненков в III отделение, — имелось постоянно в виду, но все попытки достигнуть этой цели до сих пор не увенчались успехом. Ныне вновь

приступлено к этому сближению посредством подсылки к нему агента со статьею, написанной в либеральном духе, для напечатания в издаваемом им журнале. Благосветлов принял его с начала с холодностью, не подымая даже глаз; когда же агент объяснил ему причину своего посещения и вручил статью, то он, прочитав часть оной, осмотрел его через очки и сказал, чтобы он зашел к нему за ответом сегодня... От сегодняшнего свидания будет зависеть, удастся ли сближение с Благосветловым».

Однако «сближение» и на этот раз не удалось. В агентурной записке от 24 июня 1863 года сообщалось, что Благосветлов отказался печатать эту статью и направил агента к Краевскому, а на прощание «попросил его написать на статье имя и фамилию свою, а также адрес», сказав, что пригласит его, когда потребуется.

Больше донесений от этого агента не последовало.

Это отнюдь не значило, что слежка за Благосветловым прекратилась. В агентурном донесении неизвестного нам агента от 23 июля 1863 года говорилось: «Один из сотрудников «Русского слова», издаваемого Благосветловым, офицер Попов, рассказывал книгопродавцу Д. Федорову, что на днях появилось новое воззвание, которое клали в карманы во время бывшего в Ильин день крестного хода. Агенты, нарочно посланные для наблюдения за распространением подобным образом на крестном ходе возвания, сообщили, что они ничего такого не заметили. Видно, г-н Попов хорошо знал, каким образом воззвание должно было распространиться».

Другой агент сообщал 26 июля 1863 года: «Молодой литератор Троицкий, занимающийся у Благосветлова, находясь в нетрезвом виде, был спрошен нашим агентом о последнем возвании «Свободы», которое он (Троицкий. — *Ф. К.*) называл периодическим листком. Он отвечал уклончиво, но все-таки же сказал, что листок этот появлялся редко, потому что типография плохо организована; но что со временем и очень скоро он будет появляться постоянно».

Генерал Анненков в июле 1863 года ставил в известность управляющего III отделением Потапова: «...Свобода» положительно исходит из кружка Благосветлова и Василия Курочкина, а склад ее находится у Гайдебурова; следующее воззвание будет напечатано к августу в типографии отс[тавного] поручика Зиновьева».

В ночь с 23 на 24 июля по распоряжению Анненкова у Благосветлова, Курочкина, Гайдебурова и Гиероглифова был сделан тщательный, но безуспешный обыск — как в квартирах, так и в типографии Благосветлова. И тем не менее основательность предположения Анненкова и достоверность получаемой им информации подтверждаются тем, что в первых числах августа 1863 года действительно появилось новое воззвание «Земли и Воли» — «На суд народный!». Причем совершенно другие свидетели тут же указали на Благосветлова как на человека, прямо причастного к данному возванию. 7 августа 1863 в III отделение поступил анонимный донос: «Вышло новое воззвание под заглавием «На суд народный!»... Адрес, по словам Гриневского {редактор «Сельского хозяйства». — *Ф. К.*), написан рукой Благосветлова,

которая ему хорошо известна». Почерк Благодетеля настолько характерен, что человеку, действительно знавшему его, ошибиться было невозможно.

Все это объясняет ту уверенность, с которой Анненков неоднократно утверждал, что именно в типографии Благодетеля и в редакции «Искры» была сосредоточена деятельность тайных обществ. Не случайно многочисленные доносы об этих прокламациях не касаются больше ни одной типографии, кроме типографии «Русского слова», которая являлась собственностью Благодетеля и была очень удобным местом для печатания «Свободы».

Немаловажно и то обстоятельство, что тяжеловесность языка, которым написаны оба листка «Свободы», да и весь комплекс идей, выраженных в этих листках, подтверждают правомочность такого предположения. Пафосом основного печатного органа «Земли и Воли», начавшего выходить в 1863 году, была борьба за политическую свободу, — название «Свобода» точно выражало основную идею этих прокламаций. Источник всех бедствий народа «Свобода» видела в самодержавии. Уродливые попытки разных реформ, утверждала «Свобода», продемонстрировали несостоятельность самодержавия, ложного «по самому принципу». «Свобода» писала о неизбежности революции, которая может получить «исполиньские размеры кровавой драмы», если лучшая часть образованных классов не станет на сторону революции и не «обессилит тем самым окончательно правительство».

Акцент на завоевание политической свободы, равно как и на то, чтобы восстание не обернулось «кровавой драмой», не говоря уже о всей стилистике «Свободы», заставляет всерьез задуматься о возможной причастности Благодетеля к листку «Свобода».

### **ПОД «ДАМОКЛОВЫМ МЕЧОМ»**

Трудная пора реакции, которой завершилось либеральное время реформ, принесла Благодетелю и его журналу еще одну неожиданность: насмерть перепуганный происходящими событиями граф Кушелев-Безбородко сразу же после приостановления журнала поспешил отказаться от крамольного издания. Как пишет Шелгунов, «гр. Кушелеву посоветовали оставить издание журнала, его компрометирующего, и Кушелев передал Благодетелю свои издательские права». Благодетелю нелегко было принять на себя обязанности издателя. Он был человеком без всякого состояния, получавшим от Кушелева-Безбородко 150 рублей серебром в месяц за свои труды. Вести журнал, то есть частное предприятие, без всякого состояния, да еще журнал, подкошенный редакционными долгами, в тех условиях было делом невероятно сложным.

И тем не менее Благодетель принимает и экономическую ответственность за издание. 27 июля 1862 года он сообщает об этом решении Мордовцеву: «Граф Кушелев отказывается от продолжения «Русского слова» и передает его мне. Беру я его о трепете и страхе, но хоронить журнал навсегда было бы бесчестно в настоящую минуту. Я войду в долги, поставлю всю жизнь на карту, но буду продолжать...»

И как несправедлива судьба к этому человеку: еще при жизни Благодетеля сложилось мнение, будто бы он взял на себя издание «Русского слова», а

потом и «Дела» не из идейных соображений, но ради наживы, ради эксплуатации своих сотрудников. Таким же «журнальным эксплуататором» пытались представить в свое время и Некрасова, издававшего «Современник» и «Отечественные записки». Трудami советских ученых домыслы об эксплуататорстве Некрасова были разоблачены. В отношении Благосветлова этого не было сделано. Версия об «эксплуататорстве» Благосветлова была воспринята на веру и советскими учеными. Она проникла в учебники, диссертации и научные труды. В некоторых из них Благосветлов предстает уже как «обыкновенный либерал, буржуа, дрожащий за свой капитал, нажитый на издательстве». Благосветлов и в самом деле был человеком расчетливым и прижимистым, с одной стороны, властным, «грубым и вспыльчивым», как он сам писал в письме к Мордовцеву, с другой. Известно, что эта «грубость и вспыльчивость» толкали порой Благосветлова на поступки, которых он сам же стыдился. Вне сомнения, к концу семидесятых годов, к тому времени, когда он, говоря словами Шелгунова, оказался «сломленным жизнью», его недостатки развились. В нем стали с очевидностью проявляться черты буржуазности. «... Получился двойственный человек, честный политически и, в то же время, давивший экономически, — писал Шелгунов, — человек, признававший полное равенство в политических правах и не допускавший равенства между собою и теми, кому он платил жалование и кто на него работал». Превращение это произошло не в шестидесятые годы, а значительно позже, хотя предпосылки к тому, конечно, существовали. Вместе с тем Шелгунов подчеркивал, что недостатки Благосветлова были лишь его личными недостатками, а не недостатками его общественно-политических убеждений. «Как публицист и общественный деятель Благосветлов оставался всегда верен себе... Он твердо держался одних и тех же политических и общественных принципов, никогда и ни при каких обстоятельствах (а он их тоже испытал) не изменял своим политическим убеждениям и составил себе репутацию человека вполне честного политически». При всех личных недостатках своего характера (он был «очень упрям, очень раздражителен и очень запальчив», «был человек тугой, неподатливый, замкнутый, не открывавший своей души, подозрительный») Благосветлов, утверждал. Шелгунов, имел «широкую, размашистую» натуру и несправедливо обвинялся в скупости.

Когда заходит речь об «эксплуататорстве» Благосветлова, приводится обычно тот факт, что Благосветлов платил Писареву всего 50 рублей за лист. Часто приводится также письмо Писарева Благосветлову, начинающееся так: «Бесстыжие твои глаза! Ты меня огрел при расчете на 77 р. 50 к. сер...» Но при этом не учитывается, что, разъяснив Благосветлову, как это получилось («число написанных мною листов определено у тебя неверно»), Писарев продолжает свое письмо так: «Правда ли, что у нас всего только 1700 подписчиков? Если правда, то не поторопился ли ты прибавить мне по 10 руб. на лист?»

Благосветлов действительно платил Писареву 50 рублей за лист, причем с начала 1865 года увеличил полистную плату по собственной инициативе, чем вызвал упреки Писарева. Но, как показывает расчетная книга «Современника», Чернышевский и Добролюбов получали в журнале вначале 40, а потом 50

рублей за печатный лист, хотя тираж «Современника» был значительно больше, а цена номера выше, чем в «Русском слове».

Нельзя не иметь в виду также и того, что для ведения издания в тех условиях необходим был талант не только журналистский, редакторский, организаторский, но в известном смысле предпринимательский.

Это хорошо понимал Некрасов. В неопубликованных главах воспоминаний П. Гайдебурова, хранящихся в ЦГАЛИ, передан один из последних его разговоров с Некрасовым — уже перед самой смертью руководителя «Современника» и «Отечественных записок». «Я знаю, — говорил Некрасов, — меня упрекают в практичности и в разных разностях. Еще Белинский говаривал об этом... Но если б во мне не было практичности — разве я смог бы вести «Современник»? Ведь трудно, ох как трудно было это!»

Благосветлов обладал качеством «практичности», столь необходимым для издателя журнала в буржуазном обществе. Именно это качество и позволило ему в течение двух десятилетий в исключительно трудных условиях вести свои неугодные правительству издания. Силу Благосветлова, его практические возможности как издателя вполне оценивало III отделение. К примеру, какой-нибудь «Женский вестник», издаваемый супругами Мессарош, несмотря на определенную прогрессивность его направления, не беспокоил III отделение. «Средства к изданию этого журнала крайне ограничены, и в настоящее время их у Мессарошей нет», — говорилось в записке III отделения, — поэтому «нет никакой надобности... запрещать это издание», оно прекратится само собой (прогноз III отделения быстро оправдал себя). «Совсем другое дело журнал, издаваемый Благосветловым... Материальные средства у Благосветлова невелики, но кредит значителен, и он, имея типографию, может вести журнал долго, даже при неудовлетворительной подписке. Человек этот — сильной воли и твердого характера. Как ни жмет и ни теснит его Главное управление по делам печати, он все-таки держится твердо и не отступает от предвзятых им целей и стремлений». Таково признание врага. А теперь задумаемся: мог ли Благосветлов в это трудное время стоять столь твердо на ногах, если бы он не имел собственной типографии и обеспечивающей в тех условиях кредит недвижимости (собственная типография и каменный дом — таковы основные аргументы в пользу «эксплуататорства» Благосветлова)?

Благосветлов был сыном своего времени, продуктом тех жизненных обстоятельств, в которых он рос и воспитывался. Голод, бедность и нищета в детстве и юности выработали в нем сложный комплекс отношений к материальным благам жизни, который и выражался в его «практичности» и «прижимистости». Однако, каким бы сложным ни был этот комплекс, жажда обогащения никогда не была самодовлеющей у Благосветлова. И когда он писал в 1862 году Мордовцеву: «...Я никогда не знал цену деньгам, если я сыт и могу купить книгу; притом помню и то, что 60 миллионов моих соотечественников ходят в лаптях, а я все же в крепких сапогах», — он был искренен. Искренен он был и в этих словах, написанных им в конце жизни: «... Я вовсе не желаю воспитывать своих детей в духе той буржуазной тупости, которая видит идеал человеческого счастья в деньгах, в роскоши и во внешнем

лоске, и если их не имеет, то облизывается, как голодная собака при взгляде на жирную кость, от одной надежды когда-нибудь съесть ее. Нет, я хотел бы видеть в них простых и честных работников, каким был их отец всю свою жизнь». Сутью мирозерцания Благосветлова, конечно же, было не приобретательство, но демократизм, идущий от земли, первоначально во многом стихийный, а с течением времени все более осмысленный, революционный, боевой.

Этому-то человеку граф Кушелев-Безбородко и решил передать свой журнал в грозную пору начала реакции шестидесятых годов. Благосветлов не колеблясь принял предложение перепугавшегося графа. Однако перспектива перехода «Русского слова» в такие руки ни в коей мере не согласовывалась с видами правительственных кругов. И когда граф Кушелев-Безбородко направил в июле 1862 года прошение передать право издания и редакции журнала Благосветлову, министр просвещения Головнин, в чьем ведении находилась цензура, первым делом направил в III отделение запрос: не встречается ли со стороны последнего «препятствий к позволению г-ну Благосветлову быть редактором и издателем «Русского слова»?

Препятствия были столь серьезными, что начальник III отделения ответил Головнину: «О сем я буду иметь честь объясняться с Вашим превосходительством лично». Результатом этого объяснения было то, что ни редактировать, ни издавать журнал «Русское слово» Благосветлову не было разрешено.

Тогда Благосветлов решает издавать журнал явочным порядком, через подставных лиц и рассылает письма подписчикам «Русского слова» о возобновлении журнала под новой редакцией.

Активная деятельность Благосветлова в качестве руководителя журнала, от которого он был официально «отставлен» III отделением, не могла остаться незамеченной. Не прошло и месяца по возобновлении журнала, как в Центральном управлении по цензурному ведомству вследствие вмешательства III отделения возникло специальное дело «О редакторе «Русского слова» Благосветлове». Дело возникло в связи с доносом на Благосветлова, поданным в III отделение макарьевским уездным предводителем дворянства Петровым. «Дерзость его выходит из пределов личного оскорбления, — писал Петров. — Так, например, объясняя, что редакция никогда не полагала условием для подписчиков оставить высланные им до запрещения журнала книжки оного бесплатно, он пишет: «Ведь мы не даром печатали 5 книжек того журнала, который запрещен по капризу двух министров... Из каких особенных побуждений мы стали бы дарить, уже не из особенной ли симпатии к Плюшкиным Земли Русской?...» О прекращении «Шахматного листка» он пишет: «России не время учиться играть в шахматы, когда у нее ни хлеба, ни денег, ни порядочных людей». Но князь Долгоруков обратил свое внимание первоначально не столько на «крамольные» фразы в письме, сколько на тот факт, что, несмотря на запрещение, Благосветлов все-таки исполняет обязанности руководителя «Русского слова». В специальном секретном письме министру внутренних дел Валуеву Долгоруков с возмущением задавал вопрос:

«На каком же основании допущен к редакции Благосветлов?... На основании чего в печатном циркулярном письме редакции и подписчикам... сказано, что самое издание передается Благосветлову?»

Чиновники министерства внутренних дел, по поручению Валуева разбиравшиеся в этом деле, пришли к выводу, что Благосветлов издает журнал самостийно, так как, «не получив [ни] права, ни оснований быть издателем, не может издавать оный». Предварительное решение чинов III отделения и министерства внутренних дел было очень суровым: «Предполагается подвергнуть Благосветлова ответственности перед судом за присвоение себе звания редактора вопреки запрещению и употребление в письме к г. Петрову выражений о правительстве».

Однако осуществить это решение оказалось не так-то просто. Дело в том, что ни в письме Петрову, ни в официальном объявлении о возобновлении «Русского слова» Благосветлов не называл себя «редактором», но лишь «издателем», а свою редакторскую деятельность маскировал фигурой подставного редактора, официально утвержденного цензурным ведомством (вначале им был Афанасьев-Чужбинский, потом Благовещенский). Вот почему, когда чиновникам пришлось подбирать юридические основания для суда над Благосветловым, они были вынуждены доложить министру внутренних дел о следующем «недостатке законодательства»: «В цензурных постановлениях нет статьи, запрещающей лицам, получившим разрешение на издание журнала, передавать кому-либо без согласия цензуры свое издательское право;.. такое ограничение установилось на практике лишь для ответственных редакторов». Так власти не смогли официальным, юридическим путем «отставить» Благосветлова от журнала. Завершением дела «О редакторе «Русского слова» Благосветлове» явилась красноречивая надпись, запечатлевшая указание Валуева: «Приказано повременить». Но с тем большим усердием они начали душить журнал цензурой. Цензурное ведомство в 1863 году было передано из министерства просвещения в ведение министерства внутренних дел, в руки Валуева. Результатом этого было, как писал в ту пору И. С. Аксаков, настоящее «неистовство цензуры». «Никогда цензура не доходила до такого безумия, как теперь, при Валуеве. Она получила характер чисто инквизиционный», — жаловался Аксаков в одном из писем в феврале

1863 года.

Первым и главным врагом издания был цензор, который непосредственно цензуровал журнал. За три последних года существования «Русского слова» сменилось ять таких цензоров. Это уже само по себе составляло большое неудобство для редакции и сотрудников, так как, писал Шелгунов, «у каждого цензора свой царь в голове, и каждый черкает по своему усмотрению... один пропускает то, что другой зачеркивает».

О том, с каким тщанием цензуровалось «Русское слово», можно судить хотя бы по тому, что, как свидетельствует опись журнала заседаний цензурного комитета за

1864 год, с января по ноябрь было запрещено полностью или частично семнадцать статей. Но, несмотря на неистовство цензуры и на то, что



отношение Благосветлова к собственному журналу было полулегальным, этот человек незаурядной воли и силы характера продолжал вести возобновленное «Русское слово» все по тому же трудному пути.

После возобновления «Русского слова» Благосветлов завершает формирование единого по направлению коллектива журнала — задача в пору реакции нелегкая. В это время Благосветлов лишается верного своего помощника — В. Попова, который в продолжение всех 60-х годов занимался редакционными делами «Русского слова» и одновременно преподавал во Втором кадетском корпусе литературу. В ноябре 1863 года, как явствует из дела III отделения «О штабс-капитане Попове и литераторе Благосветлове», он был откомандирован военным начальством в Оренбург. Летом 1863 года с помощью матери Д. И. Писарева Благосветлов добивается разрешения для находящегося в Петропавловской крепости критика заниматься литературной работой.

Литературный и публицистический талант Писарева развернулся в полную меру именно в 1863–1866 годах. Статьи его в первую очередь определяли направление журнала, они вырабатывали в молодежи отрицательное отношение к существующему правопорядку вещей, воспитывали демократов, революционеров — новых людей времени.

Союзником Писарева в борьбе с «идейным крепостничеством» выступал молодой, талантливый публицист и критик Варфоломей Зайцев, которого Благосветлов привлек к сотрудничеству в «Русском слове» в 1863 году. «Русское слово» было так же невозможно без Зайцева, как оно невозможно без Писарева», — писал о нем Шелгунов.

Впрочем, эта оценка не точна. Николай Васильевич Шелгунов с присущей ему скромностью умалчивает о той роли, которую играл в «Русском слове» сам.

Шелгунов начал сотрудничество в «Русском слове» еще в ноябре 1859 года, но потом перешел в «Современник», где напечатал свою знаменитую статью «Положение рабочего пролетариата в Англии и Франции». В начале 1863 года он вернулся в благосветловское «Русское слово». Убежденный революционер и демократ, он был автором прокламаций «К молодому поколению» и «К солдатам». В 1862 году он с женой, Л. П. Шелгуновой, отправляется в Сибирь, чтобы организовать побег своего близкого друга М. И. Михайлова, который взял вину составления прокламации «К молодому поколению» на себя и был приговорен к каторге. В сентябре 1862 года из-за перехваченного письма Шелгунова Н. А. Серно-Соловьевичу Шелгунов был в Сибири арестован и в марте 1863 года привезен в Петербург, где с 15 апреля по 24 ноября 1864 года томился в Алексеевском рavelине, а потом был выслан в Вологодскую губернию. В ссылке он провел 13 лет. Все статьи Шелгунова в «Русском слове» 1863–1866 годов, так же как и статьи Писарева, написаны в неволе — в Алексеевской рavelине или в вологодской ссылке.

Активным сотрудником «Русского слова» 1863–1866 годов стал Николай Васильевич Соколов, который по рекомендации Чернышевского пришел в журнал перед приостановлением его в 1862 году.

В 1864 году Благосветлов привлекает к сотрудничеству в «Русском слове» Афанасия Прокофьевича Шапова, замечательного русского демократа-просветителя, речь которого на панихиде, устроенной студентами Казанского университета по крестьянам, убитым в Бездне, прошумела на всю Россию. В результате этой речи Шапов был арестован и приговорен к ссылке в монастырь, но благодаря энергичным протестам прогрессивной общественности был оставлен под надзором полиции в Петербурге и лишь в середине 1864 года в связи с «делом 32-х» был выслан в Иркутск, откуда и слал в «Русское слово» свои статьи.

Продолжает сотрудничество в журнале французский революционер Эли Реклю, который вел под псевдонимом Жак Лефрен иностранное политическое обозрение («Политика»). В 1864 году Благосветлов привлекает к сотрудничеству известного русского революционера, сражавшегося под знаменем Гарибальди, эмигранта Льва Мечникова, напечатавшего под псевдонимом Леона Бранди ряд статей, и другого революционера-эмигранта, участника Польского восстания доктора П. И. Якоби. Эпизодическое участие в «Русском слове» принимают известный революционер-шестидесятник Н. А. Серно-Соловьевич, автор арестованной в 1865 году книги «Критические этюды» П. А. Бибииков и др. В конце 1865 года в журнал приходит П. Ткачев, в будущем знаменитый революционер-народник, заменивший Зайцева в роли составителя «Библиографического листка».

На страницах «Русского слова» 1863–1866 годов систематически продолжал выступать и сам Г. Е. Благосветлов. Его перу принадлежит большинство внутренних обозрений журнала, которые шли под рубрикой «Домашняя летопись». Выступал он и в других отделах журнала, писал в «Библиографический листок», в отдел «Политика» и т. д. Им были опубликованы, в частности, такие статьи, как «Историческая школа Бокля» (№ 1–3, 1863 г.), «Москва и Новгород. Северно-русские народоправства, соч. Н. Костомарова» (№ 5, 1863 г.), «Дж. Ст. Милль. Размышления о представительном правлении» (№ 9, 1863 г.), «Ученое самообольщение» (№ 3, 1864 г.), «Воспитание человеческого характера» (№ 11, 1865 г.). Это огромный массив публицистических материалов, почти не исследованных. А между тем именно на эти статьи ссылаются в споре о Благосветлове те, кому революционность руководителя «Русского слова» кажется сомнительной. Так, Л. Варустин, автор главы о «Русском слове» во втором томе «Очерков по истории русской журналистики и критики» (Л., 1965), полемизируя с моей статьей «Журнальный эксплуататор» или революционный демократ?» («Русская литература», 1960, № 3), бросает упрек в том, что факты революционной биографии Благосветлова не сопоставлены в этой статье «с его публицистическим наследием». Ссылаясь далее на статьи Благосветлова 1863–1866 годов, Л. Варустин утверждает, что революционность Благосветлова в статье «искусственно преувеличена», что «Благосветлов не противник революции, но и не активный ее сторонник», что «осуществить право труда Благосветлов рассчитывает мирными средствами, путем распространения среди трудовых масс просвещения, знаний, в том числе и естественнонаучных». По

мнению Л. Варустина, Благосветлов являл собой уникальный психологический гибрид: с одной стороны, рисковал жизнью и свободой, активно работая в подпольной революционной организации, являясь одним из ее руководителей, а с другой — если иметь в виду его общественные убеждения — был, по существу, мирным просветителем, «не понимавшим, что для осуществления... демократических преобразований необходимо изменить существующий режим, положить конец господству семьи Романовых и класса дворянства». Феноменальное, исключительное в своем роде явление, противоречащее всем законам психологии. Можно представить себе человека (и мы знаем таких немало), исповедующего революционность на словах, но остерегающегося проводить ее на деле. Трудно представить обратное, когда сторонник мирных просветительских действий, да еще с таким трезвым характером, каким обладал Благосветлов, вопреки своим убеждениям, невзирая на самые опасные последствия, уходил в подполье и становился руководителем организации революционеров.

Мы убедились уже, что публицистика Благосветлова 1861–1862 годов, прежде всего «Современная летопись» журнала и статья «Невольничество в Южно-Американских штатах», всем своим содержанием опровергает предположение Варустина. Но, может быть, руководитель «Русского слова» превратился в «мирного просветителя» в трудную для революционной демократии пору 1863–1866 годов? Время это было не просто трудным — оно было трагическим для крестьянских революционеров шестидесятых годов.

Перенесемся мысленно в ту эпоху и попытаемся представить себе положение демократов-шестидесятников во всей его реальной сложности. Шестидесятники были гражданами и патриотами в самом истинном значении этих слов. Их боль за народ, их ненависть к деспотизму и крепостничеству, их жажда видеть свою родину процветающей и счастливой толкали к активной деятельности, к поиску реальных путей освобождения народа. Крестьянские волнения, недовольство народа несправедливостью реформы давали им надежду на скорую крестьянскую революцию, которая разом покончит с самодержавием и крепостничеством, с эксплуататорскими порядками в стране. Крестьянские волнения в 1861–1862 годах достигли своего апогея. И пошли на убыль. Надо сказать, что в последующие десятилетия XIX века революционное недовольство крестьянства уже никогда не поднималось до уровня начала шестидесятых годов. Шестидесятые годы — вершина, пик крестьянской революционности, и неувидительна та святая вера в народную революцию, которая питала классический революционный демократизм в лице Чернышевского, Добролюбова, землевольцев, которая определяла все их мирозерцание. Объективный драматизм положения заключался в том, что эта вера в революционность русского крестьянства, в его способность подняться и совершить коренной общественный переворот была иллюзорной. И наивно думать, будто эта вера была абсолютной, что и в пору высшего подъема крестьянской революционности она не подтачивалась тягостными сомнениями. Чернышевский писал в «Письмах без адреса» в 1862 году, когда стало очевидно, что сразу же вслед за опубликованием «Положений 19 февраля»

революции не произошло: «Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящей ее причиною — недостатком общности в понятиях между собою и людьми, для которых работаешь; признать эту причину было бы слишком тяжело, потому что отняло бы всякую надежду на успех всего того образа действия, которому следуешь; не хочешь признать эту настоящую причину и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоятельствах, изменить которые легче, чем переменить свой образ действий».

Тревожные мысли об уровне самосознания народа не оставляли в покое и Писарева, который в апреле 1862 года в статье «Бедная русская мысль» вопрошал: «Проснулся ли он теперь, проснется ли, спит ли по-прежнему — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем». Горькие размышления о долготерпении народа пронизывали, как мы видели, «Летописи» Благовестлова в особенности в 1862 году, когда уже стало ясно, что крестьянские волнения идут на убыль. Некоторое время оставалась еще надежда на весну 1863 года, когда власти должны были начинать проведение в жизнь новых земельных уставов, провозглашенных «Положениями 19 февраля». Однако уже в феврале — марте 1863 года стало очевидно, что надежды на революционный взрыв по-прежнему остаются иллюзией. «Жалкая нация, нация рабов; сверху донизу — все рабы», — с тоской и горечью скажет впоследствии об атом обескураживающем, порушившем все расчеты шестидесятников факте Чернышевский. «На общее положение взгляд несколько изменился. Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому — прийти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже, — и приняться вбивать сваи» — так осмыслял новую ситуацию в 1864 году в письме Герцену и Огареву, написанном в Петропавловской крепости, один из организаторов «Земли и Воли», П... А. Серно-Соловьевич.

Ставка на революционность крестьянства, основу основ мирозерцания шестидесятников, оказалась битой.

Во второй половине шестидесятых годов началось некоторое «снижение тона» в революционной теории, началось как в «Современнике», так и в «Русском слове». Эта трагедия, кстати сказать, была трагедией всего второго (демократического, народнического) этапа освободительного движения в России. Начиная со второй половины шестидесятых годов и до конца века, до возникновения марксистской партии в России, революционеры-народники безуспешно бились над одним неразрешимым вопросом: как поднять крестьянство на революцию? Безуспешность этих попыток, как известно, завершилась в героическом отчаянии террора. И все это время теоретическая мысль революционеров мучительно искала выхода, пытаясь объяснить этот исторический фантом, выработать рецепты подъема революционного самосознания масс, нащупать реальные пути освобождения народа. Кипели дискуссионные страсти, создавались системы, пропагандировались самые разнородные рецепты — от писаревской панацеи естественнонаучных знаний

до бакунинского «вспышкопускательства»; демократическая общественная мысль неумолимо отходила от классических форм революционного демократизма, выработанных Чернышевским, к субъективно-социологическим построениям позднего народничества. Это «снижение тона» в революционной теории началось уже в «Русском слове» — и оно было исторически неизбежным. Оно отражало растерянность революционеров перед очевидностью факта: «Почва болотистее, чем думалось». Растерянность, но не слабость: публицисты «Русского слова» не пришли в уныние, они принялись «вбивать сваи». Точнее, они попытались в первую очередь глубоко осмыслить эту новую ситуацию, для того чтобы выработать ответ на главный вопрос нового времени: что делать? Какими же путями решать теперь кардинальную задачу эпохи — задачу коренного преобразования общества?

Чтобы ответить на этот вопрос, приходилось обращаться к социологии и философии истории. Не случайно в первых же номерах возобновленного с 1863 года «Русского слова» Благодетель печатает большую, программную для него работу «Историческая школа Бокля». Английский историк Бокль, автор монументального труда «История цивилизации в Англии», один из основоположников позитивизма — буржуазного течения в философской мысли Европы второй половины XIX века, — пользовался большой популярностью в России шестидесятых годов. Он попытался в своем труде превратить историю в науку. Подвергнув резкой критике идею божественного предопределения в истории, он провозгласил идею закономерности исторического процесса и сделал попытку найти эти закономерности в природных условиях (климат, пища, почва, ландшафт), которые формируют психику людей, их сознание; сознание же человека, его рассудок являются творцом исторической, общественной жизни человека, двигателем человеческой истории. Являясь глубоко идеалистической, концепция Бокля игнорировала значение производственных отношений людей для жизни общества, не касаясь проблем социальных. Вместе с тем Бокль выступал как буржуазный радикал, ратующий за широкие демократические свободы и протестующий против всякого деспотизма, рабства, религии.

Как же относился к Боклю Г. Е. Благодетель?

По установившемуся взгляду, именно Бокль с его идеей эволюционного развития общества под воздействием геофизических причин и прогресса знания был учителем жизни для Благодетель. Такая точка зрения основана на чистом недоразумении — на том чисто внешнем пиетете, который мы встречаем в его статье, посвященной автору знаменитой «Истории цивилизации». В действительности статья «Историческая школа Бокля» написана не учеником английского мыслителя, а его убежденным и последовательным оппонентом. Благодетель принимает у Бокля две близкие ему посылки: идею законосообразности исторического прогресса и мысль о том, что первым двигателем прогресса является мысль, знание, — идеи, общие для всего революционно-демократического просветительства. Благодетель разделяет антифеодалный пафос труда Бокля. Все остальное подвергается в статье резкой и доказательной критике. О подлинном отношении Благодетель к

Боклю можно судить по его письмам к Мордовцеву. Еще в мае 1861 года он обращался к нему с просьбой: «Не разберете ли Вы «History of civilisation by Buckle для иностранного отдела? Только, кажется, мы расходимся в мнении об этом квакере. Англия приняла его холодно; теория его, по самой обширности замысла, — теория ветра и пузырей. Пощипать этого господина не мешало бы, если не боитесь стать вразрез с нашими петербургскими критиками, наслушавшимися о Бокле от полковника Лаврова и статского советника Краевского».

Он не уговорил Мордовцева выступить о критикой Бокля и во время вынужденного перерыва, связанного с приостановлением «Русского слова», засел за эту работу сам. Статья «Историческая школа Бокля» — одна из самых значительных работ в публицистическом наследии Благосветлова. Правда, читая ее, так же как и многие другие выступления руководителя «Русского слова», поневоле вспоминаешь слова Шелгунова об «упрямой, неповоротливой мысли» Благосветлова, о том, что говорил он «гораздо лучше, чем писал, и в его энергической, образной и цветистой речи с оттенком иронии чувствовалась обаятельная, а подчас и неотразимая сила». Эта сила убежденности, сила мысли ощущается и в печатных работах Благосветлова, но они лишены того изящества, блеска, легкости изложения, которые являются признаком истинного литературного таланта. Однако тяжеловесность стиля не лишает работы Благосветлова такого важного для публициста достоинства, как ясность мысли и определенность позиции.

С чем спорит, что категорически не приемлет в «Истории цивилизации» Бокля руководитель «Русского слова»?

«Шаткость теории» Бокля, на его взгляд, зависит от того, что он не взглянул посерьезнее на социальные отношения человека или поставил их на втором плане, тогда как они-то и разрешают исторические судьбы народов. Благосветлов категорически отрицает тезис Бокля, будто причиной разложения и упадка ряда азиатских государств являются неблагоприятные природные условия. Главной причиной упадка тех или иных наций Благосветлов считает «социальный характер... общественной организации». «И если общественные условия сложились дурно, искажены теми или другими историческими обстоятельствами, освободиться от них гораздо труднее, чем от самой заразной болезни, приносимой зловредным воздухом и гниющими болотами» (1863, 1–2, I, 13–14). Однако трудно не означает невозможно.

В отличие от Бокля Благосветлов верит, что, где бы ни было — в снежных пустынях Севера или в безводных степях Африки, — человек восторжествует над природой, над бедностью, над несчастьями людей. Для этого ему требуется одно: «Новая общественная жизнь, устроенная на рациональных началах, без внутренней взаимной вражды и систематического людоедства».

Но каковы пути установления этой «новой общественной жизни», устроенной на рациональных и справедливых началах?. Собственно, ради ответа на этот вопрос Благосветлов и разбирает работу Бокля. Бокль утверждал, что разум, знание являются движущей силой прогресса. Этот тезис разделяли все русские революционные демократы.

Вопрос о роли разума и знания в деле устройства жизни для революционно-демократических мыслителей особое значение приобрел во второй половине шестидесятых годов. Крах всяких надежд на скорую революцию они объясняли прежде всего тем, что крестьянство спит глубоким сном. Именно в этом — в недостатке самосознания, в «рабьем чувстве», в «долготерпении» народа — они видели конечную причину бедствий России, историческую трагедию ее. Мысль эта блистательно была выражена Писаревым в статье «Бедная русская мысль». Имея в виду деспотизм самодержавия, он писал: «Зло заключается не в том человеке, который его делает, а в том настроении умов, которое его допускает и терпит». Ту же самую мысль проводил в статье «Историческая школа Бокля» Благосветлов. Он использовал для этого испытанный прием: историческую аналогию с Испанией, этой раздавленной феодальным и религиозным гнетом страной.

Трагедию Испании Благосветлов видит «в раболепия народа, развращенного множеством самых пагубных обстоятельств», «в суеверии и рабском чувстве, запечатленных веками в уме и ввевшихся в сердце испанской нации» (1863, 3, I, 22).

Перед нами раздумье о самом главном — о трагедии народа, не имеющего своих сил для радикального, революционного переворота: «Слепое повиновение, принимающее вид недостойного раболепства перед престолом и церковью, есть главный и существенный порок испанского (читай: русского. — Ф. К.) народа» (1863, 3, I, 20). Благосветлов отдает отчет, что «слепое повиновение» и «раболепие» народа — следствие социального и политического гнета, результат темноты, забитости и нищеты. Именно повсеместная бедность и невежество выработали раболепство и привычку к гнету в массах народа. Но, понимая это, Благосветлов не хочет оправдывать «рабское чувство» в народе. «Нет сомнения, что человеку, долго носившему цепи, нелегко расстаться с ними, но все же лучше сбросить их поскорее, если только они не ввелись в живое мясо и не вросли в самые члены...» (1863, 3, I, 21).

Как выработать в народе эту потребность — сбросить цепи эксплуатации и рабства, освободить себя от угнетения и нищеты? Поиск точного ответа на этот кардинальный вопрос времени был важен прежде всего для выработки новой стратегии и тактики освободительного движения, соответствующей изменившимся общественным условиям. Не так-то просто было ответить на этот вопрос. И вполне естественно, что в этой новой и трудной для них ситуации революционеры-просветители обратились в первую очередь все к той же спасительной панацее от всех бед — к знанию.

Культ разума, вера во всемогущую силу знания, как известно, были свойственны Благосветлову с первых шагов его на поприще общественной деятельности. Общетеоретический постулат для него был ясен до очевидности: «Главным... двигателем всякой человеческой деятельности служит степень умственного развития, руководящего нашими силами. Чем меньше ума у народа, тем меньше энергии и способности в выполнении своего дела, тем ниже общий итог народного труда. Само собой разумеется, что есть и другие обстоятельства, чисто внешние, задерживающие ход общественной

деятельности, — продолжает далее Благодетель, имея в виду устаревшие формы общественного устройства, — но мы здесь предполагаем, что умный и образованный народ владеет такими активными способностями, которые дают ему средства отклонять или уничтожать эти обстоятельства. Если же он подставляет под них свою шею, как бык под ярмо, то значит, что сознание пассивного своего состояния у него недостаточно выработалось» (курсив мой. — Ф. К.) (1863, 11–12, III, 45).

При всей наивности веры во всемогущество разума это позиция не только просветителя, но и революционера: умный и образованный народ найдет в себе силы для того, чтобы стать не только богатым, но и свободным. Подобная точка зрения диктовала вполне определенную программу действий. Если русский народ «спит во всю ивановскую», покорно подставляя свою шею под ярмо самодержавия и крепостничества, историческая задача революционеров заключается в том, чтобы разбудить народ, помочь ему выработать сознание несправедливости и бесправности своего существования. Задача первоочередной важности еще и потому, что если даже и случится стихийный взрыв народного недовольства, порыв революционного чувства, неразвитому умственно народу будет трудно закрепить этот успех. «Конечно, есть примеры, показывающие, что чувство свободы и хорошего экономического устройства развивается прежде, чем народ достигает соответственного его социальному положению умственного развития — но без этого последнего ему трудно держаться на высоте общественного благосостояния и продолжать его дальнейший прогресс» (1863, 11–12, III, 45).

По этим причинам весь круг проблем, связанных с распространением знаний и воспитанием народа, выходит в пору реакции на страницах «Русского слова» на первый план. При невнимательном чтении легко упростить просветительскую программу Благодетель, свести ее к плоской теории «малых дел»: просвещение, образование, грамотность народа — вот она, панацея от всех бед. Этого искуса не избежали многие. На взгляд некоторых исследователей, программа действий Благодетель сводилась к «распространению среди трудовых масс просвещения». «...Дорога к освобождению и очищению страны от крепостнических язв и наслоений, по мнению Благодетель, проходит через университет, книгу, знания, эмансипацию личности, а не через баррикады и насильственное ниспровержение династического режима», — утверждает, к примеру, Л. Варустин.

Но тогда почему же с такой издевкой пишет Благодетель о том «способном разряде мечтателей», которые думают, будто «всю общественную жизнь, всю систему ее нравственных и политических начал можно перестроить с помощью образования»? На всем протяжении шестидесятых годов Благодетель яростно спорит как раз с той либерально-просветительской точкой зрения, которую ему приписывают. Как бы отвечая современным исследователям его творчества, Благодетель писал: «Наши скромные прогрессисты прожужжали уши русской публике, что корень всего зла России — это непросвещение и что распространение просвещения есть истинный якорь спасения для нас» (1863, 2,



III, 12). По мнению же Благосветлова, «якоря спасения» не будет и в том случае, если даже просвещенность масс поднимется до уровня дворян, чиновников и духовенства.

«Если мы будем надеяться только на одну грамотность да образование, то нам придется очень долго идти, подобно тому ослу, который, видя привязанный к его лбу перед глазами клок сена, думал, что его можно достигнуть посредством движения вперед» (1863, 2, III, 13). Почему? Да прежде всего потому, что «у большинства людей, занятых с утра и до вечера приобретением насущного куска хлеба... отнята всякая возможность к образованию», — пишет он. Подробно и неопровержимо доказывает он мысль, что, когда народ «голоден и раздет, тогда ему некогда думать о развитии своих высших способностей».

Но дело не только в экономических трудностях образования народа. Благосветлов убежден, что вообще «от грамотности и арифметики до социального развития еще очень далеко... Социальное развитие, хотя и находится в связи с образованием, но составляет в то же время самобытное начало. Социальное развитие и образование народа связываются между собой взаимодействием; но объяснить социальное развитие прямой и единственной зависимостью от образования — крайне близоруко. Развивать это и подкреплять примерами истории совершенно излишне: *в истории всякого народа можно найти эпохи, в которые он развивался под влиянием тех или других политических причин, помимо процесса его образования, достигая сравнительно высших фаз социального развития*».

Эта крайне важная для Благосветлова мысль содержится в первом варианте «Домашней летописи» февральской книжки журнала за 1863 год, не пропущенном цензурой. Эта «Домашняя летопись» показывает, что задачу воспитания народа Благосветлов понимал не либерально-просветительски, но гораздо глубже, имея в виду социальное, гражданское развитие его. Время революционной ситуации шестидесятых годов и было, в представлении Благосветлова и других шестидесятников, той именно эпохой, когда недовольство реформой могло поднять народ до «высших фаз социального развития». Этого не произошло. Демократия ищет другие пути «социального развития» народа. Они никак не сводятся к просвещению и образованию, хотя «просвещение и грамотность, конечно, должны идти своим порядком».

Выход, на взгляд Благосветлова, в том, чтобы противопоставить усыпляющей самодержавно-крепостнической действительности силу революционно-демократических идей, не просто «просвещение», «грамотность» и «образованность», но именно такое знание, которое формировало бы революционных просветителей и воспитателей народа — «новых людей». Новые люди, пишет Благосветлов, «предъявляют больше уважения к убеждениям, резче отличают мнение противных лагерей, искренне любят свободу мысли и труда, меньше желают фраз и больше дела...» (1863, VII, 44–45).

Благосветлов указывает и на тот социальный слой, который, с его точки зрения, будет поставлять этих «новых людей», воспитанных силой «реальной»

революционной мысли, и который будет оказывать в результате умственное воздействие на крестьянство: «...Чтобы не ловить журавлей в небе и действовать более практически, — пока не изменится положение нашего крестьянства, — мы должны идти к его образованию другим путем, — сближением его с тем образованным классом, какой находится у нас. Пусть этот класс, имеющий возможность и время приобретать познания, расширяет свой круг, пусть купец, мещанин, городской ремесленник, одним словом, кто ближе соприкасается с народом, делается поумнее, чем мы видим их теперь. Через них пройдет знание в массу без всяких втискиваний и нравочений» (1863, 11–12, III, 51).

Иными словами, под «образованным классом» людей, который должен сделаться «поумнее» и нести знания в массы крестьянства, Благодетель понимает разночинцев. Именно их-то прежде всего и имел в виду редактор «Русского слова», когда ставил задачу воспитания «новых людей» как мыслительного фермента общества, как той реальной силы, которая сможет будить сознание общества, сознание масс. На них ориентировалось «Русское слово» в той целеустремленной и непрерывной работе по пропаганде естественнонаучных и социальных знаний, по расшатыванию устоев казенной идеологии и нравственности, по выработке «реального», «отрицательного», революционно-демократического мирозерцания, которую оно вело на всем протяжении своего существования.

Вот они, истоки той положительной программы действий, которую предложил журнал Благодетеля крестьянской демократии в условиях реакции и спада революционной волны. Эта-то программа, блистательно развитая и аргументированная Писаревым, и получила название теории «реализма». Суть ее — воспитание «мыслящих пролетариев» (Писарев) в горниле материалистических, социалистических и революционных идей. К ним обращал свою проповедь Писарев. К ним взывало каждой своей страницей «Русское слово», рассчитывая пробудить их мысль и гражданское чувство, возбудить потребность в передовых общественных убеждениях, превратить в «светильники» разума и прогресса. Каким образом? На этот вопрос Писарев отвечал так: «Надо смотреть на жизнь серьезно, надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбой каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: *надо думать*. В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества» (1864, 10, III, 48).

Учить людей думать ради выработки честных гражданских убеждений — таков конечный смысл всей просветительской деятельности благодетельского «Русского слова».

Демократические убеждения Благодетель, как и Писарев, считал высшей честностью — честностью политической. «Нет сомнения, что можно изменять мнения, вкусы, предположения и гипотезы, но нельзя изменять убеждения.

Убеждение захватывает всю нравственную жизнь человека, вытекает из всех его намерений, побуждений и действий; оно вырабатывается тяжелыми опытами действительной жизни и напряженной работой мысли; в него, как в общую сумму, сливаются все наши наблюдения, изыскания и идеи. Оно так же неразрывно с существованием его обладателя, как самая жизнь. Лишения, препятствия, гонения — ничто не может сломить или разочаровать его; напротив, всякое благоприятное обстоятельство возбуждает его силу и увеличивает энергию, и всякое препятствие закаляет его в собственном его достоинстве» (1863, 8, III, 11).

Являя собой блистательный пример безукоризненной верности убеждениям, Благосветлов ставил главной задачей журнала воспитание убежденных, сознательных борцов с самодержавием и крепостничеством. Надо сказать, что эта титаническая работа революционных публицистов шестидесятых годов дала свои плоды. Прошло несколько лет, и в начале семидесятых годов тысячи убежденных революционеров и социалистов из среды передовой молодежи ушли в народ. На допросах и судебных процессах они не скрывали глубинных истоков сих гражданских убеждений. «Современник», «Колокол», «Русское слово» дали толчок для большинства в их движении к революционному мирозерцанию, к народническим идеалам.

Жизнь показала, что осознанный курс на формирование поколения революционно мыслящих «отрицателей» и борцов, выдвинутый благосветловским журналом, был не таким уж наивным. Это была программа с далеко идущими и вполне реальными, перспективными целями. В этой связи руководитель «Русского слова» огромное значение придавал точным и продуманным направлениям в пропаганде, строгому отбору материала, который будил бы мысль и определенным, нужным образом формировал ее.

В своей работе по воспитанию «новых людей» Благосветлов исходил прежде всего из того, что «человеческий ум идет вперед... только посредством сомнения и отрицания», — ради утверждения гуманистических идеалов. На примере истории Франции он показывает, что пробуждение народного самосознания начинается борьбой с двумя главными врагами: с тиранией церкви и с тиранией политической системы. «С тех пор, как пробудилось в европейском обществе сомнение насчет этих двух авторитетов, открывается движение народов, с каждым столетием наносящее новые удары суеверию и деспотизму». В применении к русской жизни это и было отрицание существовавшего правопорядка, авторитарности церкви и самодержавно-крепостнического государства, охранительной идеологии и нравственности. В этом суть «нигилизма» «Русского слова», который не был отрицанием ради отрицания. Беспощадным и резким словом правды расшатывая духовные устои православия и самодержавия, внося дух сомнения и отрицания, журнал вырабатывал революционно-демократическое, подлинно гражданское мирозерцание.

В системе идей «нового человека» большое место должны были занять естественнонаучные знания. Они должны были помочь правильно осознавать социальные общественные взаимоотношения: «С феноменами природы тесно

связывается вся наша общественная жизнь, и потому понимание ее есть первая задача в нашем развитии. А из этого следует, что изучение естественных наук должно стоять на первом плане всякого общественного развития». Эта мысль Благосветлова была подхвачена и развита Писаревым и Зайцевым и воплощена на страницах «Русского слова» в десятках статей, пропагандировавших естественнонаучные знания в тесной связи с социальными задачами времени.

Выработка «нового», «реального» мирозерцания, начинавшаяся с отрицания «ветхих» авторитетов церкви и деспотизма, с постижения материалистических основ естественнонаучных знаний, продолжалась, в представлении Благосветлова, в горниле знаний социальных.

Исторические, социальные знания для руководителя «Русского слова» не самоцель, но средство нравственного воздействия на души людей. Исторические сюжеты, которые отбираются для статей журнала, всегда подчинены сверхзадаче: углубленному, революционно-демократическому осмыслению и пониманию современности.

Обращение к истории было для Благосветлова средством воспитания читателей в духе республиканских идеалов.

Исторической трагедией — задавленностью народа объясняет Благосветлов печальный результат: «полную инерцию» его, «беспечность о своем настоящем, без всякой оглядки на прошедшее и упований на будущее». Благосветлов дает точную и глубокую характеристику губельных для народа последствий деспотизма и отсутствия политических свобод.

«Неизбежным последствием централизации является бюрократия, которая тем более усиливается, чем выше цивилизация народа, — пишет он. — Бюрократическая паутина — это цепи политического рабства, общего для целой страны, связывающего одинаково всех: и правителей, и управляемых...»

Благосветлов был прежде всего политическим писателем, много сделавшим для воспитания свободолюбия и ненависти к деспотии. Однако позиция его в пору шестидесятых годов не исчерпывалась борьбой за политическую свободу, а развитая буржуазная демократия не являлась его конечным идеалом.

В статье «Политические предрассудки» он иронизировал над бездумными «приверженцами английской конституции, которая, разумеется, при всех ее несообразностях неизмеримо лучше японской (читай: русской. — Ф. К.) автократии», но которая не избавляет трудящиеся классы от эксплуатации и нищеты. Более того, Благосветлов понимает, что в конституционной Англии при всех ее политических свободах общественное мнение в итоге все равно «принадлежит одному господствующему сословию. Оно дает и направление всей стране». Благосветлов показывает ограниченность того, что мы сегодня назвали бы буржуазной демократией. Он ставит Англию в пример России как государство, политически более свободное, а одновременно критикует Англию за социальное неравенство. Это критика с позиций социалистических. Нет спору, утопический социализм Благосветлова не был столь органичным, последовательным и теоретически разработанным, как у Чернышевского или Герцена. Но тем не менее на всем протяжении существования журнала «Русское слово» Благосветлов неустанно пропагандирует социалистический

идеал. В своей статье о Роберте Оуэне Благосветлов защищает ассоциацию как будущую ячейку социализма. Он верит в благотворное будущее идеи Оуэна и спорит с так называемыми «либеральными людьми, которым кажется, что система Овена по сути своей никуда не годится», которые «провозгласили самого Овена честолюбивым мечтателем...». Несколько ранее, в июльской книжке «Русского слова» за 1863 год, Благосветлов целую «Домашнюю летопись» посвятил идее социализма и ассоциации труда. Он рассказывает здесь о первом опыте рабочих ассоциаций на Западе, о том, что дело это пока что идет медленно и трудно. «Но это нисколько не подрывает, — по утверждению Благосветлова, — истинности самого принципа».

Июльская «Домашняя летопись» за 1863 год свидетельствует, что Благосветлов разделял иллюзии европейских утопистов о возможности мирного, просветительского пути к социализму в условиях буржуазной республики. «Чтобы восстановить справедливость идеи труда, европейская цивилизация пока не видит других средств, кроме ассоциации, как мирного реформатора». Принцип ассоциации, пишет он, должен охватить впоследствии не только «все отрасли человеческой деятельности», но и «все сословия, теперь разбитые на враждебные группы». Благосветлов верит, что сила и убедительность идеи социализма способны «уничтожить антагонизм, попирающий современное общество». Как известно, и Писарев под влиянием идей европейских утопистов также допускал в 1863-1864 годах возможность «химического» пути, пути мирного перевоспитания эксплуататоров. Не исключено, что к этой мысли Писарев склонился не без влияния Благосветлова. Во всяком случае, Благосветлов высказал ее в журнале первым. Трансформировал ли он эту просветительскую, утопическую мысль на русское общество шестидесятых годов?

«Потребность в ассоциации всегда чувствовалась и в русском обществе. Она выражалась в разных формах, — то в общинном владении землею, то в рабочей артели, то в промышленных и торговых компаниях...» — пишет он в той же июльской «Домашней летописи» за 1863 год, но в отличие от Герцена и Чернышевского Благосветлов ориентируется не столько на спасительную крестьянскую общину, сколько на пропаганду идеи ассоциации, социалистических, «общинных» начал вообще. Его отношение к общине с достаточной определенностью выражено в «Домашней летописи» октябрьской книжки журнала за 1863 год: «В массе русского народа общинное начало уцелело в его первобытном состоянии, и если б оно осмыслилось более развитыми индивидуальными силами и более здравыми экономическими понятиями, то никакая внешняя сила, откуда бы она ни давила на народ, не могла бы уничтожить это начало. Проявления его, нет сомнения, всегда были слабы, или, лучше сказать, они всегда находились в пассивном отношении к историческому движению, но признаки его жизни остались доселе. И если б можно было на будущее время отстранить те посторонние влияния, которые мешают развитию общинного начала, то оно со временем удесятирило бы наши силы и разрешило бы множество теперь самых неразрешимых вопросов» (1863, 10, III, 50).

Если бы... Но, отчаявшись дожидаться революции, которая устранила бы «посторонние влияния», мешающие развитию общинного начала, Благодетель снимает вопрос об общине с повестки дня. Идею общины, объединяющей людей на основе интуитивного «артельного духа» русских крестьян, он заменяет идеей «промышленно-экономической ассоциации», в основе которой лежит высокая сознательность ее членов. В традициях западноевропейских утопистов Благодетель пишет: «Чтобы придать жизнь общинному началу, надо отбросить излишние взаимные антипатии, сойтись ближе людям, разъединенным историческими перегородами, узнать получше друг друга и примириться друг с другом. В этом отношении сближение с народом становится для нас не пустой фразой славянофилов и почвенников, а практическим делом» («Домашняя летопись», 1863, 10).

Нет ли противоречия между этими вот призывами к «примирению» и «сближению» друг с другом и мечтой Благодетеля о народной революции, его глубокой неудовлетворенностью «рабьим» чувством и покорностью народа? Для нас оно бесспорно. Для него, как ни странно, этого противоречия не было, потому что Благодетель чисто просветительски подразделял политическую и социальную сферы жизни народа. Не с самодержавием призывал здесь примириться Благодетель. Не либеральную конституцию имел он в виду, когда именовал идею социализма «мирным реформатором». Принцип ассоциации, идея социализма, по его мнению, могли реформировать социальную, экономическую жизнь страны, поднять ее благосостояние и народное самосознание, — а если это будет, то «что сможет помешать» развитому и экономически сильному народу завоевать и политическую свободу, сделаться «счастливым во всех отношениях»?

Особенностью позиции Благодетеля было то, что, сохраняя последовательный революционный демократизм в отношении принципов самодержавия и крепостничества, он разделял просветительские утопии европейских социалистов о возможностях классового мира в ассоциациях, где, перевоспитанные силой знания, эксплуататоры превратятся в руководителей народного труда. А следовательно, в противников самодержавия.

Эта наивная точка зрения была подробно развита Писаревым в «Реалистах», а чуть позже, в 1865 году, подвергнута им же язвительной, уничтожающей критике в работе «Исторические идеи Огюста Конта». Знаменательно, что и Благодетель в том же 1865 году в статье, посвященной Оуэну (1865, № 11), уже весьма критически относится к просветительским иллюзиям классика европейского утопического социализма. Как известно, Оуэн мечтал установить социализм путем убеждения и воспитания людей, причем «хотел из самих врагов сделать себе друзей и найти в них подспорье осуществлению реформы». Этот путь Благодетель считает теперь безнадежным. «...Та часть общества, в пользу которой он работал, не могла идти за ним, потому что не понимала его стремлений, а та часть, которая понимала его, но держалась обеими руками за свои милые предрассудки и привилегии, старалась задушить его идею рассчитанной клеветой или молчанием. И в этом все несчастье таких деятелей, как Оуэн». В противоречие со своими более ранними высказываниями

Благосветлов проводит в своей статье об Оуэне ту мысль, что для осуществления принципа ассоциации «одного убеждения мало, а нужно еще и дело, т.е. радикальная перестройка новых общественных условий». Одно нравственное воспитание, без изменения общественных порядков, ничего не изменит. «Наши доморощенные моралисты, — говорит Благосветлов, — ужасно любят трактовать о благодетельных последствиях нравственного воспитания», но они забывают, что «между условиями действительной жизни и тем, что мы называем нравственностью, существует самая неразрывная связь. Можно сколько угодно проповедовать о своих личных добродетелях, но в общем итоге они будут ни выше, ни ниже того уровня, на котором стоит весь общественный строй». Вот почему, будучи последовательным, Оуэн «должен был начать и окончить преобразованием самого общества, — его учреждений, условий жизни официальной и частной, одним словом, всего, что противоречило в английской нации образованию нового, социального характера».

Бесспорно, идейные искания Благосветлова в пору шестидесятых годов были противоречивыми. Как и Писарев, он отступал от форм классического революционного демократизма, далеко не во всем оставаясь на уровне Чернышевского, и в этой связи ему можно предъявить немало обвинений. Но наша задача — не обвинять, а исследовать. Трудность идейных поисков Благосветлова и его журнала во второй половине шестидесятых годов объяснялась прежде всего трудностями времени, изменением исторической обстановки, потребовавшими изменения стратегии и тактики освободительной борьбы. Началась полоса идейных исканий и даже метаний, полоса ожесточенных, споров и дискуссий о путях освобождения страны.

Новый курс на длительную подготовку страны к коренным преобразованиям выработывался в муках, в борьбе и спорах — вспомним знаменитый «раскол в нигилистах». Эта горячая, неумемная полемика «Современника» и «Русского слова», начавшаяся в 1864 году и доставившая так много удовольствия реакционному лагерю, была вызвана все той же объективной потребностью поиска новых путей освободительного движения в условиях, когда массы спят. Если деятели «Современника», в частности Антонович, пытались догматически хранить старые предания, Писарев и Благосветлов выносили на общественное обсуждение новые идеи, новые методы освободительной борьбы.

Вдумайтесь в этой связи в такие примечательные слова Благосветлова, высказанные им в апрельской книжке «Русского слова» за 1863 год: «... Героизм, лишенный практического результата, есть парадное донкихотство, смешное даже в своей грандиозности. Если нельзя получить всего, то следует ли отказываться от того, что можно получить; если обходятся с нами жестоко, то из этого не следует, что надо сложить руки и на все смотреть равнодушно. Когда попадают в болото, то делать нечего — надо плыть по грязи, а не тонуть ради того, что можно испачкаться этой грязью. Счастлив тот, кто не попал в болото и выбрал себе иной путь, но уже если попал, то надо во что бы то ни стало выбираться из него» (1863, 4, III, 5).

В этих горьких словах содержится вызов. Думается, что в запальчивости этих строк, в запальчивости полемических боев второй половины шестидесятых годов слышны отзвуки не только внутренних раздумий, но и тех разногласий, которые наметились в новой исторической обстановке в революционном движении.

Длительный курс на социальное, гражданское воспитание народа, выдвинутый журналом Благосветлова и Писарева, был принят далеко не всеми революционно настроенными современниками. Многих не устраивала отдаленность революционной перспективы, дальность, и трудность пути. Иные видели в этой программе даже чуть ли не предательство революционного дела — намечалась коллизия, предвосхищавшая споры между «лавристами» и «бакунистами» в пору семидесятых годов.

И что примечательно: водораздел этот прошел через самую редакцию «Русского слова».

Принято считать, что причиной раскола в редакции «Русского слова» в конце 1865 года, завершившегося уходом из редакции Соколова и Зайцева, были разногласия экономические. В известной мере это так. О требовании Соколова и Зайцева произвести экономическую реформу в ведении журнала, которое они предъявили Благосветлову, я расскажу в очерке о Н. В. Соколове. И все-таки конечные причины разрыва гораздо глубже. Это было столкновение революционного радикализма Зайцева и Соколова с куда более осторожным и осмотрительным революционным просветительством Благосветлова. Тенденции развития Благосветлова, с одной стороны, Зайцева и Соколова — с другой были взаимно противоположны. Если Соколов и Зайцев в начале семидесятых годов в известной степени пришли к бакунизму (не разделяя многих теоретических постулатов Бакунина, они были полностью солидарны с ним в нетерпеливой жажде революции, в революционном азарте), то Благосветлов с конца шестидесятых годов становился все осторожнее. Нет, это не было отступлением от принципов демократии. Цели оставались прежними. Но глубокое разочарование в революционных возможностях крестьянства заставляло Благосветлова держать курс на длительное, глубинное социальное воспитание масс. Для Зайцева и особенно Соколова это было недостаточным. Собственно, конфликт в редакции «Русского слова» и начался с того, что и Зайцев и Соколов потребовали себе в журнале большей идейной самостоятельности. Зайцев и Соколов потребовали от Благосветлова учредить официального редактора на каждый из трех отделов журнала. Благосветлову предполагалось поручить редакцию «Внутреннего обозрения», Благовещенскому — беллетристику, Зайцеву — «Литературное обозрение». Зайцев даже редактировал в течение двух месяцев (сентября — октября) этот отдел «Русского слова». Однако официального утверждения на пост редактора, несмотря на ходатайство Благосветлова, Зайцев не получил. Тогда Зайцев предложил взамен себя на должность редактора критического отдела Н. Соколова. Благосветлов, зная неумный характер последнего, не принял этого предложения. Это-то и явилось конечной причиной разрыва Соколова и Зайцева с «Русским словом».



Но уход Зайцева и Соколова из журнала ни в коей мере не означал, что его издатель изменил своим прежним идеалам. Осторожный и внешне спокойный облик «Русского слова» в последние месяцы его издания не имел ничего общего с изменой демократическим убеждениями. Напротив, именно в это последнее время на страницах «Русского слова» публикуются такие последовательно революционные статьи, как «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») Писарева или «Рабочие ассоциации» Шелгунова, наконец, статья Благодетлова об Оуэне, а на смену В. Зайцеву приходит ничуть не менее революционно настроенный П. Ткачев.

Осторожность Благодетлова объяснялась еще и небывало трудными цензурными условиями, в которых оказался журнал в конце 1865 года. Эти трудные условия были вызваны новым постановлением о цензуре, так называемым «Законом 6 апреля», по которому цензура предварительная заменялась цензурой карательной. Министру внутренних дел предоставлялось теперь право при нарушении изданием цензурных ограничений выносить журналу три предостережения, приостанавливая издание вместе с третьим предостережением на срок до шести месяцев.

«Новое постановление о печати произвело в редакции «Русского слова» революцию», — сообщал Шелгунов жене в октябре 1865 года. Дело в том, что это постановление заставило Благодетлова проявлять максимум осторожности. Подтверждением тому, что дело обстояло именно так, может служить ссылка Шелгунова на письмо Благодетлова от 7 сентября, в котором последний «заявлял боязнь сидеть в тюрьме по милости сотрудников, которые вместо дела раздражаются трескотнёю фраз». И надо сказать, осторожность Благодетлова имела достаточные к тому основания.

Сразу после введения в силу этого закона за октябрьскую книжку 1865 года журнал получил первое предостережение, за ноябрьскую — второе, за декабрьскую — третье с одновременным приостановлением журнала на пять месяцев.

Это временное приостановление было концом журнала. В апреле 1866 года прозвучал выстрел Каракозова в Александра II, после чего Благодетлов, Зайцев, Соколов были брошены в крепость, а журналы «Современник» и «Русское слово» закрыты навсегда.

### **НОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ТРИБУНА**

Борьба Благодетлова за новую печатную трибуну началась сразу после того, как стало ясно, что дни «Русского слова» сочтены.

Прежде всего он решает организовать на базе типографии «Русского слова» издательство и книжную лавку для распространения литературы определенного направления.

Книжные давки и издательства, а также книжные читальни, создаваемые, как правило, демократически настроенными людьми, в условиях шестидесятых годов росли как грибы. Революционеры шли туда, чтобы распространять демократическую литературу.

Недаром вскоре после каракозовского выстрела тайная полиция особо отмечала тот факт, что ею были «обнаружены в столицах некоторые отдельные

тайные деятели, которые под ширмою литературных занятий были руководителями разных социалистических изданий, переводов, учебников для народа и иных книг в видах распространения социалистического учения. Они также были участниками в составлении разных обществ, читален, артелей, бесплатных школ и иных учреждений, имевших цель под видом благотворения соединять и направлять в социалистическом и противоуправительственном направлении мысли молодого поколения».

Редакция «Русского слова» решает открыть книжную лавку осенью 1865 года, когда стало очевидным, насколько опасен для передовой журналистики «Закон 6 апреля». Однако это намерение немедленно встретило самое жестокое сопротивление со стороны властей.

Как только в газете «Голос» было объявлено об открытии при главной конторе «Русского слова» книжного магазина, инспектору за типографиями из министерства внутренних дел полетел следующий запрос: «На основании какого разрешения открыты вышеозначенный книжный магазин и главная контора?»

Разбор дела показал, что магазина самого еще нет, а идет лишь подготовка к открытию его и что разрешение о том редакция будет испрашивать в скором будущем. Благодетель решил просить разрешения на открытие книжного магазина через подставное лицо — сотрудника «Русского слова» Стахеева. И после двухмесячной волокиты получил отрицательный ответ. В конфиденциальном письме министра внутренних дел Валуева по этому поводу, адресованном петербургскому генерал-губернатору, говорилось: «...Характер изданий, принадлежащий самой редакции «Русского слова», нельзя признать благонамеренным, и притом, в случае продолжения этим журналом неодобрительного направления и закрытия его, было бы неудобно предоставлять распространение напечатанных в оном статей отдельными изданиями через книжный магазин, открываемый с этой целью».

Каково же было удивление Валуева, когда в № 61 «Московских ведомостей» в марте 1866 года было опубликовано объявление о том, что «на днях выйдет и поступит в продажу «Луч» и что подписка на него «принимается при книжном магазине главной конторы «Русского слова». Старшему инспектору типографий и книжной торговли генерал-майору Чебыкину было поручено немедленно расследовать обстоятельства, при которых этот магазин все-таки начал функционировать. В результате обнаружилось, что, после того как в открытии магазина Стахееву было отказано, Благодетель подобрал для этой цели другое лицо — некоего Зубовского, по ходатайству которого петербургский генерал-губернатор Суворов и разрешил открыть магазин, не поставив об этом в известность Валуева. Валуев тут же направляет Суворову раздраженное протестующее письмо и через Главное управление по делам печати добивается закрытия магазина при конторе «Русского слова». Для этого был выбран простой и верный путь. Коль скоро закрыть магазин на законном основании было трудно, его подставной владелец Зубовский был намеренно выставлен перед непосредственным начальством человеком неблагонадежным. О результатах этой акции член Главного управления по делам печати Фукс

немедленно доложил Валуге: «Содержатель книжного магазина при конторе «Русского слова» Зубовский, убоившись, вероятно, неприятных для себя последствий по собранным сведениям о неправильности его показаний насчет отлучек из СПб., равно о связи его заведения... с конторою редакции, а может быть, и по настоянию своего начальства (он показался старшим делопроизводителем здешнего губернского правления), подал сегодня заявление старшему инспектору о прекращении открытой им торговли книгами...

Таким образом, этот магазин согласно видам администрации закрывается сам собою, без каких-либо экстра-легальных мер... Затем, от личного благоусмотрения Вашего превосходительства зависит обратить внимание надлежащего начальства на Зубовского, открывшего книжную торговлю без ведома и разрешения» Виза Валуге: «Г. Зубовскому вице-губернатором приказано подать в отставку, что им исполнено. Прошу мне разъяснить... — отчего так долго искали Зубовского».

Для того чтобы стал более понятен страх старшего делопроизводителя губернского правления Зубовского, который в мае 1866 года сам подал заявление о прекращении торговли книгами и тем не менее был «отставлен», напомним, что апрель — май 1866 года были месяцами террора, начавшегося после выстрела Каракозова. 14 апреля 1866 года был арестован Благосветлов, 28 апреля — Зайцев. 3 июня 1866 года были запрещены правительством «Современник», а также и не возобновившийся с января 1866 года журнал «Русское слово».

И тем не менее в этих отчаянных для демократии условиях Благосветлов продолжает борьбу за печатную трибуну, добиваясь через Ю. Луканина возобновления книгоиздательства.

Параллельно Благосветлов ведет с царской цензурой и III отделением еще одну опасную игру. После приостановления журнала в январе 1866 года на пять месяцев он решает обойти постановление правительства и выдать подписчикам эти запрещенные четыре номера «Русского слова» иным, обходным путем.

Мало кому известно, что подготовленные к печати в первой половине 1866 года редакцией «Русского слова» два тома сборника «Луч» не что иное, как сдвоенные номера «Русского слова», только под другим названием. А между тем редакция умудрилась даже сообщить через «С.-Петербургские ведомости», что сборник «Луч» для подписчиков «Русского слова» выделяется «бесплатно, взамен приостановленных книжек журнала». Таким образом, от карательной меры правительства, приостановившего журнал, серьезно не страдали ни редакция, ни подписчики. Но, к сожалению, газету «С.-Петербургские ведомости» читали не только подписчики «Русского слова».

Первый том сборника «Луч» был представлен в цензуру 22 марта 1866 года. В тот же день четверем цензорам было поручено просмотреть эту книгу и на другой же день, 23 марта, на заседании комитета доложить свое мнение. Каждый из цензоров в результате анализа материалов констатировал, что «статьи не представляют прямого повода к судебному преследованию книги», что «они не могут дать суду достаточных поводов к обвинению», но все

цензоры сходились в одном: «Луч» — это не что иное, как очередная книжка журнала «Русское слово». Цензор Еленев так прямо и писал: «...Во всех... статьях есть отдельные места и выражения, представляющие довольно крупные черты того направления, которым всегда отличался журнал «Русское слово», временно преобразованный теперь в сборник «Луч».

Председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета А. Петров направил в Главное управление по делам печати подробную докладную записку, обобщавшую доклады цензоров, в которой указывалось, что направление и характер сборника полностью тождественны приостановленному журналу «Русское слово».

Усматривая, таким образом, что изданием сборника «Луч» редакция «Русского слова» желает «продлить непрерывный выход приостановленного журнала и обойти таким образом распоряжение г. министра внутренних дел», комитет предлагал приостановить выпуск издания и привлечь издателей к суду.

Оказалось, однако, что по цензурным законам оснований для судебного преследования «Луча» нет, хотя и было ясно, что это лишь приостановленное «Русское слово», только под другой обложкой. Министр внутренних дел был вынужден срочно войти в правительство с предложением, запрещающим выдавать подписчикам «бесплатно или по особой публикации во все время приостановления какие-либо отдельные сочинения, переводы или сборники».

А тем временем подписчики «Русского слова» получили беспрепятственно первый том «Луча».

В июне 1866 года, уже после окончательного запрещения «Русского слова», в типографии журнала было отпечатано 3500 экземпляров второго тома сборника «Луч»; тут уж цензура возбудила судебное дело против издателя «Луча» (таковым был сотрудник запрещенного «Русского слова» П. Н. Ткачев).

Но органы юстиции по-прежнему не были уверены в успехе дела. Трудность заключалась в том, что не только первый, но и второй том «Луча» был отпечатан до того, как Государственный совет принял предложенную Валуевым поправку к «Закону 6 апреля». Между учреждениями министерства внутренних дел и министерства юстиции завязалась по этому поводу деятельная бюрократическая переписка, которая продолжалась ряд лет.

Лишь 26 октября 1874 года, то есть почти восемь лет спустя после того, как тираж «Луча» был отпечатан, на основании изменений в «Законе 6 апреля» комитет министров постановил: выпуск в свет данного издания «запретить», само издание уничтожить. Однако уничтожить практически было уже нечего. Арестованное издание еще в 1870 году пришло в совершенно негодный вид. По свидетельству старшего инспектора типографий, которому было поручено проверить, живо ли это издание, сборник «Луч» хранился в «наполовину развалившемся чулане, задняя стена с большими просветами; крыша над чуланом, когда-то покрытая толем, образовала сквозной пролом, так что дождик и снег имели значительный доступ». Тюки с изданием были «наполовину развалившиеся вследствие гнилости».

Итак, цензура победила? Ей удалось лишить трибуны коллектив публицистов, сплотившихся вокруг «Русского слова»? Ничего подобного!

Уже в середине июля 1866 года, полтора месяца спустя после закрытия «Русского слова», когда цензурные осложнения со вторым томом «Луча» только-только начинались, Г. Благосветлов и П. Ткачев поместили в газете «С.-Петербургские ведомости» (№ 195) объявление, в котором говорилось, что «второй том «Луча» по непредвиденным обстоятельствам не может быть выдан впредь до устранения этих непредвиденных обстоятельств. Что же касается до удовлетворения подписчиков «Русского слова» за последние шесть книжек, то по соглашению с редакцией нового журнала «Дело» подписчики получают в этом году шесть книжек этого журнала».

Таков один из удивительнейших эпизодов в истории русской журналистики: в условиях жесточайшей реакции и террора после каракозовского выстрела, потеряв «Русское слово», потерпев поражение с книжной лавкой и изданием сборника «Луч», Благосветлов находит возможность возродить «Русское слово» под новой обложкой, под новым названием — правда, в условиях пристрастной предварительной цензуры. И это не счастливая случайность, но трезвый, строгий и последовательный план действий, изобретательная и упорная борьба.

Новый план сохранения печатной трибуны содержится в письме Благосветлова Шелгунову, которое он послал ему в Тотьму в январе 1866 года, сразу после второго предостережения журналу: «Вот что надо делать: выбрать другое заглавие для такого же журнала, как и «Русское слово», и продолжать его издание при тех же сотрудниках и подписчиках».

А вот и реализация плана: 16 февраля 1866 года журналу «Русское слово» было объявлено третье предостережение с приостановлением его на пять месяцев; 17 февраля, то есть на следующий день, в Главное управление по делам печати направляется прошение штабс-капитана Шульгина об «издании нового учено-литературного журнала» под названием «Дело».

И в выборе названия («Дело» — название, казалось бы, совершенно нейтральное и вместе с тем наполненное очень многозначительным для шестидесятников смыслом), и в подчеркнуто «учено-литературном» направлении его, и в подставной фигуре издателя, чья репутация для цензуры и III отделения была не запятнана, ощущается точный расчет Благосветлова. Этот расчет оправдал себя: в мае 1866 года, за десять дней до окончательного закрытия «Русского слова», издание «Дела» было разрешено.

Благосветлов к этому времени уже второй месяц томился в отдельном каземате Екатерининской куртины, куда был заточен по распоряжению графа Муравьева, возглавлявшего высочайше утвержденную следственную комиссию, которая расследовала обстоятельства покушения Каракозова на Александра II. Заточен без какой бы то ни было доказанной вины, только лишь на основании того, что возглавлял «противоправительственное» «Русское слово». По мнению Муравьева, именно в среде людей, находившихся под влиянием «Русского слова» и «Современника», зрела идея цареубийства». Летом 1866 года за неимением улик Благосветлов был освобожден.

«Николай Васильевич, вчера меня выпустили из крепости на свободу, — писал он 7 июня в вологодскую ссылку Н. В. Шелгунову. — Я часто вспоминал

Вас, потому что сидел в той же яме, в которой сидели и Вы. Говорят, что всех арестованных 240 человек, из них почти все будут освобождены, но кто с аневризмом, кто с дрожанием рук, а некоторые и совершенными калеками. Только самые здоровые организмы уцелевают от влияния одиночного застенка.

«Русское слово» запрещено безусловно. Это Вы, конечно, уже знаете из газет. Литература еле дышит, благодаря тому обстоятельству, что у нас во всем оказывается виноватой она, — бедная и беззащитная Магдалина. Грустно, тяжело, и я хотел бы быть все это время вместе с Вами. Через неделю извещу Вас подробно, как устроится наше общее положение. Работать надо, потому что жить надо, а жить и работать почти не дают возможности. Но человек изобретателен, когда его очень притесняют, а потому я и думаю, что «Русское слово» воскреснет в другой форме».

Да, и после такого сурового испытания, в дни, когда весь Петербург, по собственной характеристике Благосветлова в том же письме, «перепуган, как после землетрясения», руководитель задушенного «Русского слова» не теряет оптимизма, ни на йоту не отступает от намерения во что бы то ни стало продолжать борьбу. Письмо это, задержанное Никольским уездным исправником, еде отбывал ссылку Шелгунов, тут же оказывается в III отделении и, заставляя чиновников политического сыска обратить самое пристальное внимание на намерения Благосветлова.

В первую же неделю после выхода из крепости Благосветлов публикует объявление о выдаче подписчикам запрещенного «Русского слова» шести книжек журнала «Дело». «Вышеизложенные обстоятельства, — констатировало III отделение, — указывают на соглашение или, лучше сказать, стачку прежних редакторов «Русского слова» с редакцией имеющего появиться с 1 сентября настоящего года журнала «Дело». Этот факт приводит также к тому заключению, что выраженная Благосветловым в письме к Шелгунову надежда, что «Русское слово» возникнет в том или другом виде, не была лишена основания. Напротив, вторичная попытка Благосветлова заменить «Русское слово» другим журналом и восстановление его имени в публикации показывают, что Благосветлов не отказался от своей литературной деятельности, которую намерен продолжать, следуя прежнему направлению». На документе красноречивая виза: «Переговорить. Кажется, что нам следует просить министра не допускать издания журнала «Дело». И еще одна виза — со ссылкой па министра внутренних дел: «Надлежит заготовить отзыв в Цензурное управление согласно справке». Что означали эти визы? Только одно: поскольку запретить сразу же только что разрешенный журнал было невозможно, III отделение, считавшее «неудобным издание этого журнала», давало распоряжение цензурному ведомству задушить журнал цензурным путем.

Начальник Главного управления по делам печати М. П. Щербина немедленно, еще до выхода первого номера «Дела», сообщал в министерство внутренних дел Мезенцеву о том, что в отличие от остальных журналов «Дело» оставлено под предварительной цензурой, и дал распоряжение Цензурному комитету следить за журналом Благосветлова «с особой строгостью, чтобы

принудить его к добровольному закрытию». В итоге из 48 печатных листов первого номера «Дела» цензура запретила 22.

Начался период, «самый трудный в жизни Благосветлова, а по некоторым последствиям даже роковой». Таково свидетельство Шелгунова, который опубликовал многие письма Благосветлова, относящиеся к этому времени (письма 1864–1866 годов он сжег после 4 апреля 1866 года). В одном из писем Благосветлов сравнивает себя с матросом, «выброшенным в открытое море после крушения корабля». «Вода течет, лодка опускается ко дну, и мне, — пишет Благосветлов, — приходится в одно и то же время затыкать дыру и выливать воду. Эта аллегория переводится на простой язык так: мне закрыли журнал, велели закрыть книжный магазин и передать типографию лицу благонадежному...» «Поверите ли, — говорит далее Благосветлов, — что я на свободе чувствую себя не лучше крепости. Скверные нервы не дают ни минуты покоя, потому что каждый день несет новые тяжелые впечатления. Удивляешься, что за каменная природа человек; кажется, давно пора бы лопнуть хилому механизму жизни, ан нет — он стоит и жаждет не покоя, а деятельности. Но деятельность-то становится не под силу; уж слишком много навалилось хлопот и неприятностей». Эти сетования не были проявлением слабости Благосветлова. Его положение и в самом деле было чрезвычайно трудным. Он был предупрежден, что «Дело» может отправиться по следам «Русского слова» в вечность. «Это было сказано не в виде угрозы, — писал он Шелгунову, — а факта, который нужно отвести всевозможными усилиями; все это, разумеется, достается кровью всем нам, но что же делать?»

Цензурные гонения были столь беспощадны, что иногда, казалось бы, у Благосветлова совсем опускались руки, но он упорно не бросал журнала. «Должен вам откровенно сказать, — писал он Шелгунову, — что я устал до истощения сил; чувствую, что еще хватит головы и энергии, чтобы бороться, но что это за борьба?... Борьба глухая и пассивная, вы не видите ни врага, ни оружия... жизнь уходит на мелкие состязания, а результата никакого...» И в том же письме он продолжает, что бросить «Дело» нельзя, но что нужно искать средства «идти не лбом против стены», он советует «удалиться пока в тихую область истории и естественных наук, а политических и экономических вопросов пока не трогать. Полунамеки и намеки не по силам нашей публике, и потому все, что посерьезнее, должно быть припрятано на черный день... Вот мое мнение, почерпнутое из 22 листов совершенно запрещенных для первой книжки «Дела».

Предприятие Благосветлова, который, обманув цензуру и III отделение, выпускал журнал, не имея на этот раз не только редакторских, но и издательских прав, было попросту опасным. Он знал это и пытался даже всячески маскировать свое участие в «Деле». Благосветлову было известно, что III отделение вновь намеревается выслать его из Петербурга. Он писал об этом не только Шелгунову, но и заграничному корреспонденту журнала, участнику Польского восстания, эмигранту П. И. Якоби: «По выходе первой книжки «Дела» на журнал посыпались со всех сторон доносы, именные и безымянные. Министр народного просвещения гр. Толстой, такой идиот, каких даже у нас

мало, донес по начальству, что «Дело» то же «Русское слово», только под другой оберткой, что Благосветлов участвует в нем. Этого было достаточно для того, чтобы дать повод душить журнал безобразнейшим образом. Началось следствие, действительно ли я участвую, начали обыскивать типографии, стали перебирать рукописи, меня хотели выслать из города и дали цензуре особенное предписание давить журнал. Началась пытка: из 40 набранных листов пропускают какие-то обрывки на 6 листах, все прочее запрещают. Редактор Шульгин жалуется министру, — министр усиливает строгости. Шульгин просит выпустить его из-под цензуры, — не дозволяют. Шульгин хочет жаловаться царю, — к царю не допускают. А между тем «Дело» стоит, сотрудники стоят; каждый день несутся денежные убытки... В таком положении я находился до нынешнего дня. Только сегодня я получил некоторую уверенность, что журнал пойдет и что облегчат его ход. Поэтому и могу ответить вам на вопрос: что и как писать? Пока давящая сила правительства не ослабнет, пишите серьезные статьи по естественным наукам. Но только не касайтесь религии. Пока это строго запретный плод... При первой возможности «Дело» выйдет из-под цензуры, но теперь не выпускают».

Письмо это помечено 14 ноября 1866 года. А вот что в это же время, в конце ноября, писал он Шелгунову: «Вот уже пятнадцатую ночь, как я не сплю нормальным человеческим сном: забудусь и проснусь. Напряжение нервов доходит до изумительной тонкости... Думается много, ужасно много, но эти тяжелые мысли, как бесплодный груз, ложатся камнем на мозг и на всю нервную механику. И за всем тем, это состояние нельзя назвать болезненным. Энергия и силы чувствуются в здоровом состоянии. Но об этом не стоило бы и говорить, если бы это было только мое личное настроение. Нет, я вижу и других в таком же положении. Я убежден, что это общий органический перелом эпохи, более или менее отражающийся на всем чувствующем... Дряблые натурашки впадают обыкновенно в мистицизм в такие эпохи; сильные натуры или ломаются пополам, или делают добрые и честные дела...»

Благосветлов принадлежал к сильным натурам. И хотя условия его работы были ужасными, хотя правительство, «несмотря на все просьбы и ходатайства, не выпускало журнал из-под предварительной цензуры и не давало ему вздохнуть спокойно, Благосветлов продолжал вести журнал по избранному им пути.

«Человек этот — сильной воли и твердого характера. Как ни жмет и ни теснит его Главное управление по делам печати, он все-таки держится твердо и не отступает от предвзятых им целей и стремлений», — говорилось в очередной записке III отделения в январе 1867 года и вновь предлагалось: «Так как в близком будущем грозит ч(Делу) запрещение, то было бы гуманнее прекратить существование этого журнала ныне же и тем лишить партию, вступившую в борьбу с правительственными воззрениями, возможности распространять свое учение, уже признанное вредным, в особенности для быстро увлекающегося юношества».

И тем не менее журнал продолжал выходить, причем в нем участвуют «лучшие наши силы после крушения двух журналов, — пишет Благосветлов



литератору Г. П. Данилевскому. — Тут все работают — Писарев, Елисеев, Шелгунов, Щапов, Якоби и пр. Жалко только, что все лучшие и честные представители нашей мысли должны скрывать свои имена под спудом, облекаться в разные маскарадные платья и под псевдонимами давать себя чувствовать публике. Но эти потемки пройдут, и наступит свет...».

Благосветлов мыслил журнал «Дело» как идейное и духовное продолжение «Русского слова» — как мы видим, так же расценивала «Дело» и цензура. Так оно и было, в значительной степени прежде всего по кругу сотрудников, в «Деле» продолжали писать П. Н. Ткачев, Д. Д. Минаев, А. Шеллер-Михайлов, А. Ф. Бажин, Эли Реклю и др. Уже первый номер журнала, хотя он прошел сквозь беспощадную, невиданно трудную цензуру, открыто декларировал эту преемственность: здесь было помещено продолжение повести Шеллера-Михайлова «Засоренные дороги», начало которой было напечатано в «Русском слове», в последней книжке его, за которую журналу было объявлено роковое третье предостережение. Весь дух номера подспудно выявлял все то же демократическое, «отрицательное» направление, за которое было закрыто «Русское слово». Статья Шелгунова «Убытки земледельческой России» продолжала одну из коренных тем «Русского слова» — тему крайней отсталости страны, бедственного положения ее земледельческого населения, что ни в малой степени не изменила политика правительственных реформ. Эта мысль развернута в программной для журнала статье Благосветлова «Ирландия», где на примере отсталой Ирландии он показывает, что, никакие полумеры не в состоянии изменить бедственного положения народа. Выход один: «Переход земель от мелкой и крупной сквайрократии (т. е. дворянства) в руки самих земледельцев есть первый шаг к благосостоянию страны».

Рассмотрев материалы первого номера «Дела», Главное управление по делам печати пришло к выводу, что «в запрещенных комитетом статьях и местах из статей... проводится с тою же настойчивостью, как в запрещенном журнале «Русское слово», то направление, за которое были объявлены этому последнему предостережения, именно: идеи крайнего социализма, сопоставление неимущих классов с имущественными, недовольство современным устройством нашего общества...».

Это направление, при невероятной трудности цензурных условий, Благосветлов стремится проводить на всем продолжении существования журнала.

Занятый редакторскими хлопотами и непрерывной тяжбой с цензурой, вдобавок тяжело больной, Благосветлов крайне редко выступает в журнале «Дело» сам. Его главная задача — сплотить круг демократически настроенных сотрудников, обеспечить им наиболее благоприятные условия публицистической деятельности. Его титаническая борьба с цензурой, строгая выдержанность демократического направления «Дела» опять-таки опровергают привычное представление, будто он рассматривал журнал как источник личного обогащения. Следует верить Ткачеву, который с конца 1865 года стал одним из ближайших сотрудников Благосветлова и который писал в связи с выходом нового журнала, призванного заменить «Русское слово»: «На

проектированный журнал он смотрел не как на свое личное дело, а как на дело *общественное*, на дело, от успеха или неуспеха которого зависит «быть или не быть» у нас честной журналистике».

В мае 1867 года случился тягостный для Благосветлова разрыв «Дела» с Писаревым. Напечатав в «Деле» ряд статей, и в частности такие, как «Образованная толпа» и «Борьба за жизнь», Писарев ушел в некрасовские «Отечественные записки». Ушел, обидевшись на Благосветлова за Марко Вовчок, которую полюбил, когда вышел из крепости: Благосветлов без ее ведома выставил имя писательницы в числе авторов «Дела». Это был только повод, причины разрыва Писарева с Благосветловым были более глубокие — о них речь пойдет ниже. Уход Писарева был тяжелым ударом для «Дела», но не изменил демократического направления его. Ведущими публицистами «Дела» становятся такие люди, как Шелгунов, Ткачев, а несколько позже Берви-Флеровский и Лавров, чья революционно-демократическая настроенность не вызывает сомнений. На всем протяжении существования «Дела» редакция последовательно привлекает к сотрудничеству революционеров-эмигрантов. Помимо уехавших в эмиграцию Ткачева и Лаврова, в «Деле» сотрудничают П. Якоби, Л. Мечников, позже С. Степняк-Кравчинский, Л. Тихомиров, Н. Русанов и др. Как и «Русское слово», «Дело» создавалось в основном трудом тех, кто за свою революционную деятельность находился в ссылке или пребывал в эмиграции.

Главная задача, которую ставили перед собой публицисты журнала, — рассказывать правду о тяжелой жизни народа в пореформенной, «освобожденной» России.

Картины бедственного положений крестьянства содержатся прежде всего в статьях Шелгунова, отлично изучившего за долгие годы ссылки провинциальную Россию. Выступления Шелгунова, которые печатались в «Деле» из номера в номер, дополнялись статьями П. Ткачева, который долгое время вел в «Деле» отдел «Новые книги» и опубликовал немало серьезных публицистических работ, в частности серию статей «Производительные силы России». По свидетельству цензуры, в этих статьях «автор поставил себе целью доказать, что все рабочее сословие России голодает круглый год (именно: на каждого работника приходится в день, по соображениям автора, менее 1 ф. хлеба) и что вследствие столь скудного питания смертность в России так велика, что может быть только сравнена со смертностью в тюрьмах и на галерах».

Заслугой Благосветлова было то, что он предоставил самую широкую трибуну такому до сих пор недооцененному публицисту-революционеру, как Берви-Флеровский. В «Деле» были опубликованы многие главы его знаменитой книги «Положение рабочего класса в России». Той самой книги, о которой К. Маркс писал членам Комитета Русской секции I Интернационала: «Это — настоящее открытие для Европы... Это — труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного художника и, прежде всего, человека, возмущенного против гнета во всех его видах... Такие

труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России...»

Публицисты «Дела» не делали разницы между крестьянством и рабочим классом — это был в их представлении единый трудящийся и угнетенный, обездоленный люд. Вместе с тем особенностью «Дела», отличающей его от «Русского слова», является пристальное внимание к жизни рабочих, фабричных масс. Этот интерес определялся новыми процессами жизни, бурным развитием капиталистических отношений в пореформенной России. Развитие промышленности само по себе не пугало публицистов «Дела». Напротив, они видели в этом прогресс в сравнении с запустением крепостничества. В статье «Ирландия» Благосветлов писал: «Что бы ни говорили защитники исключительного земледелия, но ни одна цивилизованная или желающая быть цивилизованной страна не может обойтись без мануфактуры и заводской промышленности». Тот же комплекс идей в статьях «Убытки земледельческой России», «В земледелии ли наша сила?», «Переходный момент нашей промышленности» и других проводил Шелгунов. «Не потому ли мы и бедны, что исключительно занимаемся земледелием?» — спрашивал он.

Вместе с тем публицисты «Дела» отдавали отчет в односторонности капиталистического прогресса, в том, что развитие промышленности на буржуазной основе означает продолжение эксплуатации народа. Вот почему они последовательно публикуют материалы о тяжелом положении и борьбе европейских трудящихся масс. Журнал рассказывает читателям о рабочих организациях и забастовках на Западе, о деятельности I Интернационала, о Парижской коммуне. «Теперешняя борьба Парижа с версальским правительством есть, в сущности, борьба с буржуазией» (1871, VI, 54), — утверждал журнал»

В статье Шеллера-Михайлова «Рабочие ассоциации» в . апрельском номере за 1871 год «Дело» познакомило читателей с «Капиталом» Маркса. Это не значит, конечно, что публицисты журнала поднялись до осознания марксизма, — они стояли на позициях утопического социализма. В статьях Шелгунова, Берви-Флеровского и других мы встречаем немало высказываний, свидетельствующих о том, что публицисты «Дела» в русле традиций шестидесятых годов продолжают уповать на социалистический путь развития страны.

Какова же была положительная программа «Дела»?

В самых общих чертах она ясна: республика и социализм. В 1870 году, когда пришло сообщение о свержении второй империи во Франции, во всю ширину последней чистой страницы восьмого номера «Дела» крупным шрифтом, как лозунг, было напечатано: «*Во Франции провозглашена Республика*». Комментария не требовалось.

Журнал «Дело» свято хранил верность демократическим идеалам шестидесятых годов. В этом была его сила. И тем не менее «Дело» так и не стало вторым «Русским словом», как ни мечтал об этом Благосветлов. В авторитете и влиянии на современников, в яркости и публицистическом блеске оно заметно отставало не только от «Русского слова» шестидесятых годов, но и

от некрасовских «Отечественных записок». Причина тому — в особых цензурных трудностях, а также в том, что журнал в самом начале своего возникновения лишился Писарева, чьи блистательные статьи составляли душу «Русского слова». Но не только в этом. Ведь и уход Писарева не был случайным. Писарев ушел в «Отечественные записки» не потому, что в некрасовском журнале цензурные условия были более легкими, чем в журнала Благосветлова. Писареву с его интенсивностью духовного развития стало тесно и душно в благосветловском «Деле». Направление развития Писарева, так же как Зайцева, и Соколова, о чем речь, пойдет ниже, заключалось в поиске форм большей революционной активности... И в этом они опередили Благосветлова. Кто знает, в чем тут причина, — в серьезной возрастной разнице или в чем-то другом. Но в любом случае в отличие от Писарева, Зайцева, Соколова Благосветлов, но сути дела, остановился, застыл в своем духовном, идейном развитии еще где-то в конце шестидесятых годов. Противоречивая программа «реализма» «Русского слова», с ее гипертрофией знания и курсом на всемерное распространение его как необходимое условие революционного преобразования общества — эта программа явилась прокрустовым ложем для «Дела», выходявшего в новых исторических условиях, для нового молодого поколения читателей. При этом следует подчеркнуть, что с течением времени в деятельности Благосветлова на первый план все в большей степени выходили не сильные, но слабые стороны этой программы, выработанной им в трудных условиях второй половины шестидесятых годов. Его разочарование в революционных возможностях масс росло. Все в большей степени менялось его отношение к «мужику». Это изменение не коснулось демократической основы его убеждений. Жизнь народа, жизнь крестьянства по-прежнему оставалась главной заботой Благосветлова и его журнала. Но его отношение к «мужику» было иным, чем, к примеру, в «Отечественных записках» семидесятых годов, к которым он относился крайне ревниво. Вот как описывает начало своего сотрудничества в «Деле» в своих воспоминаниях Н. Русанов:

«— А вы, вероятно, как большинство теперешней молодежи, поклонник «Отечественных записок»?»

Взор Благосветлова упорно уставлен в мои волосы. Меня это начинает раздражать. И почти патетически я отвечаю:

— О, конечно!..

— За мужичка любите?

— За социализм и за науку, Григорий Евлампьевич! — запальчиво парирую я...

— Социализму и науке наш журнал служит не менее «Отечественных записок»... Да и не одной науке и социализму, а и «мужичку», — но нашему мужику, — служим... Служим, но не прислуживаемся...»

В этой явственно полемической позиции Благосветлова по отношению к «Отечественным запискам» легко уловить отзвук споров, которые шли между «Русским словом» и «Современником» в пору шестидесятых годов. Еще тогда благосветловский журнал в статьях Писарева и Зайцева выступал против «идеализации» мужика, против преувеличения революционного потенциала

деревни. Теперь, а 1876 году, Благосветлов писал Н. М. Ядринцеву о позиции журнала «Дело»: «Искать идеалов в деревне оно не будет, идеализировать мертвую провинцию не в его духе, но оно и не ставит своей задачей возвышение вицмундирного Петербурга над провинцией. Оно знает, что точка нравственной нашей опоры не там и не здесь, не в деревне и не в чухонской Пальмире, но без интеллигентного меньшинства, где бы оно ни было, мы не обойдемся...»

Вот что стоит за благосветловской фразой о том, что «Дело» мужику «служит, но не прислуживается». Деревня сама по себе, в его представлении, не может служить «нравственной опорой» в демократических преобразованиях, ставка может быть только на «интеллигентное меньшинство». Задача этого «интеллигентного меньшинства» — нести свет знания и передовых идей, служить ферментом внутреннего развития общества, пробуждения его самосознания. Демократическое просветительство стало *idée fixe* Благосветлова в семидесятые годы. При этом он начинал «Дело» с одной существенной поправкой: «Оптимизм завел нас слишком далеко, — писал он после закрытия «Русского слова» Шелгунову, — надо мерить наше общество его собственным аршином; это великий и глупый *bambino*, которому еще не под силу светлые и честные идеи. *Bambino* требует репы и чесноку, а ему подносят разные тропические пряности».

Это пессимистическое убеждение в том, что русскому обществу «не под силу светлые и честные идеи», что ему требуется «репа и чеснок», а не «тропические пряности», Благосветлов сохранил до конца жизни.

Не только цензурные трудности, но и внутренняя задача, с которой Благосветлов начинал свой новый журнал, не могли не наложить печать определенной тусклости на физиономию «Дела». Журнал не поспевал за бурным темпом общественного развития народнических семидесятых годов. Он обходил молчанием многие новые вопросы, которые вставали перед семидесятниками, и предпочитал вновь и вновь повторять старое, общеизвестное. Подобное повторение демократических истин имело смысл, приносило пользу, но было недостаточно. Это понимали и некоторые сотрудники «Дела». По свидетельству Н. Русанова, Шелгунов «первым из всего твердокаменного благосветловского «Дела» почувствовал потребность допустить живую струю в этот орган застывшего радикализма 60-х годов». Почувствовал эту потребность потому, что видел, как при всем взаимном уважении все больше росло непонимание между «Делом» и лучшими представителями передовой молодежи семидесятых годов. После смерти Благосветлова, возглавив на короткий срок «Дело», Шелгунов начал активно привлекать к сотрудничеству в журнале деятелей революционного народничества, за что и оказался в очередной ссылке.

Отношение Благосветлова к действительному народничеству семидесятых годов было сложным. Вот что со всей присущей ему откровенностью писал он Лаврову незадолго перед смертью: «...Все мы смотрим уже в гроб, и если бы были люди получше нас, посвежее и поумнее, то нам следовало бы давно уступить им дорогу. Но их нет. Дряни — сколько угодно, но людей хорошего

закала даже не предвидится скоро. Толстой расплодил целый вертоград и на целых два поколения патентованных дураков. Неудивительно, что явились люди, которые требуют *дела*, а не *слова*, которые отвернулись от литературы и пошли в *народ*. Зачем, для чего, с чем- все это не уяснено, не передумано и спутано. Этим бойцов жалко, потому что это даром погибшие силы...»

В этом отзыве Благосветлова — сплав уважения, трезвости и в какой-то мере скептицизма, непонимания революционного подвига семидесятников.

И все-таки при всей «твердокаменности», с которой стоял Благосветлов на позициях «радикализма 60-х годов», влияние его журнала на молодежь было огромным. «Дело» оставалось лучшим после «Отечественных записок» журналом семидесятых годов. Его разногласия с «Отечественными записками» были скорей тактическими, чем стратегическими.

Цензура любыми путями стремилась прекратить существование журнала. «Журнал «Дело», — говорится в очередном секретном документе Главного управления по делам печати, помеченном 34 января 1874 года, — несмотря на то, что выходит под предварительною цензурою, отличается в большей части статей, в оном помещаемых, тою вредною тенденциозностью, которая всегда составляла главную характеристическую черту изданий Благосветлова. Тенденциозность эта доказывается неопровержимо тем, что из всех русских повременных изданий «Дело», несмотря на сравнительную пустоту своего содержания, есть то, которое, по официальным сведениям, требуется несравненно чаще прочих для чтения приходящих в Императорскую Публичную библиотеку и вообще служит настольною книгою той части нашей молодежи, которая является поборницей и последовательницей нигилизма и всех видоизменений вредных и опасных учений сего рода. Наконец, самый издатель и главные сотрудники «Дела» заведомо принадлежат к числу писателей самого неблагонамеренного направления, не раз осужденного». В записке (который раз!) предлагается Цензурному комитету положить «решительный конец» злонамеренной пропаганде «Дела», «для сего необходимо подвергнуть «Дело» таким цензурным стеснениям, которые или обратили бы его в сборник случайных статей, далеко отстающих от той степени свободы, которая предоставляется другим подцензурным изданиям, или же привели бы к прекращению издания».

«Неблагонамеренность» издателя «Дела» была давно дознанной и доказанной для властей — не даром Благосветлов, начиная с юных лет и до самой смерти своей, находился под неусыпным секретным наблюдением. Одно из пухлых дел по наблюдению за ним завершается следующим документом, подписанным Санкт-Петербургским градоначальником:

«Секретно. В департамент Государственной полиции.

Имею честь уведомить департамент Государственной полиции, что бывший учитель русской словесности Григорий Евлампьевич *Благосветлов*, состоявший под надзором полиции, 8 текущего ноября 1880 года умер».

### **ВАРФОЛОМЕЙ ЗАЙЦЕВ**

Кто такой Варфоломей Зайцев? Среди читателей на этот вопрос ответят, наверное, немногие.

Знатоки литературы и журналистики скажут примерно так: когда-то популярный, а ныне забытый публицист журнала «Русское слово». Этаким «enfant terrible» русской литературы, известный прежде всего своими ошибками — отрицанием искусства, гонениями на Щедрина, уничтожением Пушкина и Шекспира, далекий от идей крестьянской революционности «социальный реформатор», умеренный «буржуазный радикал».

Неясно одно: за что так любила Варфоломея Зайцева когда-то революционная молодежь?

Варфоломей Зайцев вслед за Писаревым был популярнейшим публицистом и критиком этого органа «нигилистов». С апрельской книжки «Русского слова» 1863 года он вел сатирический обзор отечественной периодики «Перлы и алмазны русской журналистики», с майской книжки 1863 года чуть ли не в каждом номере публиковал свой «Библиографический листок», часто выступал с литературно-критическими статьями. Вокруг имени Зайцева кипели непрекращающиеся споры, он находился в центре полемических боев в течение всей второй половины шестидесятых годов. И неудивительно. «У Зайцева библиография была не сухим и скучным отзывом о книгах, — это была пропаганда и публицистика в форме библиографии, живая, горячая, боевая, писанная именно кровью сердца и соком нервов... Там, где требовалось напасть на противника, подметить слабые стороны, выискать нелепости и противоречия, Зайцев был незаменим и неподражаем. Свежесть, молодость, последовательность, свободное и игривое изложение делали каждую библиографию и политическую статью Зайцева цельной, живой, блестящей вещью, читать которую было истинным наслаждением. Яркий талант Зайцева не мог не привлекать к нему симпатий свежих и молодых читателей, и те, кто его читал, так же не забудут его, как и своей молодости», — характеризовал Зайцева Шелгунов.

Споры, завязывавшиеся вокруг статей Зайцева (а он вел полемику и с «Русским вестником», и с «Отечественными записками», и с «Эпохой» Достоевского, и с «Современником», и «Искрой» — и все это было дерзко, яростно, непримиримо), определялись своеобразием общественных позиций критика, его политическим темпераментом — задорным, прямолинейным, неуступчивым. Что это были за позиции?

Ответ на этот вопрос затруднялся тем, что даже опубликованные работы критика в их полном объеме не были прочитаны до сих пор, — огромный массив публицистических выступлений В. Зайцева семидесятых годов, которые он печатал в христофоровском «Общем деле», оставался вне поля зрения исследователей. Фонды наших архивов, где хранятся не пропущенные цензурой статьи Зайцева, материалы допросов его следственной комиссией 1866 года, также лежат втуне. Не существует хоть сколько-нибудь достоверной биографии Зайцева — путаница здесь настолько велика, что даже последний учебник «Истории русской журналистики» (М., 1964) утверждает, будто молодой критик и публицист начал сотрудничество в «Русском слове» в 1862 году. Ошибка не формальная год и даже месяц, когда Зайцев пришел в «Русское слово» (апрель 1863 года), имеют принципиальное значение.

## **КТО ТАКИЕ «СВИСТУНЫ»!**

Первая статья двадцатилетнего студента Московского университета Варфоломея Зайцева, которая была принята руководителем «Русского слова» Г. Е. Благоветловым к печати, называлась «Представители немецкого свиста Гейне и Берне». Она планировалась в апрельский номер журнала и писалась еще в ту пору, когда революционеры-шестидесятники всерьез верили, будто страна накануне крестьянской революции. Весна 1863 года, когда будут вводиться в действие уставные грамоты, — вот точный срок, который они отводили началу крестьянского восстания.

В данном варианте статья так и не увидела света, она была опубликована в половинном объеме под названием «Гейне и Берне» в сентябрьской книжке «Русского слова» за 1863 год. Верстка статьи хранится в цензурных фондах Центрального государственного исторического архива в Ленинграде с визой: «Запретить. 24 апреля 1863 года».

Статья «Представители немецкого свиста Гейне и Берне», которой начиналась публицистическая деятельность молодого критика, вне всякого сомнения, была программной. Она написана без оглядки на цензуру — смело, размашисто, талантливой, уверенной рукой. Уже название и выбор темы сами по себе выдают пристрастие критика и раскрывают его замысел: на материале творчества Гейне и Берне говорить о русских «свистунах» — революционных демократах.

«Свистуны» (от названия издававшегося Добролюбовым сатирического приложения к «Современнику» «Свисток») — так называли партию Чернышевского противники. Опытные полемисты в лагере «Современника» тут же подхватили эту кличку для популярного обозначения своих идей. «Я не восстаю против полемики, не зажимаю ушей от свиста, не проклиная свистунов, — говорил Писарев в «Схоластике XIX века», — и Ульрих фон Гуттен был свистун, и Вольтер был свистун... А разве во многих статьях Белинского не прорываются резкие, свистящие звуки? Припомните, господа, ближайших литературных друзей Белинского, людей, которым он в дружеских письмах выражал самое теплое сочувствие и уважение: вы увидите, что многие из них свистали, да и до сих пор свищут (намек на Герцена. — Ф. К.) тем богатырским посвистом, от которого у многих звонит в ушах и который без промаха бьет в цель, несмотря на расстояние».

Варфоломей Зайцев вслед за Писаревым раскрывает родственность устремлений Гейне и Берне с той колоссальной работой по расчистке «готического собора» Российской империи, которую вели революционные демократы. Первая часть статьи посвящена историческим обстоятельствам возникновения «свиста» — революционных идей, размышлениям об особенностях предреволюционных эпох. «Ни один общественный порядок не может продолжаться вечно, — начинает Зайцев статью. — Рано или поздно он падает. Первым признаком гибели какого-нибудь порядка является осмеяние его, встречающее при том сочувствие в обществе».

Деятельность Гейне и Берне вызывает симпатии Зайцева именно потому, что они были передовыми людьми своего времени. «Если старый порядок



действительно отжил свой век, то число людей, замечающих нелепость его, возрастает, и это выражается тем, что свист встречает одобрение, имеет успех. Правда, он встречает также и сопротивление: против него восстают защитники старого, которые хотя и стараются показать вид, что презирают свист, но, в сущности, хорошо понимают угрожающую опасность. Но когда старый порядок осужден безвозвратно, то сопротивление это весьма слабо и неопасно. Свист победоносно и беспрепятственно раздается в обществе, которое ему аплодирует. Жалкие приверженцы старого порядка напрасно силятся остановить его; их возражения дают ему новые трофеи, и старый порядок, как неудавшаяся пьеса, падает среди оглушительного свиста, с той только разницей, что в воздухе носятся не яблоки и картофель, а что-нибудь подействительнее. Таков был свист Вольтера, таково было падение монархической Франции».

Трудно яснее и определеннее выразить свою приверженность к революционному пути переустройства общества.

Варфоломей Зайцев, влюбленный в Гейне, превозносящий его за «яркий демократизм», за то, что он сохранял «ненависть и презрение к... аристократам» и желал «освобождения угнетенных и ниспровержения угнетателей», — тот же самый Зайцев упрекал великого поэта за «его отвращение от мужицких объятий», за революционный «дилетантизм». С присущей ему прямолинейностью, намеренно игнорируя несоизмеримость талантов, имея в виду интерес чисто политический, Зайцев ставит в пример Гейне его оппонента Берне. Зайцев видит ограниченность Берне, однако тот факт, что вся жизнь и деятельность немецкого публициста была подчинена одной цели — революции, позволяет В. Зайцеву «не только извинить, но даже одобрить его... Если же при этом вспомнить, какую неограниченную любовь к свободе, какую непримиримую ненависть ко всякому деспотизму, какое сочувствие к страданиям народа и какое нетерпение облегчить их чувствовал Берне, то все его крайности кажутся не только простительными, но даже и благородными».

В отношении к художественному гению Гейне проявилась свойственная критику утилитарная ограниченность понимания искусства. Но бесспорен яркий революционный пафос первой зайцевской статьи. «Я порицаю его (Гейне. — *Ф. К.*) за то, — писал здесь **В. В. Зайцев**, — что он не хотел понять, что не поэты и не ученые открывают человечеству новые пути, а люди с грубыми руками, дымящие кнастером»<sup>[13]</sup>. Люди же типа Гейне в представлении Зайцева не способны к практической деятельности: «Их дело готовить переворот, содействовать развитию народа, но... черная работа не для них».

Так писал этот «социальный реформист», не веривший якобы в народную революцию, намереваясь по юношеской наивности опубликовать этот откровенный гимн революционному делу в подцензурном журнале.

В обширном публицистическом отступлении он попытался увязать выводы своей статьи с положением в современной ему России. Становясь в позу охранителя-ретрограда, он восклицает как бы от его имени: «...Все плоды

пашей цивилизации, подобные слову нигилизм, не принесут никому пользы, даже самим нам, потому что даже в нашем любезном отечестве порядочные люди, взирая на нашу борьбу с нашими свистунами, из судьбы наших западных единомышленников узнают нашу судьбу... Нам придется бежать под защиту полуразрушенных батарей прусской монархии. Но давно, уже очень давно были поражены наши немецкие единомышленники, несмотря на защиту этих батарей. Горе нам! Мы опоздали, и поражение наше неизбежно».

Исключая последние годы жизни, в творчестве В. Зайцева не было другой статьи, проникнутой таким же историческим оптимизмом, уверенностью в победе революции, как в этой первой его статье, напечатанной в «Русском слове».

Эта статья помогает до конца понять признание публициста, сделанное им уже перед смертью, в статье «Русская революция». Восторженно приветствуя героев-народовольцев, Зайцев писал о том, какой ожидали увидеть революцию шестидесятники, мечтавшие о ней двадцать лет назад: «В наших мечтах она являлась нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, жакерии, крестьянской войны, или с громом пушек и речей народных ораторов, как в девяносто втором».

Вот какими были мечты этого двадцатилетнего юноши, когда он принес в журнал «Русское слово» свою первую статью «Представители немецкого свиста Гейне и Берне».

### **КРУГ ДРУЗЕЙ**

Что мы знаем о публицисте и литературном критике Варфоломее Зайцеве? Практически, кроме его работ, почти ничего. Шестидесятник А. Х. Христофоров, редактировавший в эмиграции журнал «Общее дело», в своей статье в траурном номере журнала, посвященной умершему критику, сообщает, что родился Варфоломей Александрович Зайцев в 1842 году в Костроме. Его отец, человек без всякого состояния, служил мелким чиновником. Отца вечно перемещали по службе — из Костромы в Варшаву, из Варшавы в Рязань, потом в Житомир, и будущий критик лишен был возможности учиться в гимназии. Он получил образование дома. «В нем рано проявились недюжинные способности, и уже в детстве он лучшим другом стал считать книгу, от которой не отрывался всю свою жизнь. Очень рано проснулось в нем пристрастие к истории, которую он полюбил всем пылом молодого ума, которой оставался верен до гробовой доски и знал необыкновенно основательно».

О его способностях говорит хотя бы тот факт, что знал он шесть языков. На шестнадцатом году его познания были достаточны для поступления в университет. Однако в Московский университет принят он не был «за недостатком лет». Лишь благодаря протекции и хлопотам отца способному юноше удалось попасть на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Зайцев учился там с сентября 1858 по июль 1859 года, когда по семейным обстоятельствам переехал в Москву, где стал заниматься на медицинском факультете. Но после того как отец Варфоломея оставил семью, он вынужден был уйти с четвертого курса университета, чтобы в двадцать лет

взять на себя заботу о материальном обеспечении близких. Переехав в декабре 1862 года снова в Петербург, он поначалу занимается корректурой и переводами, продолжая в то же время занятия в Медико-хирургической академии.

Таковы факты внешней биографии юноши, начавшего свое сотрудничество в «Русском слове» ярко революционной статьей «Представители немецкого свиста Гейне и Берне». Объяснить характер и дух этой талантливой статьи они не могут. Не объясняют они и других загадочных деталей в биографии двадцатилетнего московского студента, приехавшего на поиски заработка в Петербург. Ну, например, в одном из своих показаний П. Баллод, владелец «карманной типографии», где должна была печататься писаревская прокламация о Шедо-Ферроти, утверждает, будто Писарев знал Зайцева еще в начале 1862 года. Но мог ли Писарев быть знаком с Зайцевым, если один жил в Петербурге, а другой — в Москве? По-видимому, мог, потому что имеется еще ряд свидетельств о том, что Зайцев и до переезда в Петербург в декабре 1862 года был связан с литературными кругами в столице и бывал в Петербурге. Известно, что между 27 февраля и 3 марта он вместе с В. А. Слепцовым и Лесковым был у Бенни на чтении только что вышедших первых четырех глав «Записок из мертвого дома» Достоевского. Правда, впоследствии, на допросах в Муравьевской комиссии, Зайцев покажет, что познакомился со Слепцовым «по приезде в Петербург в декабре 1862 года у общей знакомой г-жи Маркеловой». Однако дату знакомства со Слепцовым Зайцев, по всей вероятности, намеренно или случайно спутал. Имя же Маркеловой, участницы слепцовской «коммуны», близкой к революционным кругам 60-х годов, названо им не случайно.

В архиве Пушкинского дома хранится совершенно неожиданное на первый взгляд письмо сестры критика Варвары Зайцевой поэту Я. П. Полонскому, датированное 10 октября 1862 года:

«Давно не получая от Вас писем, любезный Яков Петрович, я сама сажусь писать Вам. Сегодня я получила письмо от Маркеловой и узнала из него, что Шелг[уновы] спокойно добрались до места. Маша Михаэлис в Петербурге и, по всей вероятности, будет у Вас...

Не виделись ли Вы, Яков Петрович, с Достоевским и не слыхали ли чего о статье моего брата?... Узнайте, пожалуйста, может ли быть помещена она в ноябре: Если увидите П., то не забудьте спросить о московском студенте, про которого я Вам говорила.

Еще прошу Вас, мой приятель, напомнить Елене Андреевне ее обещание прислать мне свою карточку, и если будете писать мне, то перешлите ее в письме.

Прощайте, жму Вашу руку. В. Зайцева».

Много загадочного в этом письме. Откуда Варвара Зайцева, которой в августе 1862 года исполнилось семнадцать лет, знает Полонского, Маркелову, Машу Михаэлис, сестру жены Шелгунова, ту знаменитую девушку, которая во время гражданской казни Чернышевского бросила ему букет цветов? Почему

она столь живо интересуется судьбой Шелгуновых, как раз в это время отправившихся в Сибирь, чтобы навестить, а если возможно, то и организовать побег с каторги их друга Михаила Илларионовича Михайлова? Кто такой П. и московский студент, о котором она говорила Полонскому? Кто такая Елена Андреевна? Какова судьба статьи Варфоломея Зайцева, которая должна была появиться в ноябрьской книжке «Времени» Достоевского и не появилась там? ... На некоторые из этих вопросов пока ответа нет. Кое-что объясняют показания Варвары Зайцевой на следствии по делу «Земли и Воли», которое было начато III отделением в связи с арестом землемера Андрущенко. Зайцева, привлеченная по этому делу, показывала здесь, что приехала в Москву к брату с матерью весной 1862 года, из Москвы же выехала в июле 1863 года в деревню Подол Шлиссельбургского уезда, где гостила у своих знакомых Михаэлис, оттуда в сентябре переехала в Петербург.

Вне всякого сомнения, до весны 1862 года Варвара Зайцева с матерью какой-то срок жила в Петербурге, сдружилась с семьей Шелгуновых и, в частности, с Машей Михаэлис, с Маркеловой и другими представителями передовой петербургской молодежи шестидесятых годов. Отсюда понятны и ее короткие отношения с Полонским, который в это время был очень дружен с М.И. Михайловым. Когда в 1864 году Я. Полонский давал показания о поведении Варвары Зайцевой в связи с привлечением ее по делу общества «Земля и Воля», он сообщил: «Девицу Варвару Зайцеву я знаю года четыре времени. Поведения она хорошего и в предосудительных поступках мною не замечена». Владимир Ковалевский и Виссарион Висковатов показали в это же время и по тому же поводу, что они знают Варвару Зайцеву «два года времени». То есть Полонский знал Варвару Зайцеву с 1860 года — ей было в ту пору пятнадцать лет, В. Ковалевский и В. Висковатов знакомы с ней с 1862 года. Понятно, и кто такая Елена Андреевна, чью карточку Варвара Зайцева просила Полонского переслать. Это Е. А. Штакеншнейдер, старшая дочь петербургского архитектора Штакеншнейдера, в чьем доме в пору шестидесятых годов был известный литературный салон. На вечерах у Штакеншнейдеров бывали многие литераторы столицы, и в частности Я. П. Полонский. Об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер и Л. Ф. Пантелеев. Кстати, он же сообщает, что у Я. П. Полонского бывал студент Петербургского университета М. Покровский, друг Андриана Штакеншнейдера, брата Елены Андреевны, Вместе с Евгением Михаэлисом, братом Маши Михаэлис и Людмилы Шелгуновой, Покровский был о днях из руководителей студенческого движения в Петербурге и, как пишет Л. Пантелеев, «в студенческой истории 1861 г. играл чуть не самую выдающуюся роль». Вместе с тем он был очень дружен со Страховым, ближайшим сотрудником Ф. Достоевского по журналу «Время». Можно предположить, что некий П., у которого Полонский должен был спросить нечто интересующее Варвару Зайцеву «о московском студенте», не кто иной, как вожак петербургского студенчества Михаил Покровский.

Дружба Варвары Зайцевой с семьей Шелгуновых, с Машей Михаэлис и ее братом, участником студенческих волнений шестидесятых годов, с Я.

Полонским и другими петербуржцами бросает свет на близкое знакомство Варфоломея Зайцева с семьей Шелгуновых до его переезда в декабре 1862 года в Петербург. Из переписки Шелгунова с женой, опубликованной в книге «Из далекого прошлого», видно, что Шелгунов лично знал и любил Бубку, как он называет Варфоломея Зайцева, хотя, казалось бы, их личное знакомство совершенно исключено. Варфоломей Зайцев, по его собственным показаниям, приехал из Москвы в Петербург в декабре 1862 года. Н. В. Шелгунов с женой оставили Петербург и уехали к осужденному Михайлову в Сибирь в мае 1862 года. Там Шелгунов был арестован и в апреле 1863 года под охраной привезен в Петропавловскую крепость. В крепости до 22 июля 1863 года ему не разрешали свиданий даже с женой. Позже свидания были разрешены, но только с родными. 24 ноября 1863 года Шелгунов был выслан в город Тотьму Вологодской губернии. Встреча с Зайцевым в 1863 году была для него невозможна. Значит, он знал не только Варвару, но и Варфоломея Зайцева еще до своего отъезда в Сибирь. Жена его, Людмила Петровна, летом 1863 года возвращалась из Сибири одна, в сопровождении иркутского купца Пестерева. Будучи арестован за сношения с Герценом, Пестерев показал, что летом 1863 года, сразу после того, как он отправил Шелгунову из Москвы в Петербург, к нему приходили с поручением «две барыни — это были Зайцевы, — дочь с матерью, и отрекомендовались как знакомые Шелгуновой, от которой я слышал про них. Они объяснили, что Шелгунова поручила им взять забытый ею в моем чемодане чай и что Людмила Петровна теперь в С.-Петербурге, причем просила навестить их в Богородском, где они живут на даче».

Приехав чуть позже в Петербург, Пестерев познакомился через Шелгунову со всей семьей Зайцевых и стал своим человеком в их доме. Для нас важны слова Пестерева о том, что он «слышал» о Зайцевых от Шелгуновой еще ранее, по дороге из Сибири в Москву, — лишнее подтверждение, что Шелгуновы хорошо знали Зайцевых до своей поездки в Сибирь. Это объясняет еще один неожиданный факт в биографии В. Зайцева. Как известно, Л. Шелгунова выпускала многотомное издание «Всемирной истории» Шлоссера, редактируемое Чернышевским. После ареста Чернышевского редактирование этого огромного и сложного труда было поручено никому, казалось бы, не известному студенту Московского университета Варфоломею Зайцеву. Повидимому, и до переезда в столицу в 1862 году Варфоломей Зайцев не был чужим человеком в демократических кругах Петербурга. Шелгуновы, Михайлов, Маша Михаэлис, Маркелова, В. Слепцов, Писарев, Бенни, В. Ковалевский — вот круг петербургских знакомых Варфоломея и Варвары Зайцевых, который прослеживается по тем немногочисленным данным, которые дошли до нас.

Примечателен и круг московских друзей Варфоломея Зайцева до начала его сотрудничества в «Русском слове». Его нам помогает установить все то же следственное дело о «Земле и Воле».

Летом 1863 года был арестован в Чернигове с чемоданом нелегальной литературы член «Земли и Воли» шестидесятых годов, бывший студент Московского университета Иван Андрущенко. Оказавшись человеком слабым,

он начал выдавать своих товарищей, и по его вине к ответственности было привлечено около двух десятков революционно настроенных молодых людей, в их числе и Варвара Зайцева. Она обвинялась в причастности к «Земле и Воле» и в организации побега из тюрьмы брата эмигранта Василия Кельсиева, студента Московского университета. Побег Кельсиева был организован обществом «Земля и Воля». Андрущенко показал, что именно Варвара Зайцева на своей квартире в Богородском дала приют бежавшему летом 1863 года из тюрьмы И. Кельсиеву, пока до отъезда за границу он находился в Москве. После побега Кельсиева из Пречистенской тюрьмы Андрущенко имел разговор со студентом Сулиным о том, как лучше скрывать Кельсиева до отъезда его из Москвы. Сулин сказал Андрущенко, что поедет в Сокольники к Зайцевой просить ее об этом и надеется, что она не откажет, и Кельсиев будет там в совершенной безопасности. Действительно, после этого Сулин был в Сокольниках и договорился с Зайцевой.

На вопрос, кого из Зайцевых — мать или дочь — он имел в виду, Андрущенко отвечал вполне определенно: «Из слов Кельсиева мне известно, что он до побега был знаком только с девицей Варварой Зайцевой, а потому в своих показаниях и подразумевал ее, Варвару Зайцеву, которая жила у матери своей, коллежской советницы Марии Зайцевой».

Сулин, отвергая показания Андрущенко, будто по его просьбе Кельсиев укрывался у Зайцевой, объяснил сначала, что «он, Сулин, с Зайцевой был знаком, и что, сколько известно Сулину, Зайцева тоже была знакома с Кельсиевым и посещала его, когда он содержался под арестом», а потом, что «он не может положительно утверждать о том, будто Зайцева бывала у Кельсиева, а о том, что она была знакома с Кельсиевым, Сулин слышал от кого-то из своих знакомых, но от кого именно, он не помнит, и верно ли это, не знает».

Что же показала на следствии Варвара Зайцева? «У нас в Сокольниках Кельсиев не проживал, и Сулин не уговаривал меня принять к себе Кельсиева. Сулина я знаю давно, и отношения мои к нему как к хорошему знакомому нашего дома. Сулин никого в наш дом не водил, кроме Ященко и Гольц-Миллера. В свой же дом мы неизвестных личностей не принимали».

Мать ее, Мария Зайцева, подтвердила: «Кельсиев у нас не был на даче, мы ничего о его бегстве и укрывательстве не знали. Сулин же у нас бывал, сколько припомню, раза два или три. Бывал у нас и Гольц-Миллер и даже раз ночевал на даче».

Варвара Зайцева перечислила круг своих знакомых в Москве, указав, что «виделась с своей двоюродной сестрой Запольской, с Болховитиновыми, с Андреевой, с Сулиным, с Зыбиным, с Гусевым, с Васильевым, с Садовским, с Бессоновым, с Малаксиановым». Поскольку при обыске квартиры Зайцевых нашли письма Ященко из Бугульмы, где он отбывал ссылку, В. Зайцева особо пояснила обстоятельства своего знакомства с ним: «С Ященко я познакомилась через нашего знакомого Якова Андреевича Сулина», Не скрыла, что во время заключения их в Пречистенской части «бывала у Сулина, который вместе с Ященко был несколько раз у нас».

При обыске у Зайцевых полицией были обнаружены фотографии Герцена и Огарева, Обручева.» Южакова и Корсини, гражданской жены Утина. Следователей, естественно, заинтересовали портреты Герцена и Огарева, и особенно Обручева, из чего можно заключить, что это была фотография В. А. Обручева, осужденного на каторгу по делу «Великоруса». В ответ на прямой вопрос о происхождении фотографии Обручева В. Зайцева ответила: «Обручева я не знала, не знаю также, как его зовут. Карточку Герцена и Огарева я купила в какой-то московской фотографии вместе с карточками разных литераторов. Карточка Обручева не принадлежит мне, я его вовсе не знаю. Карточку Южакова я получила от самого Южакова, он студент С.-Петербургского университета, окончивший курс юридического факультета. Карточку Герцена и Огарева я имела для того же, для чего и всех прочих литераторов».

Следствию не удалось установить, что Варвара Зайцева скрывала на своей даче после побега Ивана Кельсиева, как то показывал Андрущенко. Однако материалы допросов Варвары Зайцевой и ее матери Марии Зайцевой воссоздают картину взаимоотношений семьи Зайцевых с передовой студенческой молодежью Москвы. Вот он, круг близких знакомых семьи Зайцевых: Сулин, Гольц-Миллер, Яценко (его вместе с Сулиным Варвара Зайцева посещала в тюрьме, где они отбывали наказание по делу «Первой русской вольной типографии») и, наконец, И. Кельсиев — здесь надо верить, конечно же, первоначальному показанию Сулина, утверждавшего, что «Зайцева была знакома с Кельсиевым и посещала его, когда он содержался под арестом». Это был круг близких друзей. Не случайно в бумагах Варвары Зайцевой, обнаруженных при обыске, были следующие адреса: «На Дон, в Каменскую станицу, его в. п. П. А. Сулипу для пер[едачи]», «В Минск Литовский, И. И. Г. М.» (И. И. Гольц-Миллеру). В мае 1863 года Сулин и Гольц-Миллер были выпущены из тюрьмы, где они содержались по делу «Первой русской вольной типографии» и были отпущены на «каникулы» по домам — там-то их и арестовали вторично по делу Андрущенко. Их адреса и хранились в самодельной, на восьмушку листа, сшитой ниточкой записной книжке Варвары Зайцевой. И еще один адрес: «У Арбатских ворот, дом Волкова, номера Третьяковой».

Дом этот без конца фигурирует в деле: здесь проживали до отъезда в Чернигов Андрущенко, Сулин и ряд лиц, привлекавшихся по этому делу: Семен Тоон, Иван Полосатов, Александра Васильева. Но чьи же это друзья? Только ли Варвары Зайцевой? По-видимому, нет. По показаниям видно, что во время следствия по понятным причинам Варвара Зайцева избегает называть имя своего брата. И хотя совершенно очевидно, что фотография Обручева, обнаруженная во время обыска в квартире Зайцевых, принадлежит брату, Варвара Зайцева ограничивается заявлением, что эта карточка «не принадлежит ей». Вместе с тем заслуживает самого пристального внимания тот факт, что в своих показаниях о Сулине, Гольц-Миллере, Яценко — все они студенты Московского университета — Варвара Зайцева нигде не называет их своими личными знакомыми, но «хорошими знакомыми нашего дома». Совершенно очевидно, что эти «хорошие знакомые дома» Зайцевых не могли не быть

друзьями и однокашниками студента Московского университета Варфоломея Зайцева. Тем более что Варвара Зайцева и знала-то их несколько недель — она приехала с матерью к брату в Москву лишь весной 1862 года, а 13 июня 1862 года Сулин и Яценко были арестованы и до весны 1863 года находились в заключении.

Надо сказать, что отношения Варфоломея Зайцева со своей сестрой и матерью были исключительно близкие и доверительные. Их сближало еще и то обстоятельство, что отец был чужим и враждебным семье человеком. Когда Варвара стала совершеннолетней, «почтенный родитель, — по словам Пестерева, — вдруг не стал выдавать Варе паспорт и... как истый крепостник, обещал выдать билет, но только такого содержания, что дочь моя жить у матери не может, ибо она дурно следит за ее поведением и дает такое направление, что девочка даже замешана в политическое дело». Для того чтобы освободить Варвару от крестника-родителя, Зайцевым пришлось оформить ее фиктивный брак с князем Голицыным.

Варфоломей Зайцев не только содержал семью, но сам и воспитывал свою сестру в духе собственных принципов и убеждений.

В бумагах В. Зайцева в ЦГАОРе хранится статья Варвары Зайцевой, написанная до отъезда за границу, — свидетельство того, насколько глубоко усвоила она передовые идеи времени. Статья называется: «Наши женщины на поприще деятельности». В ней, в частности, говорится: «Героиня прекрасного романа Чернышевского «Что делать?» показана нам во всех своих проявлениях и представлена хорошей, полезной, мыслящей женщиной; но нельзя сказать, чтобы она была написана достаточно рельефно, видно, что эта личность придуманная, но так как целью этого романа было указать между прочим и женщинам, что им делать, то поневоле пришлось придумывать подобный тип женщины; потому ли так бедна беллетристика хорошими женскими типами, что нет их в обществе нашем? Не сами ли мы, женщины, виноваты в этой слабой стороне ее?... На нас еще слишком много старой грязи, мы вырастаем на слишком нездоровой почве Глупова, и привычка слишком еще связывает нас с обычаями родного города. Но нельзя не радоваться тому, что мы почувствовали всю срамоту, всю безнравственность своего холопского положения, в наших головах проснулось какое-то смутное чувство недовольства им».

Очевидно, и мать Зайцевых Мария Федоровна разделяла в какой-то мере взгляды своих детей. Не случайно не только за сестрой, но и за матерью Зайцева в 1861 году «по поводу заявления ею учения своего о нигилизме» был установлен негласный надзор полиции. Вот почему друзья Варфоломея, московские студенты Сулин, Гольц-Миллер, Яценко, И. Кельсиев, стали близкими знакомыми семьи Зайцевых.

Настолько близкими, что семнадцатилетняя Варвара Зайцева считала своим долгом навещать арестованных друзей брата, хотя это было отнюдь не безопасно, а когда Сулину потребовалась верная явка для бежавшего из тюрьмы Ивана Кельсиева, он не раздумывая обратился к сестре и матери Зайцевым, пока еще проживавшим в Москве. Сама уверенность Сулина в том,



что Зайцевы примут беглеца и что он там «будет в совершенной безопасности», говорит о многом. Неудивительно, что, отбыв наказание по «делу Андрущенко», Сулин, по свидетельству Пестерева, был завсегдаем в семье Зайцевых.

Яков Сулин, Иван Гольц-Миллер, Леонид Ящепко — студенты Московского университета — были активными участниками революционного движения московской молодежи шестидесятых годов. Яков Сулин был одним из организаторов первой русской вольной типографии, отпечатавшей книгу Н. П. Огарева с разбором клеветнической истории восстания декабристов барона Корфа, потом он принимал участие в неудачной попытке отпечатать прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам...». Иван Гольц-Миллер, живший с ним на одной квартире, и Леонид Ященко распространяли литографированные кружком Зайчневского — Аргиропуло и «Библиотекой казанских студентов» нелегальные издания. Среди литографированных изданий было много переводов — «Сила и материя» Бюхнера, «О христианстве» Лорана, «Лекции о сущности религии» Фейербаха и др. Не исключено, что связи Зайцева с друзьями Сулина и возникали на почве переводов для нелегальных изданий.

О настроениях Сулина и Гольц-Миллера можно судить по донесению смотрителя Московского смиренного, дома, где они отбывали наказание: «По их словам, самый лучший в мире образ правления был бы народный, избирательный, в этом смысле им не нравятся в общество сословия дворян и купцов — первые как монополисты власти, вторые — как монополисты имущества... Желают полной свободы полякам бывшего герцогства Варшавского и извиняют их восстание, даже зверские поступки по отношению к соплеменникам объясняют законным чувством патриотизма их».

По выходе из заключения Сулин и его друзья решили упрочить связи с революционным кружком «Библиотека казанских студентов». Яков Сулин пригласил членов этого кружка к себе домой и устроил им форменный экзамен. Руководитель кружка Юрий Мосолов прочитал на этом собрании программу московского отделения «Земли и Воли».

Вот что представлял собой близкий друг Зайцевых, студент Московского университета Яков Сулин.

Впоследствии, в 1867 году, когда Сулин был уже в ссылке, его гражданская жена М. Д. Сошальская, отправившаяся за ним в Сибирь, на допросах не скрывала принадлежности Сулина к «Земле и Воле». Она показывала, что Сулин переписывается с Тооном и Новиковым. «Личность эта, — говорила она о Новикове, — прикосновенна была к делу общества «Земля и Воля»... Отношения Тоона к Сулину основаны на том, что он также принадлежал к обществу «Земля и Воля». Студент Ященко, с которым Варвара Зайцева познакомилась через Сулина и которого посещала в тюрьме, также был арестован за печатание и распространение нелегальных сочинений. При обыске у него было найдено много литографированных изданий и переписка, из которой видно, что Ященко распространял эти издания.

По-видимому, в какой-то момент кружок, в который входил Сулин и к которому примыкал Зайцев, сблизился с кружком Зайчневского — Аргиропуло.

В ЦГАОРе хранится дневник студента Московского университета Торчилло, в котором 4 декабря 1862 года сделана такая запись: «Вчера вечером часу в седьмом приехала к нам Л. Ф. и убедительно просила меня передать завтра Аргиропулову записку от Яценко и Сулина. «Да, пожалуйста, пораньше и поосторожнее, не попадитесь только. Если эту записку у вас перехватят, вы погубите этим 8 человек», — говорила она в страшных попыхах... Вечером я составил план, как действовать. Во-первых, все антиправительственное и антирелигиозное я собрал, связал и положил отдать эту связку Н., чтобы она спрятала ее в дровяник. Это надо было сделать на случай обыска (т. е. Аргиропуло и Новиков приговорены к заключению в крепости и за ними следит полиция; они под арестом); во-вторых, я составил программу, что отвечать, если меня схватят... Записку случилось отдать благополучно».

Можно предположить, что Сулин и Яценко были тесно связаны с кружком Зайчневского — Аргиропуло, из среды которого вышла знаменитая прокламация «Молодая Россия», смертельно напугавшая общество неистовостью революционного духа.

Имеются сведения, что Сулин принимал участие в составлении прокламации «Молодая Россия». На это указывала в своем доносе некая Александровская, которая вращалась в кругах революционной молодежи тех лет. Существует еще одно свидетельство, подтверждающее серьезную роль Сулина в кружке «Молодой России». В заметке «К материалам о Чернышевском» Л. Пантелеев прямо указывал, что Якову Сулину было поручено кружком отвезти Чернышевскому «Молодую Россию». А в воспоминаниях о «Земле и Воле» Пантелеев приводит свой разговор с Зайчневским об этой поездке: «Наш посланный... теперь уже в Петербурге, — говорил ему Зайчневский, — он должен прямо явиться к Чернышевскому; конечно, повидает кого-нибудь из ваших (речь идет о петербургском отделении общества «Земля и Воля».- Ф. К.) , имеет адрес Утина». Далее Пантелеев сообщает: «Вернулся С... посланный кружком Зайчневского,...он, очевидно, был смущен приемом, который встретил в Петербурге», а в специальном примечании уточняет: «Чернышевский отказался принять доставленные ему для распространения экземпляры и вообще сухо принял посланного С...» В воспоминаниях в отличие от заметки «К материалам о Чернышевском» фамилия посланца зашифрована инициалом. Комментатор и редактор текста воспоминаний С. А. Рейсер вслед за Б. П. Козьминым отказывается верить самому же Л. Пантелееву в то, что за инициалом С. скрывается Сулин, поскольку Сулин будто бы был арестован одновременно с Зайчневским в 1861 году, и выдвигает версию, подсказанную ему В. П. Козьминым, будто «этим лицом был М. А. Саблин». Однако, как явствует из следственного дела Сулина, арестованный по делу «Первой русской вольной типографии», он на время следствия был освобожден из-под ареста, и до середины июня 1862 года находился на свободе, и вполне мог поехать в Петербург к Чернышевскому в качестве делегата от «Молодой России».

Что касается Гольц-Миллера, то о его непосредственном участии в составлении прокламации «Молодая Россия» свидетельствовал сам Зайчневский: «Мол[одую] Р[оссию]» писал я и мои товарищи по заключению», — вспоминал он впоследствии, конкретно назвав при этом одну фамилию — «поэт Гольц-Миллер». Лемке сообщал со слов С. Н. Южакова: «Покойный И. И. Гольц-Миллер, один из членов «Центрального революционного комитета» (так называл себя кружок Зайчневского. — Ф. К.), рассказывал своему приятелю С. Н. Южакову, что Чернышевский прислал к ним в Москву видного революционного деятеля той эпохи и одного из основателей общества «Земля и Воля», ныне покойного А. А. Слепцова, уговорить Комитет сгладить как-нибудь крайне неблагоприятное впечатление, произведенное «Молодой Россией».

Во всех этих свидетельствах для нас важно то, какую серьезную роль в подпольном революционном движении шестидесятых годов играли друзья семьи Зайцевых — студенты Московского университета Сулин и Гольц-Миллер.

В нашем распоряжении пока нет документальных данных о практическом участии Варфоломея Зайцева в подпольном революционном движении. Но это не значит, что участие Зайцева в подпольных кружках шестидесятых годов исключено. Тщательная конспирация была условием жизни и работы революционеров. Она и для нас скрыла очень многое. Далеко не все ясно в обстоятельствах жизни Варфоломея Зайцева, в его отношениях с революционным подпольем шестидесятых годов. Однако можно считать установленным одно: гражданское формирование молодого критика в его студенческие годы проходило в среде революционной молодежи, под воздействием передовых демократических идей. И как знать, быть может, корни якобинства Зайцева, которое с такой резкостью выявится позже, именно в настроениях кружка «Молодой России», объединявшего Зайчневского, Аргиропуло, Сулина, Гольц-Миллера и других, представителей революционного московского студенчества шестидесятых годов.

### **«СОЦИАЛЬНЫЙ РЕФОРМАТОР» ИЛИ КРЕСТЬЯНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР!**

Дух статьи Зайцева «Представители немецкого свиста Гейне и Берне», которой он начал сотрудничать в «Русском слове», вполне выражал настроения той среды московского студенчества, к которой будущий критик принадлежал.

Но сохранил ли Варфоломей Зайцев эту яркую революционную настроенность в последующие годы? Ведь могло быть и так, что его сочувствие революции, свойственное многим в пору общественного подъема, испарилось в годы реакции и спада революционной волны. Реальные факты, иными словами — статьи и рецензии Зайцева в «Русском слове» 1863–1866 годов, убеждают, что этого не произошло. На всем протяжении сотрудничества в «Русском слове» Зайцев последовательно и целеустремленно отстаивает революционное направление идей.

Одной из первых акций молодого критика была рецензия на собрание сочинений Генриха Гейне, в переводах Вс. Костомарова, являвшая собой

образец блистательного политического памфлета. Памфлет этот был направлен против Всеволода Костомарова, по чьей вине ушли на каторгу Михайлов и Чернышевский. Как писал А. Христофоров, критик искусно использовал здесь формы эзопового языка, «чтобы с настойчивостью и силой Белинского публично бичевать это предательство в виду озадаченной цензуры и торжествующего общества».

Прием этот не был новым: в 1862 году в майской книжке «Русского слова» Писарев в рецензии на книгу Вс. Костомарова и Ф. Берга «Поэты всех времен и народов» писал: «г. Костомаров... не без соболезнавания *доносит* читателю, что раб божий Гейне умер нераскаянным грешником».

В ту пору было известно о предательском поведении Костомарова в деле «Первой русской вольной типографии» и в деле Михайлова. В начале 1863 года Костомаров помог III отделению сфабриковать дело на Чернышевского. Вот почему редакция «Русского слова» решает вновь вернуться к личности Костомарова.

Варфоломей Зайцев имел к тому еще и личные основания: ведь Костомаров предал также Сулина и Гольц-Миллера — его друзей.

Любопытно, каким путем в демократических кругах стало известно о низкой роли Костомарова в деле Чернышевского. В апреле 1863 года Некрасов получил письмо от группы московских студентов, находившихся в заключении. Они писали, что находятся «арестованными в смиренном доме с конца февраля» и что недели две тому назад к ним в камеру был посажен якобы «за политическое преступление» мещанин Петр Яковлев, который обратился к ним за советом. Совет этот, писали Некрасову студенты, заключался в следующем. Оказывается, Петр Яковлев направлялся по важному делу в Петербург, к начальнику III отделения, но по дороге загулял и попал пьяным в тюрьму. А к начальнику III отделения Яковлев направлялся по письму Всеволода Костомарова, который подговорил его дать показания в III отделении о том, будто он слышал, «как Николай Гаврилович Чернышевский летом 61-го года в разговоре с Костомаровым сказал следующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон, — вы ждали воли, — вот вам и воля, благодарите царя». «Я не знаю, — говорил Яковлев, — что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтобы я дал такое показание, но скажите мне, господа: если я действительно дам такое показание, может ли сделать для меня что-нибудь Потапов, может ли он, например, велеть освободить из рабочего дома?»

Студенты ответили провокатору, что за ложное показание в III отделении его скорей подвергнут наказанию, и посоветовали рассказать правду. А Некрасову написали с тревогой о том, что «Костомаров и его семейство хотят с помощью Яковлева подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда. Все это заставляет нас обратиться к Вам, милостивый государь, как к человеку, вероятно, близкому г. Чернышевскому (по редакции «Современника»), уполномочивая Вас, в случае действительности наших подозрений, представить это письмо куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда.

Все это мы готовы в случае надобности подтвердить перед судом присягою.

*Иван Гольц-Миллер, Петр Петровский-Ильенко, Александр Новиков, Яков Сулин, Леонид Яценко*. Москва, 13 апреля 1863 года».

Некрасов немедленно передал это письмо Потапову. Результаты были неожиданные: пьянчужка Яковлев был выслан в Архангельскую губернию, но... показания его оставлены в полной силе.

Обо всей этой истории, конечно, знал Зайцев хотя бы потому, что его сестра Варвара навещала Сулина, Яценко и Гольц-Миллера во время заключения их в тюрьме.

Его статья, посвященная предательству Костомарова, наполнена гневом и презрением. Разоблачительный пафос ее почти не замаскирован. Нужны были немалая гражданская смелость и большое полемическое искусство, чтобы на глазах «озадаченной» цензуры с такой очевидностью и беспощадностью разоблачить секретного агента III отделения. Как это удалось Зайцеву?

Формально критик высмеивает лишь качество переводов Костомарова. По утверждению Зайцева, уже тот факт, что стихи Гейне, который «беспощадно осмеивал немецких филистеров и доносчиков» (см. статью «О доносчике»<sup>[14]</sup>).

Именно статью Гейне «О доносчике», то есть о Менцеле, критик и ставит далее в центр своего разбора. Он приводит следующие строки статьи Гейне «О доносчике»:

«Известно, как и каким образом эта произошло, да и сам доносчик, этот литературный сыщик, уже давно подвергся презрению общества... Никогда еще немецкое юношество не наказывало такими острыми бичами и не клеймило такими раскаленными насмешками более жалкого грешника» (156).

«Презрением и негодованием должно встретить общество эту отвратительную книгу...» — завершает Зайцев свою статью. Проницательному читателю шестидесятых годов было ясно-, что критик призывает обрушить презрение и негодование на гнусного провокатора. Чтобы в этом не было никаких сомнений, он кладет последний штрих: «Но я боюсь, что г. Вс. Костомаров вздумает остаться недовольным моим отзывом об издании г. Берга; я знаю, что если он вздумает опровергать меня, то мне не устоять, ибо его перо в этих случаях весьма красноречиво. В таком случае прошу г. Берга передать г. Вс. Костомарову, что мне даже очень и очень нравится его перевод, особенно вставленная им самим строфа: «O, temporal O, mores! (159).

Этот блестящий политический памфлет молодого критика выражал самую суть его гражданской позиции. Критик «Русского слова» защищал от произвола самодержавия дорогое ему имя Чернышевского, то направление идей, к которому он сам всем сердцем принадлежал. В ряде статей 1863–1866 годов — «Гейне и Берне», «Белинский и Добролюбов», «Стихотворения Н. Некрасова» — молодой критик открыто декларирует свою причастность к лагерю «свистунов», «нигилистов», «мальчишек», к лагерю революционных демократов шестидесятых годов. В статье «Белинский и Добролюбов» он говорит, как высоко «новое поколение» чтит Белинского — «основателя того направления, которого был представителем Добролюбов» (162).

Зайцев, как и Писарев, далеко не во всем согласен с Белинским и Добролюбовым. Но революционно-демократическая основа деятельности

Добролюбова ему близка. Добролюбов в представлении Зайцева «был самым полным и чистым представителем любви к народу. Любовь к народу и сочувствие к нему были у него не пустым звуком, как у поклонников принципа, и не мистическим отвлечением, как у платонических любовников народа, а живым и деятельным чувством» (200).

Живое и деятельное чувство подлинной, а не мистической любви к народу одушевляло в представлении В. Зайцева и поэзию Некрасова. В основе ее, пишет критик, «лежит высокая гуманность и любовь к своей родине». Некрасов, по определению В. Зайцева, поэт *народный*. «Народным поэтом я назвал бы г. Некрасова потому, что герой его песней один — русский крестьянин. Но он говорит о нем, конечно, как человек развитой, как говорил Добролюбов; он не «поет» его, а думает о нем, о его бедах и горе...» (260).

Самое важное значение поэзии Некрасова, по мысли В. Зайцева, в том, что она выражает народный протест, и «протест этот так же силен, как велико горе, представленное поэтом» (264).

Добролюбова и Некрасова, Чернышевского и Писарева считал Зайцев своими духовными учителями.

Защищал ли Зайцев имя Чернышевского, память Добролюбова, разоблачал ли «антинигилистический» роман или обрушивался на русских либералов, он делал это, движимый одной страстью. Такой страстью была для Зайцева крестьянская революция.

Полемика, которую он вел на страницах «Русского слова» со всем «журнальным стадом», верно охранявшим общественный правопорядок, была чрезвычайно резкой. Особенно непримиримым был он в полемике с Катковым, редактором «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Катков возглавлял сплоченную, великолепно организованную и очень влиятельную группу самых реакционных, черносотенных литераторов. Борьба с ним затруднялась тем, что черносотенные позиции, беззастенчивая демагогия и спекуляция на охранительных идеях, наконец, личные связи при дворе всегда обеспечивали ему поддержку верхов. «Московские ведомости» не могут иначе говорить: переменить тон — значит отказаться от своего завидного места, от возможности стоять на завидной для других газет высоте и поражать оттуда противников криком» (244). Ради сохранения этого «завидного места» Катков и его журнал сделали поиски и обличение «крамолы» главным содержанием своей деятельности: ведь если не будет очагов пожара, то отпадает и надобность в «гасителях»! «Таким образом, — делает вывод Зайцев, — положение, ныне занимаемое г. Катковым, столь выгодно даже в чисто журнальном отношении, что стоит похлопотать о продолжении его» (245). Оно не просто выгодно — оно для него необходимо: «Для г. Каткова дело идет не только об удержании выгодной позиции, но вообще о том — «быть или не быть» — конечно, как публицисту (245). Поэтому-то Катков и ведет непрекращающуюся войну с «крамолой» — войну с «засадами, хитростями, бдительностью и чуткостью» (245). Он стремится постоянно держать литературу «на военном положении и неустанно пугать публику слухами о каких-то тайных интригах и происках» (257).

Катков для Зайцева политический враг, воплощение деспотизма и крепостничества. Какие же пути борьбы с самодержавием и крепостничеством выдвигает Варфоломей Зайцев в 1863–1865 годах?

Привычен взгляд на Зайцева как на мирного просветителя, считавшего единственным двигателем прогресса распространение естественных наук. Зайцев и в самом Деле много писал о естествознании.

Но в его статьях, опубликованных в «Русском слове», только однажды встретится утверждение, допускающее возможность просветительского преобразования общества: «...Счастье будет для нашей блистательной цивилизации, если зло разрешится путем науки, если те, которым выгоден этот порядок, сумеют добровольно и всецело отказаться от этих выгод... И недалеко, быть может, падение этой второй цивилизации, если она не будет вовремя спасена наукой» (1863, 5, II, 74).

В самой интонации этого утверждения слышатся сомнения Зайцева в подобном исходе и уверенность в том, что если буржуа под воздействием науки не откажутся от своих выгод, то буржуазная цивилизация будет сметена революционным путем. Это не значит, что рационалист и просветитель Зайцев игнорирует роль науки, знания в освободительной борьбе. Например, как и Писарев, как Благовосветлов, он готов молиться своему кумиру — науке, знаниям, разуму, который в представлении Зайцева всегда был двигателем истории. Однако роль, которую В. Зайцев отводит знанию, вполне определена: «Излечить... общество может только оно само с помощью знания, потому что болезнь его проистекает от невежества. Если жестокий плантатор морит с голоду рабов, то единственный врач, который спасет их от голодной смерти, будет тот, который научит их снять свои оковы, дабы они могли разбить двери темницы и задушить жестокого господина» (1863, 11–12, II, 28).

Достаточно четко и красноречиво!

На всем протяжении сотрудничества в «Русском слове» Зайцев неустанно и последовательно проводит мысль о благодетельности народной революции. Вот почему он то и дело обращается к эпохам революционных переворотов: французской революции XVIII века, английской революции XVII века, итальянским и нидерландским движениям, реформации и Крестьянской войне в Германии. В 1864 году он предпринимает перевод книги В. Циммермана, являвшейся классическим трудом по истории Крестьянской войны в Германии. Обращение к революционным эпохам для Зайцева не случайно. «Всякому должно быть понятно, как важен может быть разбор политических учреждений, переворотов и всех прочих явлений общественной жизни, если разбор этот сделан не с точки зрения той, быть может, давно прошедшей эпохи, а с современной» (327), — писал он в марте 1865 года в рецензии на «Историю нидерландской революции» Д. П. Мотеля, изданную, кстати сказать, Сулиным и переведенную самим же Зайцевым. Смысл подобного разбора в том, чтобы «известным образом настраивать образ мыслей своих слушателей» (327) — «отрицать это — значит отрицать влияние на людей геройских примеров и вдохновляющих идеалов, значит отрицать в людях способность увлекаться высокими образцами и возвышенными идеями» (403). Можно ли яснее

выразить мотивы, по которым В. Зайцев, Н. Шелгунов, Д. Писарев, Г. Благосветлов и другие публицисты «Русского слова» из номера в номер обращались к истории революционных переворотов минувшей эпохи?

И когда в статье об «Общей истории Италии» (1863, № 7) В. Зайцев высмеивал «нелепые надежды» деятелей итальянского освободительного движения сороковых годов на добровольные уступки народу со стороны власти, когда он заявлял: «Уступки эти могут быть вызваны только крайностью, а никак не сделаны добровольно» (98), — внимательные читатели понимали, что речь идет здесь не только об Италии, но и о России шестидесятых годов. Зайцев предостерегает от «легкомысленной доверчивости» в отношении самодержавных правителей, которые лишь под угрозой обстоятельств «делали робкие движения, по-видимому, обещавшие реформы» (98). История показывает, говорит Зайцев, что, проводя под угрозой революции робкие реформы, правители «всегда держали камень за пазухой, чтобы поразить того, кто слишком увлечется розовыми надеждами», и «думали о том, как бы сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, как бы в одно время и народ успокоить и все по-старому оставить» (98). Такова выраженная в эзоповой манере совершенно прозрачная оценка Зайцевым той «тактики запугивания и развращения» (Ленин), которую проводило правительство Александра II. Это над реформами шестидесятых годов, над русским либерализмом издевается Зайцев, когда говорит здесь о партии, «которая, по-видимому, только о том и помышляла, чтобы приобрести либерального короля, и заподозривала в либерализме каждого правителя, не имевшего привычки расстреливать десяток человек ежедневно».

Значение статьи об «Общей истории Италии» состоит еще и в том) что именно в ней Зайцев выразил свое отношение к беспощадному подавлению Польского восстания. Впоследствии, выступая на могиле критика, представитель польских революционеров Михаил Котурницкий как одно из самых значительных деяний Зайцева подчеркнул этот факт: «Зайцев вместе с честными русскими стал на сторону боровшихся поляков 1863 года».

Имея в виду Муравьева-Вешателя, Зайцев писал здесь о некоем «муже с железной волей», который «во главе храбрых жандармов произвел чудо. Он сумел одержать блистательные победы, забрать множество пленных, учредить несколько судебных комиссий, казнить бесчисленное множество бунтовщиков... Разумеется, такие странные результаты были достигнуты странными мерами: почтенный шеф жандармов напал среди белого дня на деревни, брал их приступом, сжигал дома, ловил и сажал разбегавшийся народ на штыки. Ежедневные бюллетени возвещали о подобных подвигах, которые в этих описаниях принимали вид упорных боев» (92).

И хотя формально речь здесь шла об усмирении австрийской монархией освободительного движения в Италии, читатель понимал, что вместо Австрии надо читать Россия, а вместо Италии — Польша.

К какой бы исторической эпохе ни обращался Зайцев, симпатии его неизменно на стороне тех, кто хочет «решительного и коренного преобразования общества, преобразования, которое разом доставило бы нации



все необходимые условия благосостояния» (420–421). Он высмеивает «розовые иллюзии» отечественных и иностранных либералов и выше всех революционных движений ставит Великую французскую революцию, движение английских пуритан с Кромвелем во главе, а прежде всего Томаса Мюнцера и Крестьянскую войну 1525 года.

«Когда в XVI веке истина распространилась в больших массах и началось движение в пользу свободы, продолжающееся доселе, когда за истину, столько веков угнетенную и непризнанную, встали могучие материальные силы, тогда в первый и до недавнего времени в последний раз возникло истинное понятие о свободе... Вот это-то верное понимание свободы и выразилось в движении германского народа 1525 года, открывшем собою ряд реформаторских движений нового времени».

В полном соответствии с просветительской идеологией демократов-шестидесятников Зайцев видит главную движущую силу истории в истине, в науке, в гуманности, образованности и справедливости. Однако эти «нравственные начала, — утверждает он, — становятся силою только тогда, когда приобретают помощь физической силы... Без помощи материальной силы нравственные начала не могут восторжествовать. Истине мало быть истиной, чтобы восторжествовать; ей еще, кроме того, нужно распространиться, то есть приобрести такое число adeptов, которое превысило бы число противников, обеспечило бы ей перевес материальных сил и доставило бы ей победу путем физической борьбы, которой не может миновать ни одна истина, как бы нравственна она ни была» (414). Такова концепция истории просветителя и революционного демократа Варфоломея Зайцева. Так примиряли шестидесятники революционность и просветительский рационализм.

Вместе с тем Зайцев критически относится к буржуазным революциям прошлого: он понимает, что эти революции не принесли народам желанного освобождения и лишь одну форму эксплуатации заменили другой. Цели Великой французской революции он считает «непрочными»: эта революция, как, впрочем, и все другие, не привела к «коренной реформе общественного быта», не принесла экономической свободы народу.

Об ограниченности идеалов и целей буржуазных революций Зайцев подробно говорит в статье «История Крестьянской войны в Германии» В. Циммермана. Здесь отчетливо проявилась особенность мировоззрения Зайцева, общая идеологии шестидесятников: идея революции в творчестве Зайцева была неразрывно слита с идеями утопического социализма. Причину того, что все революции в истории человечества терпели поражение, социалист-утопист Зайцев видит в их узкополитическом характере. Первым условием личной свободы человека Зайцев считал экономическую свободу, «такое экономическое положение, где он не был бы рабом голода, нужды и труда... Без этой свободы нет никакой, потому что — что сделает с свободой совести голодный? На что политические права вечному труженику, не знающему отдыха? Какое дело рабу до независимости его отечества?» (416–417).

Ошибкой всех прежних революций, кроме движения Томаса Мюнцера, который боролся за свободу для трудового народа, свободу «истинную, полную и цельную», было то, что они не были направлены против экономического угнетения. «Все они имели целью достижение свободы для немногих, следовательно, цель ложную и химерическую. Цель эта нигде не была достигнута...» (424). Экономическое неравенство и рабство, осужденные в теории, в жизни продолжали торжествовать. Старый порядок, «мир домюнцёровский, дореформационный, отрекающийся от себя на бумаге, но удерживавшийся на деле», смеялся над бесплодными попытками уничтожить его господство и выходил с новыми силами из каждой битвы, более крепкий после всякого поражения, вечно живой, неуязвимый.

Значит, революционный путь не в силах изменить мир? Ничуть не бывало!

«...Если стремление это терпело столько раз неудачи, то не потому, что было неосуществимо, а потому, что шло по ложному пути, начинало с конца, видело сущность в последствиях». Однако «последние явления истории <...> свидетельствуют, что наконец человечество вступило на истинный путь. Эти явления, указывающие, что вопрос об экономических условиях свободы уже поднят, что понятно значение экономической свободы, а с ним и сущность свободы вообще», должны, по мнению Зайцева, «восстановить веру в будущее и поднять упавшие надежды» (427).

Вопросы умственного и нравственного развития личности для просветителя-рационалиста Зайцева, так же как и для Писарева или Благосветлова, неотрывны от проблемы революции. В уровне умственного и нравственного развития людей видит он залогов народной революции. «Порядок падает потому, что люди достаточно развились, чтобы сделать его невозможным», — писал он еще в своей статье «Представители немецкого свиста Гейне и Берне». Умственное развитие народных масс, достаточное, чтобы понять нелепость и обреченность устаревшего социального и политического порядка вещей, — вот необходимое условие народной революции в представлении просветителя-шестидесятника Зайцева.

Вопрос о преодолении «невежества» народных масс, неразвитости их сознания приобретал для Зайцева, равно как и для всех других публицистов «Русского слова», особое значение. Вопрос этот не мог стоять столь остро перед Чернышевским и Добролюбовым по той простой причине, что они принадлежали другому времени. Их публицистика с большой экспрессией и точностью выразила эпоху революционного подъема, время революционной ситуации, когда руководители освободительного движения были уверены, что они «накануне», когда был намечен даже срок ожидавшегося крестьянского восстания, — весна 1863 года.

Но уже в апреле 1863 года стало очевидным, что надежды на взрыв народного недовольства, крестьянской революционности потерпели полный крах. Ситуация коренным образом изменилась. «Росса повели по пути мирных реформ, причем оказалось, что нет такого пути, по которому Росс не умел ходить» (1863, 4, III, 3), — с горечью комментировал в апреле 1863 года этот факт Зайцев.

Фраза эта многозначительна. В ней объяснение многого, что отличало позиции Зайцева от позиций Чернышевского и Добролюбова. В ней нерв творчества Зайцева, которое все принадлежит этому новому, пореформенному времени, времени черной реакции правительства и глубокой пассивности крестьянских масс. Она выражает глубокую неудовлетворенность Зайцева тем очевидным фактом, что русское крестьянство так и не поднялось на революцию. Вместе с тем она показывает всю степень презрения критика к дороге «мирных реформ», когда в России в «один день возникла гласность, свобода слова, стремление к самоуправлению, политические убеждения, обличение и мало ли чего не возникло», когда «Громека освобождал крестьян», а «Катков учреждал парламент». И вся эта «гора» трескотни и фраз, по определению Зайцева, «благополучно разрешилась от бремени... мышью» (1863, 9, III, 44).

Тем горестнее было сознавать революционерам-шестидесятникам, что даже столь явный обман не заставил крестьянство подняться на революцию.

В одном из первых же номеров возобновленного в 1863 году «Русского слова» с болью говорилось о гнусной черте «рабьего чувства», «рабской преданности своим господам», воспитанной в народе веками крепостного права.

«Мы знаем, что известные причины влекут за собой известные следствия, и поэтому не можем не понимать этого. Мы знаем, что крепостное право между прочими прелестями должно было породить и эту. Но если рабское чувство отвратительно само по себе, то оно делается еще отвратительнее, когда стараются возвести его в идеал добродетели, доказать, что вот оно, благородное-то чувство где» (1863, 3, III, 40), — утверждал журнал.

Именно этот факт — спад крестьянской революционности — и определил спор «Русского слова» с Добролюбовым, который вели Писарев и Зайцев. Считая Добролюбова по праву «самым полным и чистым представителем любви к народу», Зайцев критикует сподвижников Чернышевского за «идеализированное» отношение к крестьянству, за то, что «идеальные, представления о народе вводили Добролюбова иногда в заблуждение и заставляли его слишком много ждать от народа» (201).

Та же мысль звучала и у Писарева, когда он оспаривал статью Добролюбова «Луч света в темном царстве», когда отказывался видеть в стихийном протесте Катерины симптом пробуждения народного самосознания.

Не отказываясь от «живого и деятельного чувства» любви к народу, считая борьбу за освобождение его главным, о чем стоит «заботиться и хлопотать», тоскуя о революционном подъеме, публицисты «Русского слова» мучительно переживают «отсутствие революционности в массах великорусского населения». Они ищут объяснения тому и, не догадываясь об истинных причинах, почему крестьянство не поднялось, да и не могло подняться на революцию, в полном соответствии со своей концепцией истории дают чисто просветительское, идеалистическое объяснение пассивности народных масс. «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен: это, конечно, не его вина, но это

— так, и какой бы то ни было инициативы с его стороны страшно ожидать» (96), — утверждает теперь Зайцев.

Это не значит, что Варфоломей Зайцев ревизует свой прежний взгляд на то, что «не поэты и не ученые открывают человечеству новые пути, а люди с грубыми руками, дымящие кнастером». Чтобы понять взгляд Зайцева на народ, полезно вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, который писал в одном из писем: «...В слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкных, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием».

Считая себя защитником интересов народа, представляющего собой «идею демократизма», Зайцев, как и Писарев, спорит с идеализацией «народа исторического» — русского крестьянства шестидесятых годов. Его идеал — народ, подготовленный обстоятельствами к протесту, к борьбе.

И в эмиграции, в семидесятых годах, Зайцев снова и снова будет мучительно размышлять о миллионах народных масс, задавленных вековечным рабством: «Давно уже переполнилась всякая мера их страданий, но не переполнилась мера их терпения».

Факт этот настолько трагически воспринимался Зайцевым, что летом 1863 года, в минуту крайнего разочарования в революционных возможностях народа, он даже задавал такой вопрос: «...Если признана необходимость навязывать насильно народу образование, то я не могу понять, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями может... мешать признать необходимость насильственного дарования ему другого блага, столь же необходимого, как образование, и без которого последнее невозможно, — свободы» (96).

Однако это высказывание, в котором чувствуется влияние бланкистских, «заговорщицких» идей, столь популярных в кругу «Молодой России», не характерно для взглядов Зайцева в целом.

Раз «народ... не может по неразвитию поступить сообразно со своими выгодами» — значит, дело в том, чтобы помочь народу получить это развитие, значит, главная задача времени — умственное и нравственное воспитание народа — вот главное направление его размышлений.

В этом суть теории «реализма», выдвинутого публицистами «Русского слова» в середине шестидесятых годов.

У нас долгое время противопоставлялись теория «реализма» и идея крестьянской революционности. В действительности для просветителей, видевших залогом революции в уровне умственного развития масс, теория «реализма», включавшая в себя распространение знаний, пропаганду материализма и утилитаризма, умственную и нравственную эмансипацию личности, не только не противостояла революции, но, напротив, готовила ее.

Изменение исторических условий неизбежно повлекло за собой перестановку акцентов: не подготовка немедленного революционного взрыва, но длительная, методическая, последовательная работа по пропаганде знаний,

по выработке новой нравственности, революционного мирозерцания — вот та задача, которую приняли на себя публицисты «Русского слова» в 1863–1866 годах.

Что бы ни писал Зайцев в эти годы: рецензии на естественнонаучные книги философские трактаты, статьи о произведениях литературы, исторические, этические и эстетические исследования, — все было подчинено единой цели — умственной эмансипации читателей, революционному воспитанию их.

Развивал ли Зайцев в своих статьях излюбленную концепцию нравственности шестидесятников — теорию «разумного эгоизма», пропагандировал ли естественнонаучные познания и идеи материализма, он стремился к тому же: к выработке в людях «реального», отрицательного, революционного взгляда на существующий порядок вещей. Как и Писарев, он стремился будить мысль, учить людей думать. Каждой статьей он стремился помогать людям в выработке истинных убеждений.

Но какая связь между идеями революции и «эмансипацией личности»? Какая связь между Мошоттом, Даренном и освобождением человечества от гнета деспотизма и эксплуататорства? И не странно ли, что одной из самых серьезных акций «Первой вольной русской типографии» было, к примеру, нелегальное издание сочинения Бюхнера «Сила и материя»? По свидетельству Степняка-Кравчинского в его «Подпольной России», издание это «имело огромный успех. Книга читалась тайком, несмотря на риск, с которым это было сопряжено, и разошлась в тысячах экземпляров». Подпольная революционная организация распространяла сочинения Бюхнера, о котором сегодня мы скажем (и справедливо скажем): вульгарный материалист. Какой в этом смысл?

А смысл был. И немалый. Пропаганда естественнонаучных, материалистических знаний подрывала религиозный фундамент официальной нравственности. Она вырабатывала в молодом поколении «реальный», «позитивный», материалистический взгляд на мир. Она учила молодежь мыслить, постигать истину взаимоотношений личности и общества или, как говорили в ту пору, человека и среды. Она должна была, по замыслу шестидесятников, помочь человеку в понимании того, что его природа противоречит тем бесчеловечным условиям существования, в которых он живет.

Если систематизировать книги, которые рецензировал, о которых писал Зайцев (а круг интересов его в «Библиографическом листке» почти полностью обнимал издания передовых, демократических издательств шестидесятых годов), то окажется, что в поле его зрения — несколько литературно-общественных пластов. Это, во-первых, книги материалистов естествоиспытателей того времени. Это, во-вторых, работы современных ему историков и социологов. Это, в-третьих, исследования, посвященные непосредственно историям революций («История Крестьянской войны в Германии» В. Циммермана; «История Нидерландской революции» Д. Мотеля; «Общая история Италии» Д. Сорна). Это, наконец, художественная литература, осмысляемая критиком под строго определенным, революционно-демократическим углом зрения (статьи о Некрасове, Гейне и Берне,

выступления по поводу «антинигилистического» романа и т. д.). В целом все эти достаточно отчетливые направления критической деятельности Зайцева воссоздают объемную, целостную картину того, что он понимал под «новым», «передовым» направлением идей. Фундаментом этого направления идей в его представлении был материализм, «реальный» взгляд на мир; цель его — «отрицательное», критическое, революционное отношение к современному обществу. В этом-то и заключалась суть того интереснейшего явления в истории русского освободительного движения, которое именовалось нигилизмом шестидесятых годов.

### **«НИГИЛИСТ, И МАЛО ДАЕТ НАДЕЖД К ИСПРАВЛЕНИЮ»**

Маститый царский сановник барон Дельвиг, управляющий железными дорогами Российской империи, рассказывает в своих воспоминаниях, как был однажды разбужен в четвертом часу ночи одной великосветской дамой, которая неотступно требовала немедленного разговора с ним. Оказалось, что это была жена начальника акцизного управления Тамбовской губернии госпожа Делагарди, которая неистово кричала, что у нее украли дочь, и просила помощи.

Барон Дельвиг с трудом успокоил нежданную гостью и выяснил, что Делагарди (по первому мужу — Ножина) получила из Тамбова телеграмму, будто дочь ее похищена родным братом, старшим сыном госпожи Делагарди, известным нигилистом Ножиным, который увез ее вместо с другим, неизвестным ей молодым человеком, и что следует принять немедленные меры к задержанию беглецов.

Меры были приняты экстраординарные и оперативные: по всем железнодорожным станциям были даны телеграммы о приметах «злоумышленников» и приказ об аресте их. Делагарди, муж и жена, находились на петербургской станции Николаевской железной дороги при каждом прибытии поездов. На третий день, по приходе вечернего поезда из Москвы, Ножина-Делагарди увидела на станции собаку, принадлежавшую, как ей показалось, ее дочери.

Когда спросили молодого человека, имевшего подорожную на имя известного поэта Курочкина, где он взял собаку, он ответил, что ему дал ее кто-то по дороге, с тем чтобы он ее передал какому-то господину, с которым в известном часу встретится на Аничковом мосту. По получении сведений о месте его жительства полиция отправилась в занимаемую его матерью квартиру, где узнала от прислуги, что Ножин привозил какую-то девушку, повязанную платком, которую хозяйка квартиры немедля отвезла неизвестно куда в наемной карете... Этот дом был окружен тайными агентами полиции. Мать молодого человека (им был Варфоломей Зайцев), приехавшая на другой день домой, была немедленно отведена в полицию. «Между тем, — рассказывает Дельвиг, — Ножин явился в этот день утром к своей матери, уговаривал ее прекратить напрасные поиски за его сестрою, которую он намерен отвезти в Швейцарию, где она сделается полезным членом общества. Он полагал своим долгом вырвать ее из той среды, в которую, по его мнению, воспитание матери ввергло его старших сестер, не приносящих никакой пользы

человечеству...» Ножин не назвал адреса сестры; мать же Зайцева сказала, что отвезла ее на Морскую, но номера дома не помнит. «Поздно вечером... дама возила по обеим Морским улицам полицейского офицера, уверяя, что не может отыскать дом... Офицер свистнул, и на его свисток сбежалось много дворников, по расспросу которых оказалось, что накануне эта дама с девицею вошла в один из домов на Большой Морской, а вышла одна...»

В этом приключении, отмечает Дельвиг, Ножин выказал недурной конспираторский талант: первые станции перед Рязанью, Москвой и Петербургом он ехал не по железной дороге, а на лошадях. На нескольких станциях он получал телеграммы, которые читал вслух. «В них сообщалось о всех поисках, делаемых его матерью и отчимом, и о моих распоряжениях. Это доказывает, что Ножин имел сообщников между телеграфистами, и поэтому ошибаются те, которые полагают, что в то время нигилистическое направление было бессильно».

История похищения Ножиным с помощью Варфоломея Зайцева родной сестры дала повод реакционной партии немало позлословить о «безнравственности» нигилистов, о падении нравов в их среде. Был распушен слух, будто девушку похитили насильно, в одном платье, а дорогой, по словам Дельвига, «стращали, что, если она где бы то ни было скажет, что ее везут насильно, они будут вынуждены прибегнуть к самым ужасным мерам». III отделение немедленно вмешалось в эту, казалось бы, чисто бытовую историю. Зайцев и его мать были арестованы и провели некоторое время в тюрьме. Было заведено дело в III отделении «Об увозе студентом Ножиным своей сестры». Ножин был подвергнут суду.

Для нас эта история интересна тем, что помогает глубже почувствовать характер и дух так называемого нигилизма шестидесятых годов.

Прежде всего неверна версия о насильственном увозе Ножиным своей сестры. На допросах в комиссии Муравьева Варфоломей Зайцев так рассказывал об этой истории: «Участие мое в отъезде сестры Н. Д. Ножина с братом от родителей состояло в том, что я сопровождал его из Москвы в Тамбов и обратно его с сестрой, причем при отъезде их с дачи, где жило семейство Ножиных, я доставил им почтовых лошадей... По словам его, я считал все это дело совершенно невинным, потому что сестра его сама желала уехать из дому, о чем она мне потом сама говорила дорогой. И Ножин и сестра его говорили мне, что родители, наверно, простят ей и ему ее самовольный отъезд из дому и дадут позволение жить в Петербурге с братом. Кроме меня, об отъезде девицы Ножиной от родителей знал только знакомый нам дворянин Александр Залесский».

Действительно, сестра Ножина уезжала с братом сама, по добровольному согласию, искренне сочувствуя идеям брата и тяжело переживая деспотический гнет семьи. Поводом для столь решительных действий брата и сестры Ножиных было решение родителей выдать свою дочь против ее воли за сына тамбовского губернатора Данзаса. Драматические события в семье Делагарди (так же, как несколько раньше в семье Зайцевых) еще один красноречивый

пример тому, с какой резкостью обозначился в переломные шестидесятые годы нравственный конфликт «отцов и детей».

Обвинение в безнравственности, которое, в частности, на этом примере возводилось па нигилистов, было одним из самых распространенных. Говорили об их холодном эгоизме, низком материализме, о разрушении духовных основ человеческой личности. Nihil — ничто. Нигилист — человек, отрицающий все: законы, бога, мораль и нравственность.

Нигилизм шестидесятых годов и в самом деле был вызовом старозаветным правопорядкам того времени, отрицанием общепринятой нравственности. Это ощущалось даже во внешности: стриженные волосы девиц, синие очки и пледы юношей, несколько вызывающая манера держаться и одеваться, так точно воспроизведенная Тургеневым в характере Базарова, — во всем этом проявлялся протест против иерархии отцов, против деспотизма, официальной нравственности. Это проявлялось в ниспровержении авторитетов, в ненависти к догмам в сфере мышления, в том культе знания, могущества человеческой мысли, которым столь явственно отмечено время Зайцева и Писарева.

Движение нигилизма являло собой духовный бунт передовой молодежи шестидесятых годов против идейного и нравственного деспотизма «ветхого» крепостнического общества. Бунт во имя новой, революционной нравственности.

Варфоломей Зайцев являл собой, быть может, наиболее законченный и последовательный тип нигилиста шестидесятых годов. А. Христофоров прав: он и в самом деле был «одним из основателей» этой «литературно-реалистической школы».

«Нигилист, и мало дает надежд к исправлению», — так аттестовал Зайцева санкт-петербургский обер-полицмейстер.

Ни Чернышевского, ни Добролюбова, ни Герцена, ни Щедрина нигилистами в прямом смысле этого слова не назовешь, хотя кличка нигилист, пущенная в обиход Тургеневым, должна была в толковании Каткова обозначать все революционно-демократические направления идей. Исторически сложилось так, что понятие нигилизма неразрывно срослось именно с «Русским словом», хотя толковалось расширительно.

«Слово нигилизм получило право гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордо принятый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни...» — писал в книге «Подпольная Россия» С. Степняк-Кравчинский. Суть нигилизма Степняк-Кравчинский видел в борьбе «за освобождение мысли от уз всякого рода традиций, шедшей рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства... Это было отрицание во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией. Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в ее частной, интимной жизни».

По словам Степняка-Кравчинского, борьба за умственное и нравственное раскрепощение велась прежде всего на почве религии. Целая фаланга молодых



пропагандистов материализма, естественных наук и «положительной философии» двинулась на приступ полуразрушенного здания христианства. Они были вооружены новейшими достижениями естествознания и цельной нравственной теорией, получившей название «разумного эгоизма». Но сторонников этой нравственной теории меньше всего следует считать эгоистами в общепринятом значении слова.

«Однажды мне в руки попало письмо В. Зайцева, одного из сотрудников «Русского слова», бывшего главным органом старого нигилизма, — свидетельствует Степняк-Кравчинский. — В этом письме, предназначавшемся для подпольной печати, автор, говоря о своей эпохе и обвинениях, выставляемых нынешними нигилистами (речь идет о революционных народниках 70-х г. — Ф. К.) против нигилистов того времени, пишет: «Клянусь вам всем святым, что мы не были эгоистами, как вы нас называете. Это была ошибка — согласен, — но мы были глубоко убеждены в том, что боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина».

Столь яростного воодушевления, с которым публицисты «Русского слова» вели пропаганду естествознания и «положительной», «реальной» философии, столь пристального внимания к проблемам духовного, нравственного раскрепощения личности вы не встретите на страницах «Современника» Чернышевского и Добролюбова. Другие вопросы жизни стояли там во главе угла. И вместе с тем в своих позициях эти два демократических журнала не только не противостояли, но дополняли и поддерживали друг друга. Н. Шелгунов был прав, когда писал в «Воспоминаниях»: «Русское слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник». Если «Современник» говорил преимущественно о новых мехах, то «Русское слово» говорило о новом вине, которое должно их наполнить. Но как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к «Современнику».

Свою главную революционную задачу Зайцев и его товарищи по журналу видели в нравственном раскрепощении человека, в пробуждении мысли, в выработке «реального», то есть отрицательного, отношения к существующему порядку вещей. Существовала органическая связь между их мечтой о народной революции и той колоссальной работой по расшатыванию духовных, бытовых, нравственных устоев крепостнического общества, которую они вели. Это-то и делало их вождями молодого поколения второй половины шестидесятых годов.

О результатах подобной работы (ее вели, конечно, далеко не только Зайцев, но и целая плеяда публицистов и критиков того времени) можно судить хотя бы по дневникам рядового, ничем не примечательного современника Зайцева —

студента Московского университета Сергея Торчилло (дневники эти хранятся в фондах ЦГАОРа).

Торчилло — рядовой студент Московского университета шестидесятых годов. Его участие в революционной борьбе ограничивалось тем, что, будучи дружен с Освальдом, революционно настроенным студентом Московского университета, он выполнял роль связного: по поручению некоей Л. Ф. передавал записки находящемуся в заключении Аргиропуло от Ященко и Сулина, вынес тайком из части, где сидел Освальд, прокламацию офицеров Варшавского комитета к товарищам по армии и т. д.

Однако дневник Торчилло интересен не только этими подробностями. Он интересен еще и тем, что дает нам представление о тех духовных процессах, которые под влиянием революционно-демократической пропаганды шли в умах молодежи шестидесятых годов.

Любопытно, что любимым журналом Торчилло было «Русское слово». В дневнике все время встречаются ссылки на те или иные статьи журнала или даже конспекты некоторых из них. Например: «Читал... Библиографический листок» в «Русском слове». Рецензия на стихотворения Лермонтова очень хороша и дельна. Это уже не то, что говорилось в том же «Р. С.» о Минаеве.

Или: «Вечером читал я «Русское слово». Хороша статья о революции В. Попова. Личность Робеспьера очерчена особенно хорошо: Максимильтян Робеспьер... отличался строгостью нравов и неподкупной честностью».

Далее следует подробнейшее переложение статьи с пространными выписками, и как итог в мысленном споре с вполне почтенным и благонамеренным родственником: «Вот каковы были почтеннейший Р. Н. Мара (Марат. — Ф. К.) и Робеспьер, а не такие, какими вы представляете их...»

Дневник Торчилло полон внутренней полемики со всем тем, что Писарев именует «ветхим мирозерцанием», с «ветхими» людьми, которые окружают юношу прежде всего в собственной семье.

«Долой пошлые уроки практической мудрости и требования жизни, если они идут в разлад с требованиями чувства!.. — записывает Торчилло. — Человек прежде всего должен быть человеком, а потом уже благоразумником, ученым, студентом, либералом, нигилистом — словом, чем хотите!» Он не хочет походить на современных ему «пигмеев нравственности,...которые жужжат о долге, об обязанностях... о *карьере*. Подлейшее, глупейшее слово! *Карьера* предполагает всегда *спиногнутие*, подлость, взяточничество, отсутствие человеческого достоинства!!! И весь век подличать — когда нет ничего за гробом... Когда за это страшное мучение, за эти нравственные пытки — нет тебе никакой награды...»

Еще одна столь же красноречивая запись:

«Поспорил с Д. о молодом и старом поколении... Он сказал, что человек, которому стукнуло за 30 лет, уже отстал от современного движения по самой природе своей... А Бокль? а Дж. Ст. Милль? а Бюхнер? а Фейербах? А у нас в России: Чернышевский? Некрасов? Салтыков?... Попробую самому себе задать вопрос, что такое старое и молодое поколение? В каждом веке в человечестве

являются новые идеи, новый взгляд на известные предметы или отношения людей.

Всегда появление такой идеи или взгляда ставит черту между людьми, следующими новому, и людьми, отстаивающими старое... Между людьми движения, прогресса и людьми застоя, регресса. Итак, *всех людей, воспринимающих новое* (большинство которых молодые люди), я называю *молодым поколением*. Всех людей, отстаивающих старое (которых большинство старики и пожилые), я называю *старым поколением*, Катков, Леонтьев, Краевский и т. п. — все эти господа — люди *старого поколения*... Видно, за живое задела их современность!!! Ведь если нападение слабо, неопасно, нечувствительно — на него не обращают внимания!.. Степень ярости и раздражения защищающегося всегда определяется степенью силы нападения... Какая же громадная, дающая всюду себе известность сила заключается во всеобщем восстании современности на средневековые предрассудки и нелепые суеверия, если так велика раздражительность духовенства!!! В этой всеобъемлющей борьбе нового со старым, разума с рутинной, здравого смысла со схоластикой так много потрясающего драматизма, что посторонним лицом, зрителем, хладнокровным судьей оставаться невозможно... Нет человека, который не напал бы или не защищал бы современности... Все проснулось... все заговорило — и духовенство, и дворянство, и ученые, и литераторы, и Марья Николаевна, и все, и вся...

Каков будет исход этой борьбы, нам не узнать... Останется ли победа на стороне света, попадет ли она в руки сил темных, неподобных — об этом будут знать лишь наши внуки».

Видите, и Бокль, и Дж. Ст. Милль, и Бюхнер, и Фейербах, а в России — Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин в равной степени воспринимаются юношей как представители «нового поколения». Идеи этих людей, новые идеи того времени, разбудили в душе юноши нравственный протест против средневековых предрассудков и нелепых суеверий, против рутинной и схоластики, против «практической мудрости» официальной мещанской морали, стремление к умственной и нравственной независимости, к человеческому достоинству, благородству убеждений и поведения. Какой неожиданный нравственный итог дает его атеизм, его вывод о том, что бога нет: «И весь век подличать — когда нет ничего за гробом...» Нет, он не хочет «подличать», он стремится к жизни честной, высоконравственной, наполненной подлинным, настоящим смыслом. Такая душевная настроенность, то направление его размышлений и чувствований, которое сообщила ему демократическая литература, неминуемо подводит юношу к выводу, что только там, в рядах «нового поколения», среди бойцов за новую жизнь его место.

«Впечатление, вынесенное мною из чтения романа «Что делать?», — записывает он, — очень схоже с впечатлением, которое производили на меня разговоры с Освальдом... знакомство с Аргиропуловым... Иной раз Освальд невольно заставлял меня улыбнуться... то же с романом Чернышевского. Слишком уж сильная, горячая и, пожалуй, наивная вера в лучшее будущее... Но в то же время, знакомясь с Рахметовым, Лопуховым, Кирсановым,

Аргиропуловым, Освальдом, — сознаешь ясно, что есть другая жизнь, другая среда, другие люди, чувствуешь, что хорошо жить этой жизнью, в этой среде, с этими людьми».

Через «эмансипацию личности», через борьбу с духовным и идейным крепостничеством, через преодоление религиозной и мещанской нравственности шея этот юноша шестидесятых годов, типичный нигилист и «мыслящий реалист», к осознанию высокого человеческого смысла революционной борьбы.

Но что означают его слова о вызывающей улыбку «слишком уж наивной» вере в лучшее будущее, свойственной роману Чернышевского, а также Аргиропулову, Освальду?... Вполне сочувствуя их «отрицанию» существующего правопорядка, Торчилло сомневается в осуществимости их положительных, социалистических идеалов. Почему? Да потому, что «они хлопчут об уничтожении в человечестве эгоизма, что *немыслимо*. Человек как был эгоистом, так вечно им и останется. Эгоизм, несмотря на все хитросплетения... всегда был и будет могущественным рычагом всякой цивилизации». И вдобавок Торчилло не сочувствует социалистическим идеалам, потому что считает, будто при социализме «личность будет совершенно поглощена общиной. Она будет *подчинена* обществу. Все ее склонности и способности будут связаны. А что может быть выше для человека, как не его индивидуальная особенность, как не его право на самостоятельную, не зависимую ни от кого деятельность?» как проявление человеческого «я», человеческой индивидуальности, с высокими идеалами социализма, общества человеческой солидарности?



**Г. Е. Благовестлов. 1860-е годы.**

1.

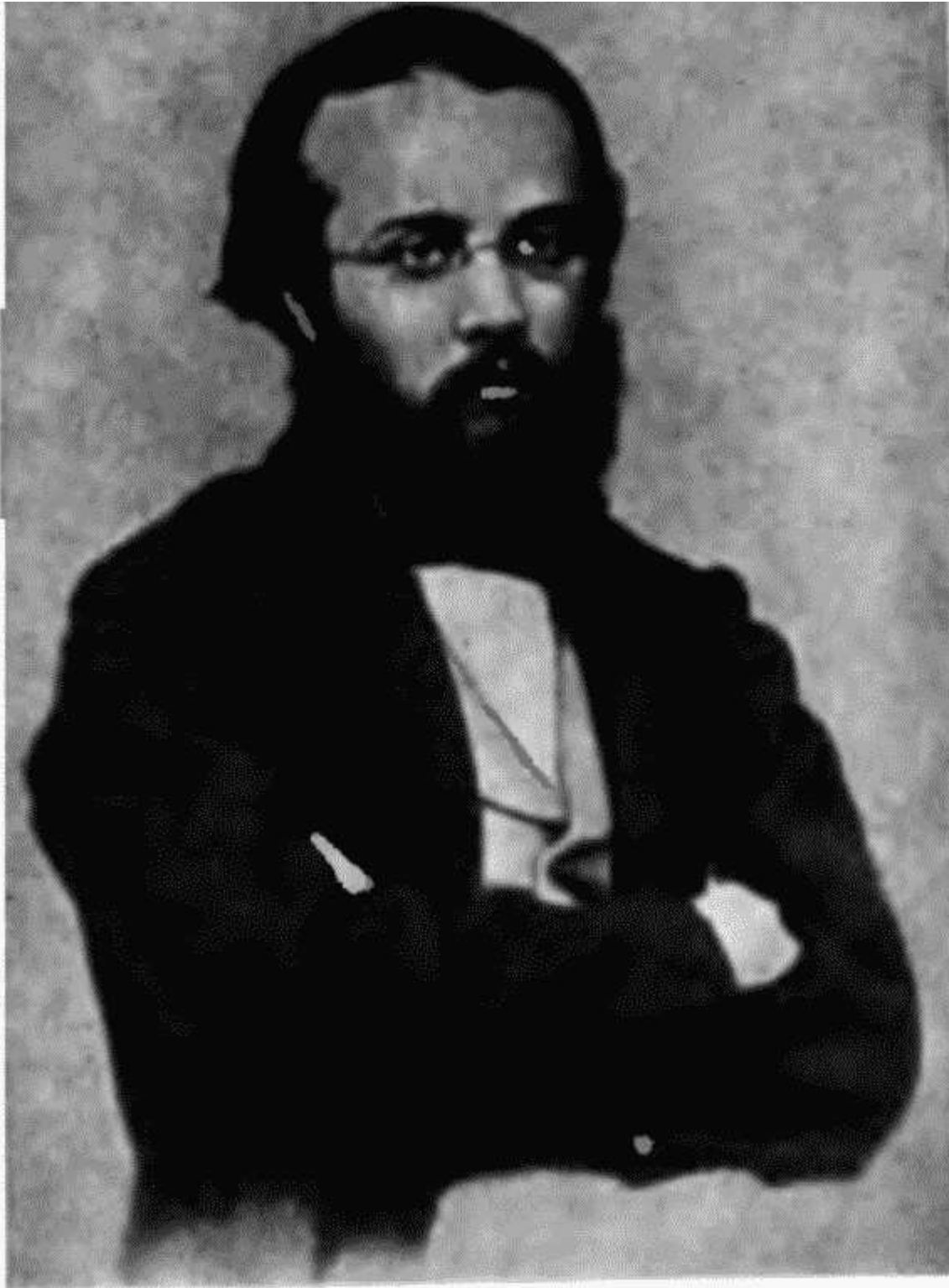
Вопросы нашего времени

3-й выпуск  
Публикация по распоряжению НСР. 2-й выпуск

4

Человек не может жить и существовать без общения с другими людьми. Это общение является основой его жизни, его существования. Оно определяет его развитие, его судьбу. Оно является источником его сил, его энергии. Оно является основой его культуры, его искусства. Оно является основой его нравственности, его морали. Оно является основой его философии, его религии. Оно является основой его истории, его культуры. Оно является основой его личности, его индивидуальности. Оно является основой его свободы, его независимости. Оно является основой его счастья, его благополучия. Оно является основой его жизни, его существования.

Первая страница рукописи статьи Г. Е. Благосветлова «Вопросы нашего времени».



**Д. Д. Минаев. 1860-е годы.**



**Д. И. Писарев.**

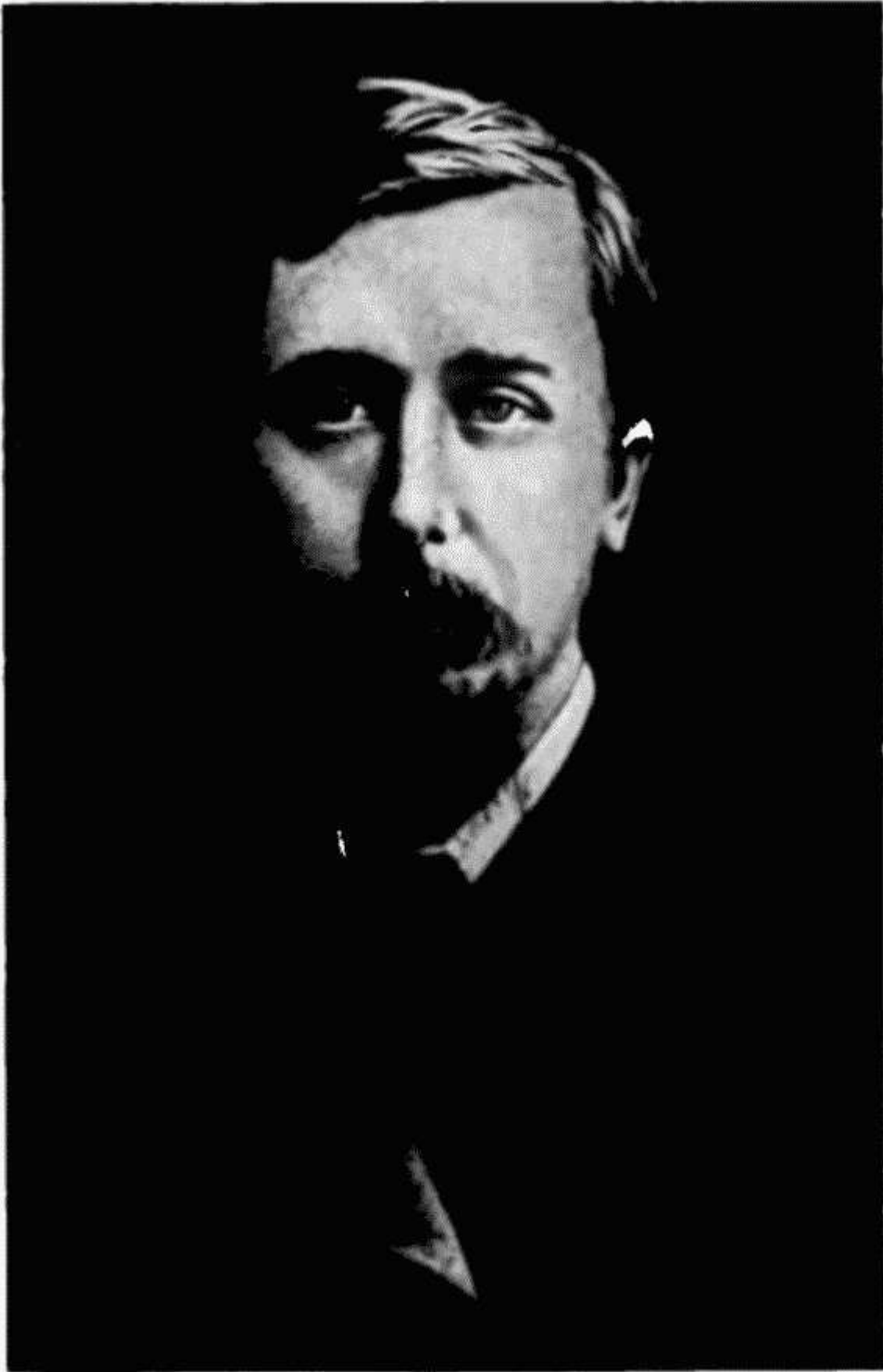




**Н. Г Чернышевский.**



**Н. А. Добролюбов.**



**В. А. Зайцев. 1860-е годы.**

# РУССКОЕ СЛОВО

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ  
ЖУРНАЛЪ.

ГОДЪ ПЯТЫЙ

1863

---

ФЕВРАЛЬ

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.  
ВЪ ТИПОГРАФИИ РИММА И КОМП.

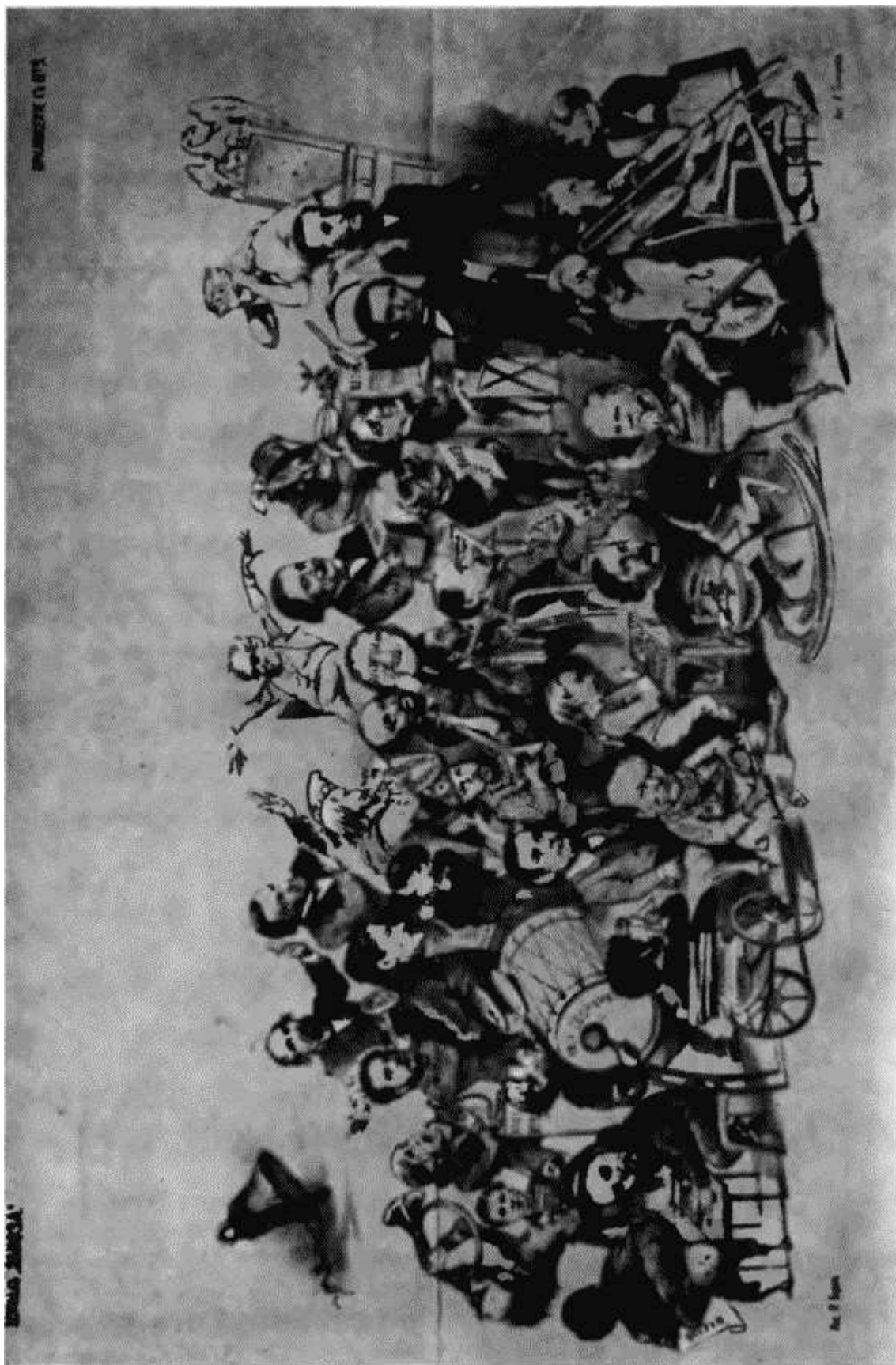
—  
1863.

**Обложка журнала «Русское слово».**





**П. Н. Ткачев. 1860-е годы.**



Карикатура из журнала «Звезда», 1863 г., № 9. Г. Е. Благосветлов (в центре) играет на гармонии.

**Д Т Л О**

**ЖУРНАЛЬ**

**УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.**

**№ 1.**



**САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1886.**

**ВЪ ТИПОГРАФИИ ПУШКИНА И КОМП. ВЪ БОРШЕВОЙ УЛ., № 7.**

Обложка журнала «Дело»,



# ЛУЧЪ.

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СБОРНИКЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

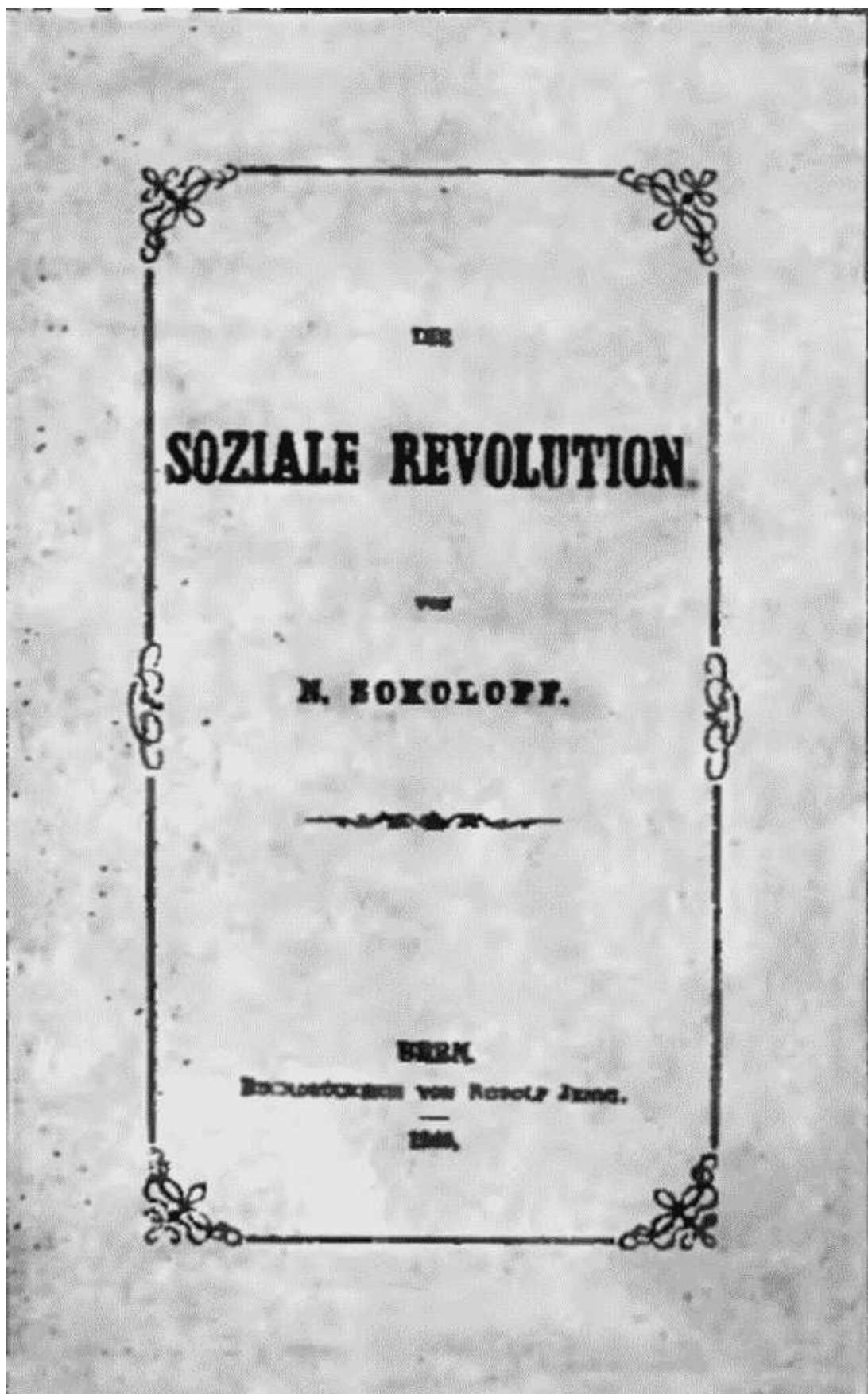
ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФИЯ РЕШЕНА И КОМП., (ВЪ ВОСОВОЙ ДЛ., Д. ВОРОШИНА № 7.)

1860.

Обложка сборника «Луч».





Обложка книги Н. В. Соколова «Социальная революция».



**Н. В. Соколов. 1860-е годы.**



**В. А. Зайцева. 1860-е годы.**



**В. И. Писарева. 1860-е годы.**



**В. А. Зайцев с дочерью Марией. 1870-е годы.**



**А. И. Герцен.**  
**В. А. Зайцев. Начало 1880-х годов,**







Ответом на этот вопрос — а он, пример тому дневник Торчилло, интересовал в ту пору многих — была теория «разумного эгоизма», выдвинутая революционными демократами как программа новой, положительной нравственности. Истоки этой теории мы находим у Герцена в его словах о том, что эгоизм сливается «с высшей гуманностью» у человека образованного, в его утверждении: «Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден, он-то и есть его любовь к науке, к искусству, к ближнему... и проч.». Теория «разумного эгоизма» легла в основу романа Чернышевского «Что делать?». Она получила законченную разработку и была поставлена во главу угла «реалистического» мирозерцания в статьях Писарева и Зайцева.

Мораль «разумного эгоизма» Зайцев противопоставлял нравственности крепостников-эксплуататоров. «Единственная цель человека — счастье» (348), — утверждает Зайцев. Но беда человечества в том, что люди не понимают, в чем суть личного счастья. Большинство людей еще до того неразвито, что потребности их крайне ограничены и способность наслаждаться необыкновенно узка. «Для большинства счастье состоит еще только в удовлетворении самым грубым животным желанием; идея счастья сводится к тому, чтобы сладко есть и мягко спать» (349). Идеал счастья разумного, развитого человека, исповедующего не животный, не мещанский, но «разумный эгоизм», — качественно иной. «Разумный эгоист понимает, что условием его личного счастья является счастье всех других членов общества». Вот почему необходимо развивать в людях «то чувство и то понимание, которое утилитаризм признает безусловно необходимым для счастья всех вообще и каждого в частности. Это есть чувство и понимание своей солидарности с обществом, гуманность, симпатия к людям; это чувство и понимание неразрывной связи между своим личным счастьем и счастьем других» (356).

В борьбе за счастье других — высшее счастье нравственно развитой личности. Для эпохи шестидесятых годов это была мораль революционная. Она заключала в себе нравственное обоснование идеи социализма как единственного строя, где сливается воедино личный и общественный интерес.

Впоследствии Зайцев поймет, что нравственная теория «разумного эгоизма» была очень несовершенной, «мечтательной», что она несла на себе печать ограниченности эпохи. «Мораль есть выражение известного общественного строя. Новый строй, который должен заменить разрушаемый старый, существует пока только в теории; породить новую мораль он еще не может; логикой мы можем заранее угадать черты этой новой морали в том виде, как она должна вытекать из известных нам в теории новых социальных основ», — писал он в статье «Новая нравственность» в 1881 году.

Теория «разумного эгоизма», которую он со страстью пропагандировал в шестидесятые годы, и являла собой попытку с помощью «логики» угадать черты новой морали, исходя из «теории новых социальных основ».

И тем не менее, несмотря на свою идеалистичность и ограниченность, мораль «разумного эгоизма» помогала демократам-шестидесятникам в

достижении их цели: воспитания «мыслящих пролетариев», убежденных, бескорыстных, самоотверженных революционеров-борцов. Гуманистический смысл этой морали, в понимании Зайцева, заключался в том, что «человек, следующий учению утилитаризма, может совершать высочайшие подвиги самоотвержения и самопожертвования, являться в глазах всех благодетелем общества, добровольно идти за благо других на страдания и изумлять самых строгих стойков величиим приносимых им жертв» (358).

Жизнью своей, судьбой своей Варфоломей Зайцев и другие революционеры шестидесятых годов доказали справедливость этих слов.

### **«РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ»**

И еще одна чрезвычайно характерная особенность мировоззрения Зайцева, накладывающая совершенно особую печать на все его творчество: он был нигилистом не только в общественных вопросах, он был неукротимым нигилистом, отрицателем и в вопросах искусства. И если нигилизм Зайцева в отношении современного ему общественного правопорядка составлял его силу, то нигилизм в искусстве и литературе составлял его слабость.

Пожалуй, никто в эпоху шестидесятых годов, да и в последующее время не заходил в отрицании искусства так далеко, как Варфоломей Зайцев. Прямолинейность его суждений в отношении литературы и искусства приобрела печальную известность и была в свое время притчей во языцах. «Пора понять, — говорил он, — что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько положительное число, как бы мало ни было, больше нуля».

Итак, перед нами уникальное, исключительное явление: литературный критик, отрицающий свой предмет — поэзию?

Не совсем так. «Разумеется, речь идет о служителях чистой поэзии, гнушающейся служить какому-нибудь практическому делу», — оговаривался он. И тут же зачислял в число служителей «чистой поэзии» не только, к примеру, Фета, но и Пушкина, Лермонтова, Шекспира.

Конечно же, литературная деятельность Зайцева не сводилась к уничтожению Шекспира и дискредитации Пушкина. Варфоломей Зайцев считал себя последователем Чернышевского и Добролюбова. И был им, когда воевал с «искусством для искусства», когда преследовал «катковствующую литературу», клеветавшую на революционно-демократическое движение в печально известных «антинигилистических» романах, когда защищал творчество таких писателей, как Генрих Гейне или Некрасов.

Вслед за Чернышевским и Писаревым он ратовал за гражданское служение литературы народу и обществу. «Покуда искусство рассматривают как средство, до тех пор занятие им разумно... Но в том-то и дело, что современные поклонники искусства превращают и его и самих себя в мумии, проповедуя искусство для искусства и делая его не средством, а целью» (172).

Когда критик отстаивает «честную, свежую мысль» в литературе, когда он бичует ложь, фальшь, неправду «искусства для искусства», ему сопутствует успех. Лучшие критические статьи Варфоломея Зайцева, сохранившие значение и в нашу пору, — «Стихотворения Н. Некрасова», «Гейне и Берне»,

«Взбаламученный романист» и другие — свидетельствуют о большом таланте литературного критика «Русского слова», о верности многих его исходных позиций. С блеском и безукоризненной точностью эстетического анализа обнажал он внутреннюю фальшь «Взбаламученного моря» Писемского. Раскрыв никчемную суть героев романа, которых автор выдает за представителей «молодого поколения», Зайцев делает уничтожающий вывод: «Вы на тень свою злитесь, принимая ее за нигилиста. Неужели вы думаете, что ваш Проскриптский, ваш Сабакеев, ваш Галкин — представители нашей молодежи? Жаль мне вас, г. Писемский; вас грубым и недостойным образом обманули. Вам показали жалких шутов вашего же... времени, а вы не узнали, что это ваше же отражение. Зеркало вы приняли за картину. Лакея, корчащего из себя господина в его отсутствие, вы приняли за барина и злитесь, горячитесь, выходите из себя» (150–151).

В. Зайцев был очень сильный и точный полемист, настоящий журнальный боец. Его «Перлы и алмазы русской журналистики», сатирические обзоры отечественной периодики полны остроумия, яда, желчи в адрес «гасителей» и «усыпителей». Неотразимы по убедительности такие его работы, как «Славянофилы победили», где он так прокомментировал эволюцию русского славянофильства: «Подумайте-ка, во что вы превратились? Что вы сделали с той крупницей порядочности, которая была у вас некогда? Назовите хотя один из тех вопросов, который поднимали, решали и которым так кичились четыре года тому назад, от которого вы бы не отступились с ужасом и отвращением теперь» (256), — говорил Зайцев славянофилам. В литературных боях раскрылись со всей очевидностью незаурядный критический талант Зайцева, острота его мысли, афористичность и лаконизм языка, утонченность его сарказма. К сожалению, литературно-критическая деятельность Зайцева далеко не во всем была на уровне его таланта; она изобиловала парадоксальными ошибками и даже нелепостями, на пей лежали пути неверных эстетических воззрений, угнетавших живую критическую мысль.

Впрочем, сам Зайцев, как мог, отрекся от титула литературного критика. Более того, он даже Добролюбова (в противоположность Белинскому) называл не критиком, но «публицистом и сатириком», мотивируя это тем, что вождь «Современника» в своих статьях судил не столько о литературе, сколько «по литературе об обществе».

Зайцев был наиболее последовательным и неумолимым «разрушителем эстетики» в пору шестидесятых годов. В этой своей крайности он заходил куда дальше Писарева, а главное — опережал его. Хотя Зайцев и провозглашал себя последователем Чернышевского и Добролюбова, именно в вопросах эстетики он отошел от своих учителей особенно далеко.

Уже в июньской книжке «Русского слова» за 1883 год, задолго до Писарева, он «развенчал» поэзию

Лермонтова и отчасти Пушкина за «непоследовательность идей и образов», за «мелочность содержания». Да и «как же предполагать, — спрашивал он, — что те условия, в которых находился Лермонтов со дня рождения до смерти,

условия, искажившие целое поколение его современников, могли развить в нем понятия, диаметрально противоположные всему нашему обществу?» (54).

В январской книжке «Русского слова» за 1864 год, в статье «Белинский и Добролюбов», опередив Писарева, он высказал упрек Белинскому за «эстетические принципы» его критики. Считая Белинского «основателем того направления, которого представителем был Добролюбов», он тем не менее не может принять у Белинского защиты «художественности», его утверждения, что «искусство прежде всего должно быть искусством», что «без искусства никакое направление гроша не стоит» (179).

Писареву, также грешившему порой прямолинейностью в подходе к явлениям искусства, то и дело приходилось спорить с Зайцевым — то по поводу оценки Печорина, то по поводу отношения к Гейне. В. Кирпотин утверждал, будто в своем походе на искусство Зайцев повторяет аргументацию Писарева. В действительности ситуация была скорее обратная: Зайцев нередко предвосхищал и опережал в этом Писарева. В статье «Реалисты» Писарев заявлял, что если бы он поговорил с Добролюбовым, то «доказал бы ему, что хоть он и реалист, но не новейший; если бы... со мною самим побеседовал бы таким же образом г. Зайцев, пожалуй, оказалось бы, что и я не совсем еще совлек эстетические одежды «ветхого человека», так как, кроме «Отцов и детей», признаю еще и Шекспира».

И в самом деле, в рецензии на пьесы Эсхила Зайцев утверждал, что не только Эсхил, но и Мольер, Шекспир, Шиллер «не приносят никакой пользы». Он отрицал в принципе как бесполезные театр, живопись, музыку, балет — все роды искусства, кроме литературы, и даже считал их вредными. Почему? Да потому, говорил Зайцев, что содержат-то все эти бесполезные искусства трудящиеся классы. Он готов допустить существование искусства в обществе, где нет эксплуататоров и эксплуатируемых, где вопрос о хлебе насущном уже решен. В противном случае искусство всегда «привилегия одного сословия» — «кучки сытых людей, которым приятно возвысить свою душу художественными произведениями в то время, когда большинство народонаселения отдает все свое время и весь свой труд суровой и мозольной деятельности текущего дня» (313).

В этом ригоризме и антиэстетизме Зайцева много общего с английским революционным пуританизмом — не случайно он свидетельствует свое «величайшее уважение» к пуританам, запиравшим когда-то театры и бичевавшим актеров.

В чем истоки антиэстетизма Зайцева? В его утилитаризме, в том самом принципе общественной пользы, который он стремился проводить в своих воззрениях на литературу и искусство? Утвердительный ответ напрашивается сам собой. Критик прямо говорит, что принимает только «такие поэтические произведения, которые занимают разными современными общественными вопросами действительности и научают людей правильно смотреть на них; эти произведения, без сомнения, приносят пользу, и это единственный случай, когда произведения искусства не только терпимы, но и заслуживают уважения» (337).

И все-таки, стоит нам согласиться с таким предположением — и мы окажемся перед неразрешимым противоречием. Собственно, вся эстетика революционных демократов исходила из принципа общественной пользы. Но ведь ни Чернышевский, ни Добролюбов не пропагандировали небрежения к художественной форме, не разрушали искусство, не отрицали художественности.

Истоки антиэстетизма Зайцева не в принципе общественной пользы, но в догматическом, сектантском, вульгарно-материалистическом толковании его. Это ультрареволюционная фраза Зайцева, его фанатическая прямолинейная узость и философская необразованность не позволяли ему видеть в поэзии Лермонтова ничего иного, кроме «гусарских» мотивов, а в «классическом хламе» древнего искусства ничего, кроме «ляжек Венер» и «профилей Аполлонов». Так презрение к диалектике, метафизичность мирозерцания Зайцева мстили ему за себя. В отличие от Чернышевского и Добролюбова Зайцев не поднялся до последовательного философского материализма и остался последователем философии Бюхнера и Молешотта. Грубый, вульгарный, механистический материализм мог быть в той или иной степени оружием в борьбе с охранительным религиозным мирозерцанием. Вспомним ту роль, которую играли в революционизировании мысли молодежи шестидесятых годов труды Бюхнера и Молешотта. Однако их философия, не оплодотворенная диалектикой, не могла служить надежным фундаментом для осмысления законов жизни и литературы.

С позиции вульгарного, механистического материализма Зайцев интерпретировал «Эстетические отношения искусства к действительности», показав удивительно примитивное понимание эстетики Чернышевского. Он представил дело так, будто главной целью Чернышевского и в самом деле было «разрушение эстетики», доказательство бесполезности искусства. Обосновывал он этот взгляд своими собственными аргументами, взятыми из арсенала вульгарного материализма: «...Искусство не имеет настоящих оснований в природе человека,...оно не более как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме» (331). А раз «искусство», само «эстетическое наслаждение», по убеждению вульгарного материалиста Зайцева, не имеет оснований в «природе человека», то, естественно, «человек не должен предаваться эстетическим удовольствиям, которые только расслабляют и развращают его и заставляют даром тратить время вместо того, чтобы пользоваться им с пользой» (332).

Любопытно, как несколько позже В. Зайцев, от природы наделенный тонким эстетическим чутьем, собственным примером опровергал эти нелепые выводы. В семидесятые годы он совершил паломничество в Рим, чтобы приобщиться к тому самому «классическому хламу», который сохранялся будто бы лишь «для развлечения верхоглядов» (так писал он в 1863 году).

«Бессмертные боги! пишет он из Рима своей жене. — Как это сотворилось такое чудо? Клянусь Кастором и Поллуксом... ничего подобного я и вообразить не мог».

«...Сгубили меня искусства! жалуется он и в следующем письме. — 3. С. расскажет... в каком состоянии были мои ноги от ходьбы и лазанья по лестницам... Тут что ни шаг, то можно целый день стоять на месте и смотреть».

«Умереть мало было после святого, великого, несравненного, божественного Кампидолио», — пишет он после посещения Капитолия.

Но это в семидесятые годы. А пока что Зайцев отвергает объективную природу чувства прекрасного и сводит функции литературы лишь к пропаганде «полезных» мыслей и идей. А так как, считает он, ни Шекспир, ни Пушкин, ни Лермонтов «полезных» мыслей и идей, с точки зрения конкретных революционных задач времени,

не проповедовали, они не существуют для Зайцева. Такие выводы были следствием убеждения критика, будто эстетической специфики искусства не существует, что «последнее в произведении — форма», что к творчеству поэта надо предъявить те же требования, что и «к произведениям критика, историка, публициста, беллетриста».

Вульгарный материализм Зайцева, который он исповедовал с последовательностью, достойной лучшего применения, то и дело подводил критика, ставил его в совершенно ложные положения. В той полемике, которая развернулась в 1861–1865 годах между «Русским словом» и «Современником», самая слабая позиция была у Зайцева. Впрочем, не во всем и не всегда.

Когда в ажиотаже полемики с журналом «Время», выпускавшимся братьями Достоевскими, М. Е. Салтыков-Щедрин неуважительно отозвался о повести Ф. М. Достоевского «Записки из мертвого дома», посвященной жизни каторги, Варфоломей Зайцев тут же взял эту повесть под защиту. И это несмотря на то, что журнал «Время» порой достаточно зло полемизировал с «Русским словом».

В апрельском номере «Современника» за 1863 год Салтыков-Щедрин иронически назвал это произведение Ф. Достоевского так: «Опыты сравнительной этимологии, или «Мертвый дом», по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева». В. Зайцев тут же откликнулся на этот выпад Салтыкова-Щедрина саркастически, заметив в статье «Перлы и алмазы русской журналистики» в апрельской книжке журнала «Русское слово» за 1864 год: «Можно сколько угодно ругать «Время»; оно действительно безобразно; но смеяться над «Мертвым домом» значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола» (намек на недавнее вице-губернаторство М. Е. Салтыкова). В. Зайцев поставил «Записки из мертвого дома» рядом с романом «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, предвосхитив ту высокую оценку, которую впоследствии даст «Запискам» Д. И. Писарев в своей статье «Погибшие и погибающие». Справедливости ради заметим, что и Салтыков-Щедрин в других своих выступлениях (в хронике «Наша собственная жизнь», в статье «Литературные мелочи») оценивал «Записки из мертвого дома» уважительно и высоко.



Статья «Перлы и алмазы русской журналистики» и явилась первой ласточкой нового круга полемики между «Современником» и «Русским словом», начавшейся спорами вокруг тургеневского Базарова еще в 1862 году.

Полемика эта отразила в какой-то степени растерянность сил демократии после того, как революционная ситуация потерпела крах. Она охватывала широкий круг вопросов и помогала выработке новой тактики освободительного движения в условиях отсутствия революционного подъема масс. Главным направлением спора был вопрос о том, кто является истинным выразителем времени — условно говоря, Базаров или Катерина из «Грозы», на что делать ставку — па умственное воспитание или стихийный революционный порыв. Писарев достаточно убедительно защищал героя «Отцов и детей» от разоблачений Антоновича. Зайцев выступил в этом споре как яростный сподвижник Писарева. Однако именно его выступления давали возможность «Современнику» упрекать «Русское слово» в вульгаризации и примитивизме — тех самых слабостях, за которые Писарев критиковал Антоновича.

Антонович беспощадно высмеял Зайцева за статью «Последний философ-идеалист», в которой тот поднял на щит философию Шопенгауэра, увидев в его учении мостик от трансцендентального идеализма к материализму. Вслед за Кабанисом, Фогтом и другими Зайцев полагал, что человеческие представления формируются под влиянием двоякого рода ощущений: внешних (порождаемых предметами и явлениями внешнего по отношению к телу человека мира) и внутренних (порождаемых внутренними процессами организма, работой желудка, сердца, легких и пр.). В идеалистической формуле Шопенгауэра «мир есть воля» Зайцев умудрился увидеть обозначение «всех ощущений, порождаемых внутренними процессами организма».

Усугубляя свои вульгарноматериалистические ошибки, Зайцев вступил в этой статье в спор с Сеченовым по вопросу о внешних и внутренних впечатлениях. Охарактеризовав Сеченова как «знаменитого ученого», работе которого «Рефлексы головного мозга», быть может, суждено составить «эпоху в психологии человека», Зайцев высказывает здесь сомнение в справедливости того утверждения Сеченова, что «психологический акт» не может явиться в сознании без внешнего, чувственного возбуждения. Он задает вопрос Сеченову: как быть с психическими актами, вызываемыми чисто внутренними процессами жизни человеческого организма? Сердцебиение, например, вызывает страх — значит, налицо внутреннее, а не внешнее чувственное возбуждение?

В статье «Промахи» Антонович дал правильную критику ошибок статьи «Последний философ-идеалист» Зайцева.

Антонович показал, что Зайцев не понял основной идеи работы «Рефлексы головного мозга», того положения, которое составляет весь смысл ее. Главная заслуга Сеченова, указывает Антонович, заключается как раз в неопровержимом доказательстве положения, что «психический акт невозможен без чувственного возбуждения». Корень заблуждений Зайцева в непонимании того, что все возбуждения, в том числе те, которые имеют истоком своим

процессы, проистекающие в человеческом организме, по отношению к нервной системе человека будут возбуждениями *внешними*.

Критика Антоновичем философских ошибок Зайцева была настолько неотразима, что последний сам признал справедливость ее: относительно Сеченова — полностью, относительно Шопенгауэра — частично.

Еще более досадный промах, истоки которого опять же в вульгарном материализме, Зайцев допустил в рецензии на книгу Катрфажа «Единство рода человеческого» («Русское слово», 1864, № 3). Исходя из фогтовской теории происхождения и развития человеческих рас и неравноценности их, выдвинутой им в «Лекциях о человеке», Зайцев высказал мысль, будто негры как «низшая раса» не в силах пользоваться равными правами с белыми и, если они находятся с ними в системе одного государства, обречены на подчиненное положение. Хотя Зайцев и отмежевывался от политических выводов из своей теории, объективно она подводила к тому, что освобождение негров бесперспективная, а потому и ненужная вещь. Антонович в статье «Предварительное объяснение» разоблачил объективную реакционность указанной идеи Зайцева. К «Современнику» присоединилась и «Искра», в 8-м номере которой за 1865 год появилась статья, резко критикующая эту абсурдную идею Зайцева.

«Неужели же из-за теории Дарвина о различии между расами людей должны утвердиться на незыблемом основании новые слезы и скорбь для человечества?» — задавал вопрос автор статьи. Он писал, что теория Дарвина неправильно понята Зайцевым, что эта теория как раз «не признает неизменности видов и разновидностей, и поэтому из нее никак не вытекает принцип разграничения рас как чего-то неизменного».

Выступление «Искры» было особенно болезненным для критика, потому что статья эта принадлежала перу самого близкого друга Зайцева тех лет, чей авторитет в вопросах естествознания был для него непререкаем, — перу Ножина. Статья Ножина в «Искре» отнюдь не означала, что в полемике «Русского слова» и «Современника» он во всех вопросах был на стороне Антоновича. Напротив, как свидетельствует архив III отделения, в бумагах Ножина после смерти было найдено «черновое письмо Ножина Антоновичу, в котором Ножин говорит ему, что он напрасно нападает на Писарева, Зайцева и вообще на «Русское слово», что он «не понял молодого, вполне честного направления реализма». По мнению Ножина, в этих нападках «выражен или недостаток понимания, или поворот мыслей в сторону мерзавцев-инсинуаторов».

Критика Ножиным статьи Зайцева была публичной критикой частной ошибки своего друга и единомышленника, — этот пример сам по себе показывает, насколько высок был уровень нравственной требовательности друг к другу в среде революционных демократов шестидесятых годов. Ошибки Зайцева — и в этом Ножин прав — не заслоняли для него того вполне честного направления идей, которое исповедовал Зайцев. Именно поэтому статья в 8-м номере «Искры» за 1865 год не бросила и тени на дружеские отношения Зайцева и Ножина.

## ЗАЙЦЕВ И НОЖИН

Незадолго перед смертью, будучи в Женеве, Зайцев писал матери: «... Вообще у нас клуб и тут. Все, что приезжает, идет к нам, а здешние считают пашу комнату общей. Девочки царствуют в своих передних комнатах окнами на улицу, а мы в кухне и в нашей комнате составляем какое-то общественное достояние. Вроде как в Петербурге у нас было».

Иркутский купец Пестерев, о котором уже шла речь выше, в своих показаниях в III отделении свидетельствовал, что Варфоломей Зайцев, его мать и сестра, когда они жили в Петербурге, и в самом деле были «общественным достоянием»: вокруг них всегда была молодежь. «Вообще кружок Зайцева состоит из 5–6 человек молодежи умной, доброй и энергичной», — уточнял он и называл, а частности, имена Сулина, Ковалевского, Залесского, Орлова и Ножина. «В наступившем 1864 году, в апреле, я выехал в Петербург... В это время я вошел в семейство Зайцевых, свидетельствовал Пестерев. — В матери Зайцева я нашел весьма мягкую, добрую и симпатичную старушку, любящую своих детей до страсти, а в дочери ее — молодую, хорошенькую и очень развитую девицу, в сыне же — труженика; он тогда работал для «Русского слова» и дирижировал издание перевода Шлоссера...»

Архивы III отделения и, в частности, допросные листы самого Варфоломея Зайцева помогают нам с большей полнотой восстановить состав дружеского кружка, в котором вращался Зайцев в Петербурге во второй половине шестидесятых годов. Круг друзей Зайцева и особенно его дружба с Ножиным дают нам право поставить вопрос о возможных связях Зайцева с революционными кружками конца 60-х годов, во главе которых стояли Ишутин и Худяков. Кружки эти были уничтожены после выстрела Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 года. Тогда же был арестован и Зайцев. На допросах Зайцев называет в числе своих друзей Н. В. Соколова, с которым виделся «очень часто, будучи с ним сотрудником «Русского слова» и вообще в хороших отношениях», Николая Степановича Курочкина, с которым, кроме личного знакомства, сотрудничал в «Книжном вестнике», Василия Слепцова, с которым «познакомился тотчас по приезде в Петербург еще в декабре 1862 года у общей знакомой г-жи Маркеловой», наконец Ведерникова и Малаксианова, которых «знал еще в Московском университете». В круг знакомых Зайцева, часто у него бывавших, входили также Лебедев, Згоржельский, Михайловский. Особо, как самого близкого друга, III отделение и сам Зайцев выделяют Ножина, с которым Зайцев «был особенно близок, потому что жил с ним в одном доме и даже после его смерти взял книги и все, что у покойного было». Зайцев в допросном листе свидетельствует: «С Николаем Ножиным я познакомился в конце 1864 года на квартире у Владимира Онуфриевича Ковалевского... Я был с Ножиным очень дружен, виделся очень часто, особенно прошлое лето и последнюю зиму и весну, так как в это время мы жили с ним в одном доме. Отношения наши были, впрочем, основаны единственно на личной симпатии друг к другу, потому что ни общих дел, ни занятий у меня с ним не было». Это не совсем так. Зайцева связывало с Ножиным нечто большее, чем «личная симпатия».

В конце 1865 года Зайцев и Соколов ушли из «Русского слова», поссорившись с Благодетелем. Нужна была новая печатная трибуна, которую Зайцев искал мучительно. В своих показаниях Пестерев свидетельствует, что еще в 1865 году, будучи сотрудником «Русского слова», Зайцев начинает сотрудничество в газете «Народная летопись» (номинальным редактором газеты числился беллетрист Н. Д. Ашхарумов, фактическим редактором ее был публицист «Современника» Ю. Жуковский). Однако он вскоре рассорился с Жуковским, а газета была закрыта. В конце 1865 года один из братьев Курочкиных Владимир — купил книжный магазин Сепковского и выходящий при нем журнал «Книжный вестник», который с 22-го номера 1865 года возглавила новая редакция. Руководил журналом фактически Николай Курочкин, в редакцию вошли В. Зайцев, Н. Ножин, Н. Михайловский. Но журнал «Книжный вестник», узко-библиографический по характеру, так и не стал серьезной общественной трибуной для Зайцева. Он поместил в нем только несколько рецензий. Вот почему Зайцев ищет возможностей продолжить свою пропагандистскую и просветительскую деятельность путем издания книг.

В 1866 году он помогает своему ближайшему другу Н. Соколову писать знаменитых «Отщепенцев» — книга эта была арестована до выхода в свет. Соколов был предан суду и сослан на север. Уже начиная с 1865 года Зайцев, Ножин и Соколов через Сулина пытаются организовать издательство и печатать переводные произведения. Перевод и издание книг прогрессивных европейских писателей были для Ножина, Соколова, Зайцева, Курочкина и других передовых людей шестидесятых годов акцией прежде всего идейного характера. Это было настоящее издательское дело, базой которого служила в первую очередь бывшая типография князя Голицына, перешедшая в 1865 году во владение Головачева. В него входили, помимо перечисленных лиц, Ковалевский, Михайловский, который после ареста Соколова завершил перевод книги Прудона «О французской демократии». Административно-хозяйственной стороной предприятия заведовал Яков Сулин.

В бумагах Ножина, взятых при обыске после его смерти, хранится письмо Сулина к некоему Алекс. Вик.: «Скажите Вар[фоломею] Александровичу], что первые листы Мотлея (он знает) от Зубарева получены мною, и когда кто-нибудь из вас будет в городе, то возьмите, пожалуйста. От Симоновича сегодня получено свиноводство... Что пойдет во второй выпуск Туамейстера и где же переводы? Скажите Ножину, что бумага, шрифт... для Гевена уже готовы — мы ждем его работы, чтобы приступить к печати, и работать будем очень быстро».

Из этого письма явствует, что Зайцев и Ножин имели прямое отношение к издательской деятельности Сулина. Дело в том, что, будучи первоклассными литераторами, и Ножин, и в особенности Зайцев были великолепными переводчиками. Его биограф А. Х. Христофоров сообщает, что Зайцев перевел «Историю Крестьянской войны» Циммермана, «Историю Нидерландской революции» Мотлея, «Полную Всемирную историю» Вебера, «Левиафан»

Гоббса, редактировал перевод «Всемирной истории» Шлоссера, где он с X тома сменил Чернышевского.

Деятельность по переводу и изданию книг, пропагандирующих революционные и социалистические идеи, была, по существу, наряду с журнальной трибуной еще одной формой пропаганды и выработки революционно-демократического самосознания. Моншо предположить, что издательское дело, затеянное в 1865 году Зайцевым, Ножиным, Соколовым и Сулиным, влилось в «издательскую артель», возникшую на базе книжного магазина князя Голицына и братьев Яковлевых. Если первая часть первого тома «Истории Нидерландской революции» Мотля вышла как «издание Сулина», то весь первый том Мотля полностью, куда вошел и первый выпуск его, был издан уже «книжным магазином Яковлева».

Дружба Сулина с Яковлевым и Голицыным привлекла самое пристальное внимание III отделения. В деле «О ссыльнопоселенце Якове Сулине» (а Сулин в 1866 году был отправлен в ссылку в Нарым за старые грехи — за связь с обществом «Земля и Воля») говорится: «Сулин смеет в СПб вкладочный капитал в бывшей библиотеке Василия Яковлева, а ныне перешедшей во владение князя Голицына... С библиотеки высылаются Сулину в Нарым дивиденды по 600 руб. серебром в год, на которые он живет, проводя время с ссыльными поляками». Из показаний Яковлева в том же деле явствует, что Сулин со своей гражданской женой Сошальской и князь Голицын жили в помещении библиотеки, а «некоторое время... жил в одной из комнат Новиков, с которым я познакомился через Сулина».

По-видимому, через Сулина с князем Голицыным и Яковлевым близко сошлись Зайцев и Ножин — не случайно, когда потребовалось срочно оформить фиктивный брак Вареньке Зайцевой, свою помощь предложил именно князь Голицын. Ножин и Зайцев, а также их друзья Ведерников, Лебедев, Ф. Орлов и другие были постоянными посетителями библиотеки Яковлева.

Книжный магазин Яковлева и Голицына привлекал внимание III отделения не случайно. Именно здесь в 1865–1866 годах группировалась радикально настроенная молодежь.

По свидетельству М. Сошальской, которая работала библиотекарем у Яковлева, «в библиотеке каждодневно в 4 часа пополудни собирался весь цвет литературской молодежи обоих полов, и здесь она познакомилась со всей передовой братией, но сама не участвовала ни в одном обществе, а, напротив, некоторых отговаривала от участия».

В деле III отделения «О вредном направлении некоторых журналов и о лицах, в них участвующих», где исследовалась «та общественно-литературная среда, в которой способна получить развитие мысль о цареубийстве», говорится: «Место постоянных собраний сотрудников и сторонников «Русского слова» и других упомянутых изданий по преимуществу книжный магазин бывший Яковлевых, ныне князя Голицына... Один из Яковлевых и князь Голицын — недавние лицеисты, примыкающие к оставшейся после Серно-Соловьевича компании».

В деле III отделения «Об отставном титулярном советнике Яковлеве» хранится «справка», помогающая нам лучше представить лицо владельца этой библиотеки: «Яковлев не раз обращал на себя внимание как человек, в высшей степени зараженный духом нигилизма и противоправительственным направлением, но за неимением юридических доказательств не представлялось никакой возможности к изобличению его; открыв книжный магазин с особою читальнею, Яковлев сделал его местом сборища нигилистов, нигилисток, неслужащего и ничего не делающего народа, собирающегося туда под предлогом чтения книг и газет. В качестве приказчицы в магазине некоторое время находилась известная нигилистка Энгельгардт...»

Особую тревогу III отделения вызвала как раз попытка Яковлева, Сулина, Голицына и Лаврова создать при книжном магазине на кооперативных началах «издательскую артель». Она должна была объединить около двух десятков революционно настроенных людей. «Библиотека для чтения Яковлева, — говорится в том же деле, служила местом сходимки для издательской артели, не разрешенной правительством; лица, составлявшие эту артель, входили в библиотеку поздно вечером, с черного хода; о заседаниях своих составляли протоколы и оставались там до 3 и 4 часов утра».

Состав участников этой артели и наиболее частых посетителей библиотеки, а также деятельность ее были таковы, что не могли не вызывать подозрений у III отделения. Нельзя не присоединиться к выводу исследователя Э. С. Виленской, что, судя по имеющимся данным о деятельности артели, а также по ее связям с ишутинцами, а главное — по составу участников (абсолютное большинство которых известно своей причастностью либо к подполью предыдущих лет, либо к революционному движению конца 60-70-х годов), «издательская артель» вместе с книжным магазином служила внешним прикрытием для объединения революционных элементов Петербурга, а возможно, скрывала за собой петербургский революционный центр.

По данным III отделения, в число актива библиотеки Яковлева и Голицына входили лица, группировавшиеся вокруг Ножина и Зайцева, — прежде всего сам Ножин, Зайцев, его сестра, по фиктивному браку — княгиня Голицына, Я. Сулин, Ф. Орлов, Новиков, Лебедев, Ведерников. Несколько позже все они — Зайцев, Ведерников, Лебедев, Соколов, Филитер Орлов и другие — оказались в крепости по подозрению в принадлежности к революционной организации ишутинцев, из среды которой вышел Каракозов. Как известно, революционная «организация» ишутинцев возникла и работала в Москве во второй половине шестидесятых годов. В Петербурге 1865–1866 годов также существовало тайное общество, в той или иной степени организационно оформленное, примыкавшее к кружку ишутинцев в Москве. Главной фигурой этого общества был И. А. Худяков. По свидетельству Худякова, Ножин также был членом этого общества. К ближайшему окружению Худякова можно отнести почти весь кружок лиц, группировавшихся вокруг Ножина и Зайцева.

В своих показаниях 25 апреля 1866 года Худяков сообщил, что еще в декабре 1865 года Ишутин информировал его о тайном революционном обществе в Москве и поручил организовать такое же общество в Петербурге, указав на А.

И. Никольского и Н. Д. Ножина как на его участников. Он говорил, что организация в Петербурге еще не составила, что было «только начало общества, и далее оно не распространилось».

Помимо Ножина, Худяков назвал еще Андрея Фортакова, а также Ведерниковых (мужа и его гражданскую жену Е. В. Гололобову), Лебедевых, Комарову, Зайцева, Печаткина. Он заявил: «Лица эти, хотя и разделяют революционные убеждения (кроме А. Лебедева), но о существовании общества (за исключением Ножина) не знали».

О принадлежности Ножина к революционному обществу Худяков мог говорить смело, без опасения подвести его: он умер 3 апреля 1866 года, за день до покушения на царя. Если верить медицинскому заключению, которое делали его же товарищи, Ножин умер от тифа. В черновой рукописи «Опыт автобиографии» Худякова, где рассказывается об ожидании ареста после выстрела Каракозова, есть загадочная фраза: «Н. отравился. Слякка». В обстоятельствах внезапной смерти Ножина до сих пор много загадочного. В обстоятельствах его жизни также далеко не все ясно. Бесспорно одно: революционность убеждений этого «известного нигилиста» той поры. «Ножин был фанатик, человек, порвавший ради своих убеждений с семьей, с блестящей карьерой, со своим кругом, — характеризует Ножина его современник. — Он был одним из тех людей, которые знают одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Этой страстью для Ножина была революция.

Ножин учился за границей, в Гейдельберге, где был дружен с известным гарибальдийцем Львом Мечниковым, с будущим мужем сестры Зайцева Якоби, который во время Польского восстания был командиром отряда повстанцев, с сыном Герцена, с Николаем Курочкиным, встречался с А. И. Герценом и Бакуниным. «Мы почти поголовно были социалистами и даже коммунистами, мечтали об обращении крестьянской общины в фаланстер, ненавидели всей душой русское правительство, зачитывались «Колоколом», «Полярной звездой», боготворили Герцена», — вспоминает один из друзей Ножина по Гейдельбергу. Таковы были убеждения Ножина, когда он в конце 1864 года вернулся из-за границы. Будучи человеком «брызжущего ума, сверкающей фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по биологии)», — так характеризовал его будущий публицист «Отечественных записок» Михайловский, сотрудничавший вместе с Ножиным в «Книжном вестнике», Ножин сразу же занял главенствующее положение в дружеском кружке.

В правительственном сообщении по делу Каракозова, написанном лично Муравьевым, Худякову вменялось в вину и то, что он «состоял в сношениях с социалистическим кружком крайнего нигилиста Ножина (умершего в апреле этого года), который находился в связи и переписке с заграничными агитаторами». III отделение детальнейшим образом исследовало круг знакомых Ножина — в фондах его хранится объемистое дело «О кружке знакомых Ножина», в котором говорится: «Что касается лиц, из которых состоял круг друзей и знакомых Ножина, то по следствию оказалось, что в более близких с ним отношениях находились: бывший студент Варфоломей Зайцев, вольнопрактикующий врач Николай Курочкин, сотрудники «Книжного

вестника» Николай Михайловский, корректор Иосиф Згоржельский, дворянин Иван Ведерников, слушатель технологического института Александр Лебедев и бывший студент Филитер Орлов... С начала января месяца 1866 года Зайцев жил с Ножиным в одном доме по Итальянской улице и был с ним очень дружен, виделся очень часто, особенно последнее время».

Допросы Зайцева, когда он сидел в Петропавловской крепости (он был арестован 28 апреля 1866 года), были подчинены одной задаче: выяснению его взаимоотношений с Ножиным и через последнего — с революционным подпольем конца шестидесятых годов. Собственно говоря, и арестован-то он был, равно как и Н. Соколов, Н. Курочкин, Ф. Орлов, «по случаю знакомства и сношений его с коллежским советником Ножиным, который подозревался в преступных сношениях с бывшим домашним учителем Ив. Худяковым».

Особенно интересовал III отделение такой факт: в январе 1866 года на квартире у Ножина был вечер, на котором присутствовало около тридцати гостей. В их числе Н. Курочкин, В. Зайцев, Ведерников, Михайлов, Згоржельский, Лебедев и двадцать с лишним кадетов Морского корпуса. Муравьев был уверен, что это сборище не было случайным и имело конспиративные цели. Однако показания Зайцева, Курочкина, Ведерникова и всех остальных арестованных были таковы, что комиссия Муравьева так и не получила никаких фактов, которые уличали бы Зайцева, Н. Курочкина и других в принадлежности к подпольной революционной организации. Вот почему комиссия кн. Муравьева была вынуждена 28 августа 1866 года освободить В. Зайцева и его товарищей из-под ареста, оставив тем не менее «под бдительным негласным наблюдением полиции». В нашем распоряжении нет данных, которые позволяли бы документально утверждать, что Зайцев принадлежал к кружку ишутинцев в 1865–1866 годах. Но круг его друзей этой поры и, в частности, тесная дружба с Ножиным, который, бесспорно, был членом худяковского кружка, так же как дружба с Сулиным и Гольц-Миллером в студенческие годы, говорит о многом. Характер отношений Зайцева с Ножиным был таков, что невозможно предположить, будто Зайцев не знал о подпольной революционной деятельности своего самого близкого друга тех лет. Я уверен, что дальнейшее исследование деятельности ишутинцев даст в отношении Зайцева, Ножина и Сулина, равно как и в отношении библиотеки Яковлева и Голицына, много неожиданного.

Разгром революционных кружков в 1866 году, плотная завеса реакции, опустившаяся после каракозовского выстрела на страну, приводили Зайцева в отчаяние. Он выразит эту свою боль, свою ненависть к самодержавию в блистательной статье «Положение русской прессы», которую напишет сразу же после того, как ему удастся вырваться в эмиграцию в 1869 году.

Статья эта, написанная по свежим впечатлениям последних лет жизни на родине, беспощадно правдива. По словам критика, Россия шестидесятых годов представляет собой «невиданное нигде явление самой кровавой и дикой реакции, наступившей без предшествовавшей революции». Он рассказывает читателям об арестах, ссылках и преследованиях, которые безостановочно продолжаются все пореформенные годы в России, — и за все эти девять лет, за



исключением каракозовского выстрела, «никому не случилось слышать ни о каком малейшем факте, который можно было бы считать побудительной причиной хотя бы к одному из тех бесчисленных гонений... последовательный ряд которых уже 9 лет составляет всю историю русского общества. По всем дорогам российского царства непрерывно скачут тройки с жандармами, уносящие нашу молодежь гибнуть в разных захолустьях. Все тюрьмы, казематы, кутузки, остроги постоянно переполнены несчастными, большею частью тщетно ломающими себе голову, чтобы догадаться о причине своего томления. Всякие полгода назначаются новые следственные чрезвычайные комиссии, и члены каждой расторопностью и проницательностью затмевают славу своих предшественников...».

За этими полными горечи словами стоит трудный личный опыт Зайцева.

Особенно тяжелыми были для критика последние годы пребывания в России, когда печататься стало практически невозможно, когда он лишился своих самых близких друзей — Ножин погиб, Соколов и Сулин были в ссылке, мать и сестра за границей. Из тюрьмы он вышел с тяжелым ревматизмом, отозвавшимся вскоре на сердце, и болезнью глаз. Больной и разбитый физически и нравственно, он по выходе из крепости был обречен на ужасную жизнь. Как свидетельствует жена, по освобождении из крепости полиция не желала оставлять его в покое и отравляла ему жизнь постоянными обысками и вызовами по малейшему поводу. Статьи его либо запрещались цензурой, либо просто не принимались в редакциях. Да и журналов, в которых Зайцев мог бы печататься, не существовало: «Современник» и «Русское слово» были закрыты — «с нарушением всех, собственного изделия, правил», как писал Зайцев в статье «Положение русской прессы»; «Книжный вестник» умер естественной смертью, в «Дело» после ссоры с Благосветловым дорога Зайцеву была закрыта. Лишенный возможности пропагандировать свои мысли в прессе, преследуемый полицейским надзором, разбитый физически и нравственно, он вынужден был эмигрировать. Еще накануне ареста Зайцев подал свое первое прошение о выезде за границу. Он был арестован 28 апреля 1866 года, а 29 апреля санкт-петербургский генерал-губернатор граф Суворов обратился в III отделение с запросом «о выдаче заграничного вида Зайцеву». Естественно, в «заграничном виде» Зайцеву было отказано.

11 мая 1867 года он вновь ходатайствует о разрешении отправиться за границу. По свидетельству жены, управляющий III отделением генерал Мезенцев прямо заявил явившемуся к нему для объяснений Зайцеву, что, «пока он жив, Зайцев не получит паспорта». За Зайцевым было установлено неусыпное наблюдение. Стоило ему выехать в деревню к своей будущей жене, как генералу Мезенцеву немедленно летит донос штабс-офицера корпуса жандармов Тверской губернии:

«На основании сообщения с. — петербургского обер-полицмейстера, тверской губернатор уведомил меня, что бывший студент с. — петербургской Медико-хирургической академии Варфоломей Зайцев, состоявший по высочайшему повелению под бдительным негласным наблюдением полиции за

заявление учения о нигилизме,...в конце апреля выбыл из С.-Петербурга в село Лялино Вышневолоцкого уезда.

Вышневолоцкий уездный исправник на просьбу мою уведомить о последствиях его наблюдения за Зайцевым во время пребывания его в селе Лялино 27 мая за № 26-м сообщил, что Зайцев, пробыв некоторое время в том сельце у владелицы оного Анны Григорьевны Кутузовой и женись на ее дочери, в последних числах того же апреля отправился обратно в С.-Петербург с целью каким-либо способом отправиться за границу...

В предположении, что поездка Зайцеву за границу может быть воспрещена и что он для приведения в исполнение своего намерения может каким-либо способом обойти установленный для таких поездок порядок, я имею честь довести до сведения Вашего превосходительства вышеизложенные сведения...»

Таким образом, генерал Мезенцев был заблаговременно предупрежден о намерении Зайцева выехать за границу. Поняв, что Мезенцев и в самом деле не выпустит его, Зайцев пишет прошение самому шефу жандармов, графу Шувалову, и добивается в ноябре 1867 года личной встречи с ним, где, ссылаясь на «опасную болезнь матери», просит об «увольнении за границу». На его прошений — виза-карандашом: «Узнать, где живет мать Зайцева, и потребовать у нашего консула справку о ее болезни». И чуть ниже — вторая виза: «Можно будет уволить за границу, но наблюдать за ним первое время после возвращения».

Наконец-то 26 декабря 1867 года разрешение Зайцеву на получение паспорта было дано. Но Зайцев не успел получить его. Ровно через два дня III отделение направляет Шувалову «копию письма без подписи от 24 декабря 1867 года, к г-же Якоби, в Женеву» с припиской: «Судя по почерку, письмо это писано Зайцевым, уже известным III отделению. Оно выражает отчаянное разочарование и возмутительную безнравственность чувства». Приписка перечеркнута визой: «Прошу приостановить разрешение выезда за границу». Письмо и в самом деле было написано Зайцевым своей сестре, которая вышла за границей замуж за доктора Якоби, и матери, которая в 1865 году уехала к дочери.

Злополучное письмо это полно выражает внутреннее состояние Зайцева: «Я долго не писал вам, друзья мои, в приятной надежде увидеть вас. Я сделал все, что можно было, но все оказалось напрасно. Куда тут ехать к вам, когда, как я недавно узнал, даже мое пребывание в Лялине считается опасным для государства, так что вся земская полиция была поднята на ноги искать в Вышневолоцком уезде якобы посеянных мною злых начал! Не знаю, много ли нашли плевел; полагаю, что жатва была не щедра и не обильна, так что далеко не стоила потраченной бумаги. Но тем не менее вредоносность моя дознана, и признано, что дать мне повидаться с вами — значит подвергнуть опасности священные начала гражданственности, собственности, религии и т. д. Опять, и па сей раз уже в казусном месте, спрашивали адрес маменьки — не знаю зачем.

А между тем мне очень хотелось побывать у вас, чтобы поговорить с тобой, моя милая девочка, потому что я тебя все представляю себе прежней

Варенькой, девочкой дорогой. Я хотел тебе сказать, что не ожидал от тебя такой слабости, какую ты теперь выказываешь. Вы оба пишете, что потеряли в жизни цель и что теперь ни о чем заботиться не хотите<sup>[15]</sup>. Друзья мои, если бы вам было по 45 лет, вы были бы правы, но в 20 лет так говорить — это верх малодушия... Мне кажется, я на вашем месте, как и на своем, потеряй я все добрые цели, мог бы просуществовать всю жизнь одними злыми. Я вообще не понимаю горя, это какая-то мертвечина; горе — чувство старости или тупоумия; но для свежего и умного человека, если бы даже вовсе не оставалось кого любить, есть отрада, цель и своего рода счастье в ненависти и злости. И притом для ребенка смерть есть самое лучшее, что с ним может случиться: ведь будь он жив, он был бы или подлец, или мученик. Ты желала бы для Оли своей судьбы? По крайней мере я не пожелал бы своей своему сыну, если таковой будет. Вот для кого-нибудь из нас умереть неприятно: остается неудовлетворенным какое-то смутное чувство справедливости: что же это такое, в самом деле, мучились, мучились и ни до чего не домучились — так и подошли...

Когда я сидел в крепости, на меня находили неприятные думы: мне иногда казалось, что, верно, все вы сгибли. Если бы это оказалось правда, я по выходе из крепости первым делом отправился бы в Неву; благо было еще тепло! У меня созрел на этот счет решительный план. Но, представьте себе, я теперь часто с сожалением думаю, отчего это так не случилось?»

Письмо это, столь красноречиво выявляющее всю меру отчаяния Зайцева в конце шестидесятых годов, отодвинуло выезд его за границу на целых два года. Только благодаря профессору С. П. Боткину, от которого он получил свидетельство о болезни, ему удалось в 1869 году выхлопотать заграничный паспорт. Но и в самый последний момент, как вспоминает его жена, власти попытались помешать Зайцеву выехать за границу. На другой день после получения паспорта к Зайцеву явился пристав. Обманом, якобы ради проверки, он затребовал паспорт и унес его. Снова пришлось хлопотать две недели и опять добывать паспорт — уже из секретного стола петербургского градоначальника. Только 9 марта 1869 года Зайцев вновь получил паспорт и сразу же выехал в Париж.

Большую часть времени в течение этих двух трудных для него лет Зайцев вместе с женой Еленой Евграфовной провел в Лялине, в доме ее матери Анны Григорьевны Кутузовой, у которой были еще четыре дочери: Олимпиада, Александра, Надежда и Анна Кутузовы. В Калининском областном архиве до сих пор хранится дело «Об учреждении секретного надзора» вышневолоцкой полиции за Варфоломеем Зайцевым. Судя по донесениям полицейских чинов, Зайцев, не получив разрешения на выезд за границу, вновь вернулся в Лялино в начале июня 1867 года и жил там до февраля 1868 года, а в мае 1868 года вновь выехал из Петербурга в Вышневолоцкий уезд. Последнее донесение исправника о том, что Зайцев «из сельца Лялино выбыл в город Петербург, откуда весной настоящего года отправился во Францию», помечено 30 июля 1869 года четыре месяца спустя после отъезда Зайцева за границу. Получив, видимо, за халатное отношение к своим обязанностям выговор,

вышневолоцкий исправник призвал к ответственности пристава второго стана, в ведении которого было село Лялино. В деле хранится примечательный документ — оправдательный рапорт пристава уездному исправнику, который дает возможность представить, как жил и чем занимался Варфоломеем Зайцев в Лялине и каким образом осуществлялся за ним полицейский надзор.

«На предписание Вашего Высокоблагородия от 13 сего августа 1869 г. за № 91, — рапортовал пристав второго стана Вышневолоцкого уезда, — честь имею донести, что студент Зайцев в прошлом году два раза выбывал из села Лялина, но в оба раза весьма на короткое время; потом в конце октября, по словам родственников, выбыл в Петербург также на короткое время, но не появляется по настоящее время. Осведомляясь о его прибытии, я всегда получал отзывы от родственников, что они его ждут и скоро будет, поэтому и не доносил о его выбытии, будучи со слов родственников в уверенности, что он скоро прибудет на постоянное жительство в с. Лялино, чему я давал веру собственно потому, что студент Зайцев действительно стал обзаводиться при селе Лялино оседлостью, как-то: выстроил для своего жилища осенью же прошлого года вчерне дом и намерен был заняться и дальнейшею отделкою, что положительно меня убеждало в том, что он действительно осваивает для себя при селе Лялино жилище. Еще, кроме постройки дома, он у шурина своего И. Кутузова скупил и все имение, которое потом передал жене и свояченицам, — одним словом, действовал как бы местный житель, всех же его истинных мыслей и предначертаний никак не возможно было знать, тем более что обо всем предписывалось иметь негласное наблюдение и все, что я мог узнать об нем, узнавал из посторонних разговоров с родственниками и другими людьми и как не давал знать, что все сведения мне нужны об нем для представления высшему начальству и этим путем я надеялся получить больше верных сведений, но оказалось иначе: в разговорах родственников Зайцева (по личным), при всем том, что я с ними знаком, не было искренности, чем я и вовлечен был в ошибку. Неискренность их была, я полагаю, потому, что уже им известно стало каким-либо образом об учреждении над Зайцевым надзора. Более правильного надзора я учредить не в состоянии, потому что Вашему Высокоблагородию известно, какие лица избираются обществами в полицейские служители. Объяснив все по справедливости, покорнейше прошу Вас снизить к моей ошибке в отношении недоноса о выбытии Зайцева».

Надо сказать, что неприятности для пристава второго стана и вышневолоцкого уездного исправника, связанные с домом Кутузовых, только начинались. Со времени «недоноса о выбытии Зайцева» вполне добропорядочное имение это, принадлежащее старинному, из времен Александра Невского, роду Кутузовых (младшая ветвь этого рода — знаменитые Голенищевы-Кутузовы), долгие годы не выходило из-под неусыпного ока местной полиции. Дом Кутузовых на берегу Лялиного озера, точнее — два дома: один — большой, построенный еще в середине XVIII века, и второй, построенный Зайцевым, — стоят и поныне. Они хранят немало исторических тайн.

В 70-80-х годах XIX века внимание местной полиции к Лялину приковывала прежде всего Олимпиада Евграфовна Кутузова. Вслед за сестрой она уехала за границу к Зайцевым и там вышла замуж за итальянского революционера, сподвижника Бакунина графа Кафиеро. В 70-е годы Олимпиада Кафиеро, вначале вместе с мужем, а потом и одна, дважды приезжала в Лялино, с ноября 1877 года находилась под негласным надзором полиции «за прикосновенность к делу о преступной пропаганде», в 1879 году по этапу, как «иностранка», была выдворена из Лялина и отправлена в сибирскую ссылку, откуда бежала и в середине 80-х годов вновь оказалась в Лялине — уже под «гласным полицейским надзором».

В июньском номере журнала «Голос минувшего на чужой стороне» за 1928 год опубликованы «Исторические миниатюры» бывшей актрисы Александрийского театра. Кариной-Чита. В одной из миниатюр, озаглавленной «Жена пирата», рассказывается, как, приехав в 1906 году на Лялино озеро, М. Кармина-Чита услышала, что по соседству «живут стародавние помещицы, четыре сестры Кутузовых... такие... нехорошего поведения: в церкви не бывают. А одна из них — жена пирата!»

Мясник, развозивший мясо по окрестностям, подтвердил, что действительно в Лялине круглый год проживают четыре пожилых сестры, и с презрением прибавил: «Очень бедные, мяса не берут, и никто из настоящих господ у них не бывает». Он же рассказал, что одна из сестер долго проживала за границей и раз как-то, давно это было, приехала в Лялино с мужем, да таким чудным: порусски ничего не знал, а звали его Глафирой. Потом Глафира с женой уехал, и она снова появилась через некоторое время в усадьбе, уже одна.

Позже М. Кармина-Чита попала в этот дом.

«В их саду было царство сирени, она беспрепятственно разрослась так, что заглушила все вокруг, и так убог казался прятавшийся за ней разрушающийся деревенский дом, растрепанный, как старое воронье гнездо. И обитательницы усадьбы показались нам на первый взгляд под стать своему гнезду — все на одно лицо, все в черном п на ворон похожи... Впрочем, первое впечатление было верно только по отношению к одной из сестер — Александре Григорьевне<sup>[16]</sup>, — длинношей, похожей на птицу особе. Она же одна, пожалуй, и подходила к типу нигилистки. Другая сестра (Елена Евграфовна Зайцева. — *Ф. К.*) была меньше всех ростом, с лицом, сохранившим краски и миловидность молодости, с приветливыми голубыми глазами и изящными манерами. Третья из сестер Кутузовых, самая молодая, Олимпиада Григорьевна, и монашеским покроем своей черной одежды, и видом, и повадками более всего напоминала раскольничью начетчицу... Обстановка комнаты, где нас приняли, была донельзя убогой, никаких следов «прежнего величия» в ней и помину не было. Но книги виднелись повсюду, а на стенах висели большие портреты: Белинского, Герцена, Бакунина...»

Оказалось, что пиратом окрестили в Лялине не кого другого, как известного анархиста графа Кафиеро, на средства которого была устроена бакинская коммуна в Локарно, где единственной русской женщиной и была Олимпиада Кутузова, выданная самим Бакуниным замуж за Кафиеро. «Кафиеро с женой

действительно приезжали на лето в Лялино. Добродушный, услужливый и веселый, он сошелся со всеми, до крестьян включительно. Близость дошла до того, что анархист даже крестил детей у люблинских мужиков. Мудреная же фамилия Кафиеро была немедленно переделана ими в Глафиру».

М. Кариной-Чита показали достопримечательность этого дома — старый диван с вылинявшей красной обивкой.

«— Этот диван называется «диваном Софьи Петровской». Слыхали о ней? — добродушно «связвила» Александра Григорьевна...

Александра Григорьевна рассказала, — пишет М. Кармина-Чита, — что Петровская приезжала раз летом в Лялино отдыхать. (Я забыла, в котором году.) Она действительно отдыхала: ходила с увлечением за грибами и часами лежала на диване, читая французские романы. Книги ее уцелели в Лялине».

Чуть ниже М. Кармина-Чита замечает: «Должно быть, деревня Лялино служила местом отдыха для иных из революционной молодежи. Там приходилось видеть, например, юного Сине губа, впоследствии казненного, и других».

Кармина-Чита не могла знать, что «подходившая к типу нигилистки» Александра Евграфовна, старшая из четверых сестер Кутузовых, рассказывавшая о приезде Софьи Перовской в этот дом, и принимала в качестве хозяйки дома известную революционерку. И не только ее. В этом доме в 1870–1871 годах жил находившийся под негласным надзором полиции известный писатель-демократ Василий Слепцов. В этом же доме в 1874 году скрывался от полиции «пропагандировавший народ» в соседнем Торжокском уезде Сергей Кравчинский. Александра Кутузова сама была участницей революционного движения и с июля 1870 года находилась под негласным полицейским надзором «за посещение студенческих сходок», а с 1874 года — еще и «за прикосновенность к делу о преступной пропаганде». В течение всех 70-х годов по преимуществу в летние месяцы дом на Лялином озере заполнялся ее друзьями-«нигилистами», о чем говорят многочисленные донесения полиции, крайне встревоженной этим обстоятельством.

«В селе Лялине Подольской волости близ Зареченской (Академической) станции Николаевской железной дороги в имении дочери штабс-капитана Александры Евграфовны Кутузовой с мая месяца начинают появляться лица мужского и женского пола, которые своим странным образом жизни и непонятным поведением обратили внимание полиции, — говорится в одном из донесений вышневолоцкого исправника тверскому губернатору. — День превращают в ночь, а ночь в день, иначе: день спят, а ночь проводят то на озере, то в лесу, ... в котором иногда бывают даже суток по двое... Женщины одеваются... в мужскую рубашку и шаровары. Своим вольным образом жизни они удивляют местных жителей и ночными пениями песен накануне праздников и воскресных дней поселили негодование. Жизнь ведут свободную, ... едят из одного котла, и вообще во всем замечается коммунизм. Все эти неизвестные лица приезжают и уезжают по Николаевской ж. д., проживая в Лялине по 2 и 3 дня, так что нет возможности дознаться о личности этих людей».

В 1877 году полиция произвела в Лялине обыск, обнаружив при этом много запрещенной политической литературы и оружие. Через три года, перед проездом Александра II по Тверской губернии, полиция учредила за усадьбой тщательное наблюдение и слежку... Власти считали имение Кутузовых не только пристанищем «нигилистов», но и центром антиправительственной деятельности.

По свидетельству последней из Кутузовых, Елены Федоровны Кутузовой, приходившейся племянницей четверем сестрам (она умерла в 1942 году в Доме ветеранов сцены в Ленинграде и много рассказывала об истории кутузовского дома местному учителю А. Н. Раменскому, купившему у нее после революции этот дом), в Лялине находили приют Желябов, Вера Засулич, Г. И. Успенский, а в 900-е годы — Комиссаржевская, Чехов, Горький...

Сам Аркадий Николаевич Раменский, который с начала 20-х годов жил в бывшем доме Кутузовых и умер весной 1968 года, принадлежал к старинному учительскому роду. В течение двухсот лет учителя Раменские подвижнически трудились на ниве русского народного просвещения. Один из Раменских — Алексей Пахомович, дядя Аркадия Николаевича, — долгое время учительствовал в Симбирске, был другом и помощником Ильи Николаевича Ульянова, отца В. И. Ленина. О дружбе Алексея Пахомовича Раменского с Ильей Николаевичем Ульяновым подробно рассказано в книге А. Никитина «Директор народных училищ А. П. Раменский» (Пермь, 1965).

Недавно были обнаружены и опубликованы в «Красной звезде» от 23 ноября 1968 года воспоминания учительницы А. Повецкой, которые содержат дополнительное сведения о дружбе А. П. Раменского с И. Н. Ульяновым.

А. Повецкая воспитывалась в семье своего дяди, инспектора симбирской гимназии И. Я. Христофорова, и с детства хорошо знала Алексея Пахомовича Раменского. В воспоминаниях, написанных ею в 1937–1940 годах, А. Повецкая характеризует А. П. Раменского как «выдающегося педагога дореволюционной России», «близкого друга чувашского просветителя Яковлева», который и «познакомил Раменского с Ильей Николаевичем Ульяновым», и далее продолжает:

«Летом этого года была в Старице, Торжке, Волочке и навестила Аркадия Николаевича Раменского. Теперь он живет в Лялине... Нахлынули новые воспоминания. Живу в Саблине, у старушки, которая хорошо помнит семью Ульяновых, живших здесь в конце века. Помнит мать Ленина, его сестер, Елизарова<sup>[17]</sup>.

Проезжая мимо станции Березки, мне вспомнился рассказ Алексея Пахомовича Раменского в Симбирске о его последней встрече с матерью Ленина. Он очень уважал Марию Александровну и говорил: «Вот настоящая мать своих детей, готовая на любые жертвы...»

В первые годы германской войны, во время кратковременной поездки в Петроград, он намеревался навестить племянника, Аркадия Николаевича, под Волочком. Алексей Пахомович узнал, что около Бологого отдыхает семья Ульяновых, и навестил их<sup>[18]</sup>.

Мария Александровна была уже стара и очень скучала о сыне. С нею жила дочь Анна Ильинична (подруга жены Раменского), которая сказала, что мать волнуется о Владимире Ильиче, давно нет писем и что письма должны доставить из-за границы, но за ними надо ехать в имение Кутузовых под Волочёк. Алексей Пахомович предложил свои услуги проводить ее к Кутузовым. Эту семью знал еще его предок, друг художника Венецианова, и сам он не раз бывал у Кутузовых с изобретателем радио Поповым, Левитаном, Чеховым и своим сыном.

Дав телеграмму племяннику, Алексей Пахомович и Анна Ильинична приехали к нему в Березки, но ночевали только ночь, так как там был губернатор и много шпиков. Наутро А. Н. Раменский перевез их через озеро на лодке к Кутузовым.

Алексей Пахомович был удивлен, узнав, что Анна Ильинична и Кутузовы давно знакомы и что сюда приезжают Ульяновы. Пробыв несколько дней и встретив нужного человека, они уехали от Кутузовых, а в Бологом Алексей Пахомович простился с Анной Ильиничной и через Рыбинск по Волге и Каме уехал в Пермь.

И вот я теперь у Аркадия Николаевича в доме Кутузовых в Лялине. Он мне показал угловую комнату, где принимали именитых гостей и где на старинных зеленоватых стеклах были написаны автографы Кутузова, Багратиона, Ермолова, Раевского, Державина, Языкова, Лажечникова и многих других. А. Н. Раменский пояснил, что в доме Кутузовых была традиция оставлять такие автографы на память. Он показал мне старинную книгу дворян Кутузовых, где, кроме родословных, были сделаны краткие записи о посещении их дома передовыми людьми России. В записях XVIII века записаны Новиков, Болотов и др., о приезде Багратиона после Аустерлица. Здесь — о приезде Льва Толстого на охоту, имена Некрасова, Белинского, Бакунина, Унковского... Эти записи о некоторых посетителях Кутузовых хранились в глубокой тайне.

Наконец, Аркадий Николаевич показал мне охранное свидетельство Совнаркома за подписью Ленина, где указывалось, что семья Кутузовых берется под охрану Советской власти.

Оказалось, что А. Н. Раменский ездил в Москву, к Калинин, по поводу семьи Кутузовых. За эту заботу последняя владелица дома, Елена Федоровна Кутузова, при отъезде из Лялина подарила ему эту историческую книгу — летопись своей семьи, а портреты Некрасова, Бакунина, Белинского, Герцена подарила школам.

И как приятно было узнать, что этот исторический дом... был связан с семьей Ульяновых».

Нет спора, мемуарные свидетельства М. Карминной-Читау, Повецкой и А. Н. Раменского требуют тщательной проверки и документального уточнения. Ясно одно: история дома Кутузовых на берегу Лялиного озера заслуживает дальнейшего исследования и изучения.



Хорошо послужил этот старый помещичий дом, выкупленный в 1868 году Варфоломеем Зайцевым и переданный «свояченицам», русскому освободительному движению!

В воспоминаниях М. Карминой-Читау сообщалось также, что Олимпиада Кафиеро работала тогда над воспоминаниями о своей революционной деятельности, особенно о коммуне Бакунина, о ее «быте». Позже ее воспоминания появились в «Голосе минувшего» и в «Былом». «Зайцева, — замечает мемуаристка, — поручила нам передать в редакцию «Былого» воспоминания своего мужа, и с ее слов я записала ее биографию».

Какова судьба этих воспоминаний? В журнале «Былое» воспоминаний Зайцева мы не обнаружили. Память, видимо, подвела М. Кармину-Читау. Воспоминания были опубликованы, но не в журнале «Былое», а в журнале «Минувшие годы» (ноябрь 1908 г.), и не Зайцева, по его жены. Они были обработаны дочерью критика Марией Варфоломеевной Зайцевой, которая также жила и умерла в Лялине, и назывались: «В. А. Зайцев за границей (по его письмам и воспоминаниям его жены)».

Толчком к написанию этих воспоминаний, очень важного документа о жизни критика за границей, послужила, должно быть, просьба библиографа А. Г. Фомина предоставить ему материалы для составления биографии В. А. Зайцева. Просьба эта содержалась в его письме к вдове критика, адресованном в деревню Лялино. Е. Е. Зайцева ответила вначале согласием, сообщив, что у нее есть только первый номер «Общего дела» за 1882 год, где напечатана биография Зайцева. «Списка статей о Зайцеве в русской печати у меня нет, — сообщила она А. Г. Фомину в январе 1908 года, — о нем так мало писали, почти ничего. Воспоминаний его также нет (ни о Бакуниным, ни о Писареве, ни о Благосветлове). Но у меня есть список его статей в «Русском слове», «Отечественных записках» и проч. Даже статьи эти хранятся за малым исключением. Писем к Зайцеву от Шелгунова, Писарева, Некрасова и др. ничего не сохранилось, все приходилось переезжать, и все терялось и уничтожалось... Письма сохранились только от Антоновича за последнее время по делу издания «Истории Востока». «Есть еще письмо к Н. В. Шелгунову по поводу издания сочинений В. А. Зайцева... Мои воспоминания я начала, но мне довольно трудно. С тех пор столько пережито, многого не вспомнить».

Однако месяц спустя, 27 февраля 1908 года, Е. Е. Зайцева пишет А. Г. Фомину, сотрудничавшему в суворинском «Историческом вестнике», резкое и вполне определенное письмо:

«Прошу принять мое искреннейшее извинение в том, что своей необдуманной поспешностью ввела Вас как бы в обман, согласившись способствовать помещению биографии Зайцева в «Историческом вестнике». Теперь, возобновляя в памяти, совместно с родными, воззрения моего мужа и его отношение к направлению в литературе, я решила, что не должна способствовать помещению его биографии и проч. на страницах журнала, издаваемого А. С. Сувориным. При жизни Зайцев всегда говорил, что ни за что не станет выступать в печати, не согласующейся с его взглядами».

13 марта 1908 года, получив, видимо, ответ Фомина с возражениями и уговорами, вдова критика поспешила полностью прекратить переписку:

«Подтверждаю смысл моего последнего письма: не желаю способствовать помещению биографии Зайцева в журнале, издаваемом Сувориным (не входя при этом в оценку «заслуг этого почтенного журнала»). На упреки: «Вы считаете Вашего мужа Вашей собственностью, а не общественным достоянием» и т. п., скажу только, что не признаю своим «священным долгом» предоставлять материалы для биографии Зайцева и личные воспоминания о нем во что бы то ни стало, но признаю за собою право поступать по своему собственному разумению. Об одном лишь сожалею и казю себя, что своей опрометчивостью ввела Вас в заблуждение; еще раз искреннейше прошу Вас меня в этом извинить. Переписку по этому поводу со своей стороны считаю прекращенной.

Елена Зайцева». Крепко жил дух Зайцева, дух «святых» 60-х годов, в сердце этой женщины и ее сестер.

### **НА ЧУЖБИНЕ**

Воспоминания жены Зайцева, появившиеся все-таки в конце 1908 года, но не в «Историческом вестнике», а в журнале «Минувшие годы», дают нам возможность представить, насколько трудной для критика была жизнь за границей. Это были трудности и моральные и материальные, и все они были связаны прежде всего с отсутствием журнальной трибуны, с невозможностью печататься. Он мог существовать только переводами — переводил Лассалья, Вольтера, Дидро, Гоббса, — все оригинальные статьи, какие он пробовал посылать в ежемесячные журналы, как правило, не пропускались цензурой и часто пропадали. По поводу статей, которые Зайцев предлагал «Отечественным запискам», Салтыков-Щедрин так сказал жене Зайцева (она какой-то срок оставалась в России):

«Передайте Зайцеву, чтобы он не забывал, что у нас есть у Чернышева моста одно учреждение» (то есть цензура). Стоило Ловцову, редактору третьестепенного журнальчика «Архив судебной медицины», напечатать в третьем выпуске журнала за 1870 год статью Зайцева и Якоби «О положении рабочих на Западе с общественно-гигиенической точки зрения», где приводились в переводе и частично в пересказе обширные выдержки из «Капитала» Маркса, как журнал был закрыт, а Ловцов отстранен от редакторства. После закрытия «Архива судебной медицины» Зайцев продолжал эту свою работу и, как явствует из его письма Н. А. Некрасову от 8 октября 1871 года, предполагал продолжить ее публикацию в «Отечественных записках». «В редакции Вашей, — писал он Некрасову, — находится также глава моей работы «О положении рабочих на Западе», которую я просил бы передать той же особе (госпоже Зейдер. — Ф. К.), если она (т. е. глава) не может быть немедленно напечатана, так как она нужна мне для продолжения этой работы». Судя по этой статье, Зайцев работал над переводом по крайней мере отдельных мест из «Капитала» К. Маркса.

Н. А. Некрасов, будучи в Париже, заказал Зайцеву статью о «Второй империи», где критик разоблачал французскую буржуазию, однако и эта статья

из-за своей остроты не была напечатана. И все-таки Зайцев смог опубликовать в «Отечественных записках» статьи «Современная мораль» (1874, № 2), «Франсуа Рабле и его поэма» (1874, № 5), «Воскресение мертвых, или Тэн о революции» (1879, № 7–8). Наконец, «Отечественные записки» опубликовали его перевод воспоминаний гарибальдийца «Красная рубашка» во Франции». Тема эта была близка Зайцеву: в 1871 году во время франко-прусской войны его сестра с мужем, доктором Якоби, примкнули к гарибальдийскому отряду и отправились защищать революционную Францию. О походе этого отряда и повествуется в «Красной рубашке» во Франции». Сам выбор темы показывает, что лишения и трудности жизни не поколебали революционных устремлений Зайцева.

Литературный заработок Зайцева не мог обеспечить жизнь. Деньги приходилось добывать самыми различными способами — прежде всего частными уроками. Однажды Зайцев по примеру местных жителей решил даже заняться разведением шелковичных червей. В саду росли тутовые деревья — и Зайцев принялся за дело. «Но скоро оказалось, что труд ему не по плечу. Близорукий, рассеянный, неловкий в физических работах, он был совершенно прав, когда говорил, что перо — его единственное оружие». Заработав на коконах гроши, он бросил это занятие.

Еще в 1869 году В. Зайцев вступил в Интернационал. В 1870–1871 годах он жил в Турине и организовал там первую итальянскую секцию Интернационала. В это время завязывается его дружба с известным русским революционером, основателем анархизма М. А. Бакуниным. 14 ноября 1871 года Бакунин пишет Огареву: «К вам приехал Зайцев; Он, кажется, очень хороший человек».

Осенью 1872 года Зайцев поселяется в Локарно, где жил М. А. Бакунин. Вскоре они сблизились. Зайцев жил в одном доме с Бакуниным, писал под диктовку его «Воспоминания», которые довел до 1848 года; судьба их, к сожалению, неизвестна. В той борьбе, которая шла внутри Интернационала, Зайцев поддерживал Бакунина. Биограф Бакунина М. Неттлау, отмечает, впрочем, что при всех дружеских отношениях Зайцева с патриархом русского анархизма, он «не был принят во внимание как пропагандист и революционер» в бакунинской среде. И это понятно: как показывает его публицистика периода семидесятых годов, правоверным анархистом-бакунистом Зайцев так и не стал.

К Бакунину Зайцева привела тоска по практическому революционному делу. Само имя Бакунина, его биография были окружены для многих в ту пору романтическим ореолом. Его местопребывание в Локарно, на Гранине Швейцарии и Италии, было не случайным: Локарно играло роль революционного центра, куда съезжались итальянские заговорщики для тайных совещаний с Бакуниным. Но не европейские, а прежде всего русские дела влекли Зайцева. Уже в 1870 году, сразу по приезде в эмиграцию, он ведет переговоры с Элпидиным об издании бесцензурного печатного органа в России. В связи с этим М. Элпидин пишет 1 сентября 1870 года П. Лаврову: «...Мы толковали с Зайцевым (что писал в «Русском слове») о необходимости иметь за границей орган (или газету), который бы давал какую-нибудь удобоваримую пищу русской публике, газету, бьющую на чисто политические вопросы, не

залезая слишком далеко в социализм абстрактный... Ваше сотрудничество или редакторство было бы большой гарантией успеха журнала, хотя бы и не выставлено было имен».

Лавров, по-видимому, тут же ответил Элпидину, выразив некоторые сомнения в осуществимости этой идеи, на что Элпидин 9 сентября 1870 года писал: «Для журнала нужны две вещи, как вы говорите, — деньги и литературные силы. Совершенно верно. Но из этого не следует, что для журнала, издающегося за границей, нужны были преимущественно силы эмигрантские. Я не говорил и никогда не скажу, чтобы журнал был эмигрантский... В прошлом письме я указывал Вам, что Зайцев (живущий теперь за границей) с большой охотой принял мысль о журнале и обещал помочь всем, чем может. Доктор Белоголовый ручается, повторяю, за Елисеева, Курочкина, за некоторых из «Недели»...»

В 1870 году эта идея не осуществилась. Подобный орган под названием «Общее дело» возник лишь в 1877 году, и Зайцев принял в нем самое активное участие. А пока он жил вестями с родины, мучился отсутствием революционного движения в народе, своей оторванностью от России и от настоящего революционного дела. Его прогнозы на возможность революции в России в течение всей первой половины семидесятых годов были самыми мрачными.

И с каким же ликованием встретил он известие о выстреле Веры Засулич, который принял за начало нового революционного подъема.

«Терпит народ, терпит интеллигенция, терпит печать, терпит юстиция и ее прокуроры... и вот является 23-летняя русская девушка и смелой рукой разом срывает маску с тирании и воздает должное извергу. О героиня! Зачем ты родилась среди нас! Мы не достойны тебя!.. Ты Жанна д'Арк человеческого достоинства, мстительница поруганного человечества!.. Но нет, ты все же дочь нашей несчастной, нашей робкой, погрязшей в варварстве земли. И если эта земля могла создать тебя, то не все еще потеряно. Если нет у нас мужей, то есть женщины, которые спасут нас. Будь же благословенна, пославшая луч надежды на наше темное царство!» [19]

С нетерпением мечтал он о знакомстве с Верой Засулич, которая после оправдания ее судом присяжных скрылась из Петербурга и приехала в Женеву. В ожидании ее прихода он сильно волновался и принимал всех вновь появляющихся женщин за нее, к общему удивлению присутствующих, не привыкших видеть его в роли любезного кавалера, становился с ними крайне любезен и всячески ухаживал за ними. Когда пришла жена Сергея Кравчинского, он рассыпался в любезностях, долго принимал ее за Веру Ивановну, рассказывает жена Зайцева, и порывался поклониться ей в ноги. Когда недоразумение рассеялось, все очень смеялись. Наконец он ее дождался и повторял при том окружающим: «Неужели это не во сне я ее видел, неужели это все наяву?!» Он писал потом своей матери, проживающей в Ницце: «...На днях у нас была с визитом Вера Ивановна. Как-то странно видеть у себя Жанну

д'Арк в башлыке, ужасно гримасничающую (у нее такой тик — нос морщит) и пьющую чай».

В подвиге Веры Засулич Зайцев увидел принципиально новое явление в истории русского революционного движения. Выстрел Веры Засулич и революционная борьба народовольцев, развернувшаяся после него, оказались созвучными каким-то очень глубинным струнам его души.

«Мы, люди 60-х годов, — писал он в статье «Новая нравственность», последней статье своей, которая появилась в «Общем деле» уже вместе с некрологом, — протестовали по мере сил наших, страдали, жертвовали, но все это делалось вразброд, пассивно; как агнцы шли мы за наши убеждения, но как ни многочисленны были заклепываемые жертвы, все они были одиночны... Наконец, по сигналу героини, имя которой будет жить в памяти цивилизованных народов, как имена Гармония и Телля, такое пассивное положение прекратилось. Против лагеря «обагряющих руки в крови» восстал строем «стан погибающих за великое дело любви», погибающих не пассивно, а с честью, в сильной, порой победоносной борьбе» (1882, № 47).

Зайцев счастлив, что «лагерь старого порядка» увидел наконец «против себя настоящее общество среди общества, увидел людей, тесно сплоченных общей целью, общим идеалом, общими чувствами и понятиями, одним словом, всеми связями, конституирующими общество».

С интересом и вниманием всматривается он в «молодую генерацию» русских революционеров, знакомится с различными течениями в русском народничестве, избегал узости и предубеждения против любого из них. По свидетельству жены критика, «из всех окружающих его там (в Женеве, куда Зайцев перебрался после смерти Бакунина.- *Ф. К.*) эмигрантов Зайцев больше всего сошелся с Г. В. Плехановым, которого он находил самым талантливым и образованным из них и наиболее обещающим в будущем». Но дружба с «чернопередельцем» Плехановым не мешала ему переписываться с самым ярким сторонником террора в Исполнительном Комитете «Народной воли» Николаем Морозовым. Это шло не от беспринципности: истосковавшийся по революционному времени Зайцев принимал и приветствовал все оттенки новой революционной партии, находившейся в России. «А народ какой славный, особенно молодежь, — пишет он жене о своих встречах с эмигрантами-народниками в 1881 году. — Все враки, что про них говорят за глаза. Такие задушевные. Меня холили, всякий вечер угощали, по скудости средств, чаем и колбасой. Сегодня я, разжившись деньгами, купил хорошей колбасы 1/2 фунта, коробку конфет и персиков — их угостить. «Народная воля» вышла в России, но еще здесь не получена. Пока все хорошо, только уже высылками одолевают. Гартман на волоске от выдачи».

Как видите, Зайцев в курсе народовольческих новостей: он следит за каждым выпуском «Народной воли», он болеет душой за народовольца Гартмана. Он помогает бежать в Англию Сергею Кравчинскому и 9 сентября 1881 года пишет жене: «Хотел тебе послать сейчас же 100 франков и 265, которые получил, но пришлось отдать 15 Сергею (Кравчинскому. — *Примеч. жены*), которого ищет полиция, так что ему необходимо драть в Англию».

Более того, Зайцев пытается наладить свое сотрудничество в нелегальном журнале «Народная воля».

В архивах III отделения хранится его переписка с одним из редакторов «Народной воли» — Николаем Морозовым. «Варфоломей Александрович, — писал Зайцеву П. Морозов. — Хотя я и не знаком с Вами лично, но тем не менее знаю Вас по рассказам общих знакомых и по Вашим статьям. Одна из этих статей была передана мне Сергеем (Кравчинским. — Ф. К.) для напечатания в «Н. в.». Но «Народная воля» в это время уже не выходила, так как была арестована ее типография, и потому я по Вашему желанию передал ее в «Общее дело». Ошибочно предполагая, что Вы находитесь в редакции «Общего дела», и заключив поэтому, что оно гарантировано от всяких неприличных выходов, я согласился по предложению Элп[идина] помещать в нем некоторые свои статьи, пока у меня не будет бол [ее] подходящего органа. Прочитав 5–6 №№ «Об[щего] дела» и не имея времени перечитывать его с начала издания, я увидел в пос[леднем] номере свою статью «Террористическое движ[ение] в Рос[сии]». К моему удивл[ению], оказ[алось], что в этом сам[ом] номере какой-то либерал поместил довольно безобр[азную] статью, котор[ая] оканчивается] словами: «разнузданн[ые] силы револ[юции]». Поэтому, получив номер, я сейчас же послал Элп[идину] следующее] письмо: «Зная, что Вы более других сотрудничаете] в этом органе, заявляю Вам, что Ваш журнал не имеет ничего общего с подлинной революционностью...» Простите за непрошенный совет, но мне кажется, что и Вам, как революционеру], невозможно] больше марать свое имя, помещая в нем статьи...

В настоящее время я думаю издавать здесь орган в духе отрывка, помещенного в № 32–33 «Общ[его] дела», и желал бы пригласить и Вас к сотрудничеству], т. к. Ваша статья «Революция] в Рос[сии]» вполне подх[одит] к его характеру<sup>[20]</sup>. Статьи к этому органу уже почти все готовы, затруднение только за 400–500 фр[анками], которые необходимы для выпуска пер[вых] номеров. **Распро** странение] в Роесии обеспеч[ено]».

7 мая 1880 года В. Зайцев отвечает Морозову: «Многоуважаемый гражданин Морозов! Я был очень обрадован Вашим известием о журнале, имеющем выходить в откровенно революционном духе. Нечего и говорить, что я готов всегда к Вашим услугам и первую же статью, которая напишется, пошлю Вам для него. Относительно «Общего дела»: я до нынешнего года всячески старался удержать <его> в границах приличья, а когда он переступал их, по возможности поправлять дело. Но с нынешнего года издатель ведет его крайне небрежно, не только пропускает сроки, вследствие чего статьи выходят, застарелыми, но и пропускает выходы, как та, на которую Вы справедливо вознегодовали.

Попрошу до следующего письма с приложением. Уважающий Вас — В. Зайцев».

И действительно, через месяц, 3 июня 1880 года, В. Зайцев направляет Морозову следующее письмо: «Посылаю Вам статью по поводу современного положения дел в любезном отечестве. Полагаю, что она как раз служит ответом

на многое совершившееся в последнее время. Очень желал бы, чтобы уже существовал орган, где можно было бы поместить ее, если же, к несчастью, такого не имеется, то я покорнейше прошу отдать ее в какой-нибудь из имеющихся, хотя бы в «Общее дело». Потому что все же важнее всего подавать голос, а уже второй вопрос, где подавать; в крайнем случае я согласился бы даже на помещение в «Набате», хотя этот журнал мне крайне антипатичен, и я предпочитаю все-таки «Общее дело», которое «просто глупо, и слава богу».

Так как революционный печатный орган, замышлявшийся Н. Морозовым, так и не состоялся, а в «Набате» статьи Зайцева также нет, — по-видимому, к последнему письму Морозову Зайцевым была приложена статья «О пользе цареубийства». Это единственная статья Зайцева, опубликованная в «Общем деле» с июня по август 1880 года. По содержанию она вполне отвечает той характеристике, которая содержится в письме, — в ней и в самом деле содержатся ответы «на многое, совершившееся в последнее время» (речь идет о покушениях на царя).

Переписка Зайцева с Морозовым показывает, что статья «Русская революция» — одна из лучших работ, написанных критиком в эмиграции, — так же предназначалась для «Народной воли» и была передана в редакцию подпольного издания через Кравчинского.

Что это за статья? И что представляет собой «Общее дело», издание, которое вызывало неудовольствие у Н. Морозова и которое столь своеобразно защищал Зайцев — «просто глупо, и слава богу»? Издателем газеты был эмигрант-шестидесятник М. К. Элпидин, в прошлом участник «Казанского заговора»; он находился в Бездне в 1861 году, в 1863 году был судим за распространение воззваний и приговорен к каторге, откуда бежал и с 1865 года жил в Женеве, занимаясь издательской деятельностью. Редактировал газету А. Х. Христофоров, член «Земли и Воли» шестидесятих годов, который вел пропаганду в Саратове, был арестован в 1864 году и выслан в Пинегу, потом — в Шенкурск. За границу выехал в 1875 году. Фонд для журнала Элпидин и Христофоров составили личной складчиной. Третьим вкладчиком и основателем газеты был некий господин Н. Н., как позже выяснилось, Нил Александрович Юрнев, либеральничавший адвокат, проживавший за границей, — человек, в революционном движении никакого участия не принимавший.

Чуть позже одним из редакторов (по-видимому, и вкладчиком) газеты стал Н. Белоголовый — человек, известный своими симпатиями к демократическому лагерю, близкий кругу «Отечественных записок».

Таким образом, само руководство газеты не было единым и представляло конгломерат людей различных политических оттенков. Зайцев печатался в газете регулярно — редкий номер газеты выходил без его одной, а то и нескольких статей.

«Общее дело», — писал впоследствии Христофоров, — лак бы напоминало парламент, где Зайцев представлял левую сторону, Белоголовый — правую, а

мое место приходилось в центре. Единоличного редактора у «Общего дела» не было — все четыре постоянных сотрудника вместе с издателем и были его редакторами, и так как они обыкновенно проживали в отдаленных друг от друга городах, то статьи отсылались к издателю М. К. Элпидину, который, имея постоянное пребывание в Женеве, и составлял из них номер газеты. При этом принято было за правило, что статьи каждого из четырех постоянных сотрудников должны быть помещены в том виде, в каком они доставлены издателю, если они не возбуждали возражений со стороны прочих сотоварищей, и — в виде письма, если такие возражения оказывались».

Что касается «основной цели издания», то она мыслилась как выражение мнений «всего русского общества, враждебного деспотизму», причем во главу ставилось обличение самодержавия, то есть то, «в чем согласны все партии».

Программа объединения всех «оппозиционных» самодержавию сил была успешно реализована, что и превратило издание в эклектический сборник, где, с одной стороны, печатались документы «Народной воли», а с другой — такие работы, как, например, «Характеристика 25-летия» Белоголового, заканчивавшаяся предостережением: «Еще несколько лет такого царствования, и Россия попадет в тот доисторический хаос, когда разнузданные стихии революции сметут все». Вот эти-то «разнузданные стихии революции» и вызвали возмущение Морозова, гнев Зайцева.

Надо отдать справедливость: статьи либерального толка были скорее исключением, чем правилом для газеты. В ней печаталось немало статей ярко выраженного демократического характера — антиправительственных, антикрепостнических, продолжавших во многом традиции шестидесятых годов. Знаменем газеты была прежде всего политическая борьба с самодержавием, восстановление единства «между социализмом и свободой» (А. Христофоров). Это-то и делало возможным сотрудничество в ней Варфоломея Зайцева. Тем болезненнее воспринимал он каждое отступление от курса газеты, которая и основана-то была, по его словам, «с целью дать исключительную свободу выражения мнениям, враждебным существующему в России порядку монархического деспотизма».

«Справедливость заставляет сказать, — писал А. Х. Христофоров, — что в «Общем деле» В. А. не нашел органа, который бы вполне отвечал его требованиям, идеалам и тенденциям. Многие в нем иногда казалось ему слишком умеренным и недостаточно решительным, между тем как прочие сотрудники журнала порою находили его статьи через меру резкими и слишком всецело воспроизводящими то широкое отрицание нигилизма шестидесятых годов, которое уже не отвечало требованиям современности. В таком случае обе стороны или делали взаимные уступки, или заканчивали разногласия полемикой на страницах журнала».

Порой эта полемика принимала крайние формы. В 20-м номере «Общего дела» (февраль 1879 года) опубликовано «Первое предостережение журналу «Общее дело», в котором Зайцев, пародируя форму цензурных предостережений, резко критиковал статью Изгоева (псевдоним П. Осипова) «Возможно ли возрождение России мирным путем?» за то, что об учении



социализма говорилось в ней «в выражениях, приличествующих Чичерину и Безобразову». Статья Зайцева заканчивалась предупреждением: «От лица всех людей, заинтересованных в существовании свободного органа русской мысли, но дорожащих своей репутацией, объявляется первое предостережение редакции «Общего дела» с тем, что в случае повторения подобных промахов участие их будет немедленно прекращено».

С подобным «предостережением» нельзя было не считаться. Редакция не могла не дорожить таким первоклассным публицистом, как Зайцев, чьи статьи, памфлеты и политические фельетоны были украшением газеты. Как писал впоследствии Христофоров, «ряд статей его в «Общем деле» по своему едкому остроумию, всегда художественной форме и мастерскому, сжатому языку, которым В. А. владел превосходно, свидетельствует о существовании в нем публицистического таланта редкой силы, таланта, который заблистал бы на всю Россию, если бы русская почва была благоприятна для таких талантов».

А. Христофоров прав. Выступления В. Зайцева в «Общем деле» (их более восьмидесяти) свидетельствуют, что талант его со временем не только не угасал, но развивался и креп, что революционно-демократические убеждения его приобрели законченную стройность и последовательность. Только прочитав его работы в «Общем деле», начинаешь понимать, насколько справедливы были слова, сказанные о нем известным русским ученым Ильей Мечниковым: «Грустная судьба наших русских писателей. Будь произведения Зайцева писаны по-французски, вся Европа, наверно, восхищалась бы ими. Ведь многие из вещей его, писанных в последнее время, будь они писаны во Франции, цитировались бы, как образцовые памфлеты, вошли бы в хрестоматии; писанные по-русски, они прочтутся с наслаждением десятками, с равнодушием сотнями, со скрежетом душевным тысячами».

Судьба Зайцева вдвойне грустна потому, что его блестящая публицистика в «Общем деле» продолжала оставаться неизвестной читателю и после того, как рухнуло столь ненавистное ему самодержавие и воплотились в жизнь те светлые идеалы, за торжество которых он отдал жизнь.

Второй том собрания его сочинений, куда должны были войти статьи Зайцева, печатавшиеся за границей, так и не вышел.

Счастливая случайность дает возможность определить, что напечатал Зайцев в «Общем деле». В Институте марксизма-ленинизма хранится комплект этой газеты, подаренный в свое время А. Христофоровым П. Струве, где рукой Христофорова обозначены авторы почти всех статей. Благодаря этому, а также с помощью Б. П. Козьмина, составившего перечень статей В. Зайцева в 1934 году, мы имеем возможность познакомиться и со статьями «русского Рошфора» — так называли Зайцева за его ослепительное, едкое остроумие товарищи по эмиграции.

Уже в одной из первых статей в газете «Общее дело» — «Наш и их патриотизм», которую сам Зайцев, по свидетельству Христофорова, считал «за лучшее из всего написанного им», вчерашний критик «Русского слова» заявил о своей приверженности к идеям шестидесятых годов, о верности заветам Чернышевского и Добролюбова.

Развивая мысли статьи «Славянофилы победили», печатавшейся когда-то в «Русском слове», Зайцев пишет:

«Галилеянин в поддевке и мокроступах, человек Православия, Самодержавия и Народности, ты победил!» — с горькой сардонической иронией восклицает Зайцев. Статья «Наш и их патриотизм» является одним из лучших образцов демократической публицистики, посвященных тому, что есть истинная любовь к своей родине и к своему народу.

«Есть два манера любить свой народ и свое отечество, — утверждает Зайцев. — Первый манер любить его так, как каждый из нас любит только хорошее жаркое. На этот манер первый патриот и народолюбец в мире есть бесспорно царь Александр Николаевич, потому что никому от этого жаркого не достается таких сочных филеев, как ему...

Надо сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и наш патриотизм представляется вещью до того сложной, что непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающими обстоятельствами. В нашей «любви» действительно гораздо больше ненависти, чем любви. «Добрый русский мужичок» наших мокроступов, восхваляемый ими как вкусное кушанье, не возбуждает в нас никакого аппетита и сопряженного с ним к нему сладострастия; мы его бесконечно жалеем, как объект вожделения мокроступов, и эта жалость возвышается до степени любви, но не мешает нам проклинать далеко не идеальный экземпляр человеческого рода».

Истинным патриотом Зайцев считает того, «кого мы, — пишет он, — люди шестидесятых годов, с гордостью называем нашим вождем», — Добролюбова. «Умирая после четырех лет геркулесовой борьбы от чахотки, спасавшей его от каторги, на которую пошел друг и сподвижник его Чернышевский, он выливал всю свою душу в чудно простых стихах:

**Милый друг, я умираю, Оттого, что жил я честен; Но за то родному краю, Верно, буду я известен!**

Это ли не святая любовь? — спрашивает Зайцев. — Молодая жизнь погибнет, но боец со смертной раной в груди, до последней минуты не отдающий меча, счастлив мыслью, что родина оценит его службу ей!» (1878, № 9).

Излюбленный жанр Зайцева — политический памфлет. Основной герой его памфлетов — самодержавие и слуги его.

В сатирах Зайцева воссоздается облик полицейски-шпионского государства, где задушена мысль, слово, чувство, где власть сосредоточена не в Государственном совете и не в Правительствующем сенате, а «просто в III отделении», где все подчинено «государственной инквизиции». Зайцев посвящает целую серию статей деятельности III отделения. Они идут с продолжением в шести номерах под общим названием «Нечто о шпионах». В этих статьях обнародован немалый фактический материал о тайных шпионах III отделения, а главное — с блистательным искусством показана неразрывная связь между деспотизмом, отрицающим всякую законность, и «шпиономанией».

«Тирания и шпионство всегда были неразлучны, — утверждает Зайцев. — Где являлся тиран, там, как грибы, росли и шпионы. Древние греки, специально занимавшиеся изучением и описанием интересной породы тиранов, отметили, как существенный и характерный признак тирана, — подозрительность. Он похож на сумасшедшего, страдающего вечным страхом, преследуемого ужасным кошмаром. Сумасшедшие под влиянием этого тяжелого чувства часто вешаются и топятся; тиран же, имея власть и деньги, думает помочь себе свирепостью и наймом бесчисленных шпионов. Шпион — это единственная надежда, единственная опора и прибежище, друг и наперсник тирана. Поэтому там, где есть тиран, неизбежно будут шпионы. Когда тирания сменила гражданскую свободу в Риме, с первым же императором возникло и целое сословие доносчиков. Коринфский тиран Периандр считался изобретателем полной и усовершенствованной системы тирании; ему приписывалось изречение: «Казнить не только совершивших преступление (против тирании), но и желающих совершить его». И действительно, это правило легло навсегда в основание тиранической системы. Преследование мыслей, намерений, желаний, симпатий и чувств стало ее задачей» (1877, № 6).

Продолжая традиции революционно-демократической журналистики шестидесятых годов, Зайцев печатает в «Общем деле» серию язвительных фельетонов, посвященных «журнальному стаду», — таких, как «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма», «Холопские речи», «Еще о холуях», «Образцы казенного красноречия», «Журналисимус граф Суворин-надпольный» и т. д.

«Я холуй, и ничто холуйское мне не чуждо» — таков эпиграф к фельетону «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма» с характерным подзаголовком: «Попурри из российских публицистов». «Да, положи руку на сердце и взяв православного бога в свидетели, мы громко и торжественно объявляем: мы холуи и гордимся этим! — так начинает Зайцев свое сатирическое обозрение либеральной русской прессы. — Холуй — это тип православных и императорских добродетелей — смиренномудрия, терпения и любви. Эти три слова в нашем девизе заменяют свободу, равенство и братство».

Заслугой Зайцева было то, что он первым разоблачил провокационный характер журнала «Вольное слово», организованного за границей печально знаменитой «Священной дружиной» для подрыва изнутри освободительного движения. Вначале Зайцев задал «Вольному слову» вопрос, как оно относится к министру внутренних дел Игнатьеву («Общее дело», № 44). А когда «Вольное слово» уклонилось от ответа, сославшись на то, что «деятельность министра внутренних дел настолько обширна, что не может быть охарактеризована в двух словах», Зайцев напечатал в следующем номере фельетон под выразительным названием «Хлоп!», где показал связь «Вольного слова» с правительственными кругами. А через несколько номеров раскрыл и организатора «Вольного слова» Л. П. Мальшинского, агента III отделения.

Варфоломей Зайцев первым в нелегальной прессе заговорил и о «Священной дружине», разоблачив в статье «Белый террор» (1881, № 44) террористический характер этой черносотенной тайной организации. Его политическая публицистика убеждает нас, что он остался типичным шестидесятником,

всцело воспроизводящим то «широкое отрицание» социальных, политических и нравственных порядков самодержавно-крепостнической России, которое было свойственно «нигилизму 60-х годов».

С уничтожающим, презрительным сарказмом говорит Зайцев о российском либеральном «обществе», о реформистских иллюзиях, об идее «либеральной конституции». Одна из его статей — «Ввиду валуевской конституции» (1877, № 6) — посвящена слухам о том, что якобы такая «конституция» уже сочинена действительным тайным советником Валуевым.

Зайцев говорит, что в принципе в этих слухах ничего невозможного нет: держимордство в мировой истории не раз доходило до такого банкротства, что ему «не оставалось ничего больше, как завопить, обращаясь к обществу: «Батюшки, посадите же меня, наконец, на цепуру!..» Но он предупреждает, чтобы общество не обольщалось этими слухами, потому что если самодержавие и скажет «пас», то это будет «пас коварный», это будет «увенчание здания» подделок и фальсификаций, которыми ознаменовало себя нынешнее царствование.

По убеждению Зайцева, — он может выражать теперь эту мысль открыто, а не с помощью недомолвок, как в подцензурном «Русском слове», — самодержавно-крепостнический строй исключает путь реформ сверху. Да, царское самодержавие «есть корень и источник всего зла, но не реформ от него ждут, а требуют его немедленного удаления» (1878, № 18).

В одной из своих статей Зайцев специально обращается к вопросу: «Революция или реформа?» Он спорит с Лассалем, который «проводил... параллель между реформой и революцией не в пользу последней». По Лассалю, указывал Зайцев, реформа есть переворот мирный, а революция — движение насильственное, в этом вся их существенная разница, и если так, то понятно, что революция есть зло в сравнении с реформой. Однако «разница между революцией и реформой не в средствах только, а в цели, чем обуславливается и различие средств. Революция есть совершившийся или совершающийся переворот общественных условий; так как она необходимо нарушает интересы преобладающих властей и дирижирующих классов изменяемого порядка и так как самое убедительное красноречие еще никогда не вынудило ни одного вора возвратить похищенный новый платок, то понятно, что мирным способом революция не может совершиться» (1881, № 42).

Для реальных, конкретно-исторических условий жизни России той поры это положение было бесспорным. Зайцев выступает здесь как последовательный революционный демократ, но, убеждая, что Россию может спасти только революция, Зайцев не высказывает надежд на близкую возможность ее. Отсюда его пессимизм, который явственно звучит в статьях «Общего дела». Как справедливо свидетельствует Христофоров, Зайцев начинал сотрудничество в «Общем деле» не без грустного скептицизма: «Удрученный тяжелыми воспоминаниями, оскорбленный апатией и неподвижностью русского общества, он порой переставал верить в его современных представителей и с негодованием говорил: «Оставьте всякую надежду, рабство в крови их!»

С болью говорил он в статье «Наш и их патриотизм» о своей родине — «одной из самых обездоленных частей земного шара, населенной одним из самых забитых и отсталых человеческих племен». Этот мотив — мотив забитости, отсталости, терпения народных масс — и в «Общем деле», как когда-то в «Русском слове», на первых порах для Зайцева основной. В бесцензурном журнале Зайцев пишет об этой беде своей отчизны в полный голос, он не скрывает своего гнева, отчаяния, тоски. «Насчет терпения и говорить нечего. Это наша коренная добродетель, в которой мы за пояс заткнем всех ослов и дворняжек» (1887, № 4), — заявляет он. Именно этой «добродетелью» объясняет он столь продолжительное существование на Среднерусской возвышенности ископаемого чудовища — са.v Державин: «...плоскость была населена лилипутами, очень богатыми пенькой и лыком, но еще более богатыми терпением и смирением» («Ихтиозавр и люди», 1878, № 10).

В статье «Паши шансы» (1878, № 11), где речь идет о «войне, войне беспощадной тирании, войне без перемирий и сделок», Зайцев устраивает как бы смотр силам, выступающим против самодержавия. Он говорит здесь о поднимающейся революционной молодежи («Вы же милые, чистые сердцем юноши... вас бесполезно увещевать. Вы рождены для святого мученичества, для жертвы идолу... и весело взовьется в печи пламя, политое вашей кровью!» — писал он еще раньше в «Навуходоносоре») и вновь предостерегает: «Наше горячее сочувствие к бедствиям народной массы не должно вводить нас в сентиментальное и мечтательное отношение к ней». Он пишет в этой статье, что миллионы народных масс задавлены «вековечным рабством... Мы нисколько не поможем народу тем, что будем представлять себе его великим героем, исполненным ума, гражданских добродетелей и нравственности. Это было так же нелепо, как и осуждать или бранить его. Он таков, каким сделала его тысячелетняя история, а история эта была так некрасива, что от ее работы ничего хорошего выйти не могло. Тем больше причины стремиться к ее перемене».

Но каким путем?

Снова, как и пятнадцать лет назад, Зайцев возвращается к мысли о том, что только революционная молодежь, сплоченная воедино, может даровать — пусть и насильственно — свободу народу.

Зайцев не верит в революционность народа, не верит он и в революционные возможности русского «общества». Он видит единственную силу, способную противостоять самодержавию, — партию революционеров: «Мы и они — два борца на пустой арене, среди безмолвной, безучастной публики» (1878, № 11). Открытая политическая борьба организации революционеров с самодержавным правительством — это «единственный шанс на победу», и для победы нам нужно только «смелости, смелости и еще смелости» — как говорил Дантон» (1878, № 11).

По-видимому, бланкистские, «заговорщицкие» идеи, которые столь реально воплотились в деятельности народовольцев и которые ранее не совсем чужды были Зайцеву, укрепились теперь в его мировоззрении. Вот почему он приветствовал деятельность «Народной воли». Пожалуй, никто из

шестидесятников, если не считать Зайценского и Соколова, не относился столь одобрительно к народолюбцам, как Зайцев. С весны 1878 года меняется: даже тональность его статей в «Общем деле»: в них появляется несвойственный ему ранее оптимизм. По свидетельству А. Христофорова, «выстрел Веры Засулич оп принял с величайшим энтузиазмом, как сигнал пробуждения, свидетельство существования великих нравственных сил в России. С восторгом видел он, как возбужденные этим выстрелом революционные силы России выходили из замкнутых твердынь своей доктрины на поле политической борьбы, и с той поры уже не сомневался в счастливом исходе последней. Участь деспотизма была для него решена, и вопрос его окончательного падения был вопросом недалекого будущего» (1882, № 47).

Зайцев внимательно следит за всеми перипетиями революционной борьбы народолюбцев с самодержавием, приветствуя каждую их победу. «Ах, какой пассаж!» называет он статью, посвященную убийству начальника; III отделения Мезенцева: «Пассаж состоит в том, что убили начальника шпионов».

Зайцев рассказывает читателям о покушении на царя. Для подпольной газеты «Народная воля» он пишет статью «О пользе цареубийства», в которой солидаризуется с народолюбцами. Однако он подчеркивает, что видит пользу в цареубийстве лишь в том случае, если это «не просто насильственное лишение живота предрержавной власти, а цареубийство политическое, то есть имеющее целью перемену политической системы обществе». При этом Зайцев оговаривается, что побуждает его к столь суровым выводам «рыцарское отношение» к «угнетенно-суровой истине», а никак «не политические взгляды. Если бы я имел личную симпатию к цареубийству, я совершил бы его...» (1880, № 37).

Эта оговорка важна. Она свидетельствует, что политические воззрения Зайцева семидесятых годов не были тождественны взглядам народолюбцев. Террор не был для него спасительной панацеей от всех бед. По поводу убийства Мезенцева он писал, что приветствует убийство «шпиона», но что о политическом расчете «этой акции п речи быть не может: не оскудеет земля русская подлецами» (1878, № 14).

Под цареубийством он понимал не уничтожение личности данного императора, но уничтожение *принципа* самодержавия, — только в этом случае он стоял и за убийство царя. «Перемена личности» ничего не может дать народу, «если принцип остается тот же», — писал он в статье «60 лет» в связи с шестидесятилетием Александра II. «Дело не в его жизни, — говорит он об Александре II, — а в жизни самодержавия. Да живет Александр какой угодно и да умрет царь!» (1878, № 10).

Вот почему, когда царь Александр II пал от руки народолюбцев и на престол взошел Александр III, Зайцев обошел молчанием это событие. Ни порицать героев «Народной воли», ни приветствовать эту акцию как победу революции он не мог. Однако Зайцев немедленно отозвался на варварскую казнь новым царем героев-народолюбцев. «Повесил! — писал Зайцев в статье «Новый вешатель». — Еще бы не повесил он, внук Николая и сын Вешателя! И так, война не па живот, а на смерть будет продолжаться. Придется еще, быть может,

не раз пережить те чувства, которые мы испытали, когда читали известие о смерти наших героев... Но, несмотря на тяжелое ожидание новых жертв, нас ни на минуту не озабочивает сомнение в исходе этой борьбы» (1880, № 40).

Несмотря на то, что Зайцев далеко не во всем был согласен с тактикой народовольцев, он нигде не оскорбил дело героев словом упрека или сомнения. Он считал, что революционные народники 70-х годов продолжали те самые традиции, которые были близки Зайцеву. Более того, по убеждению Зайцева, именно они воплощали эти традиции в жизнь. Специально для газеты «Народная воля» Зайцев пишет статью «Русская революция» — поэтический апофеоз народническому движению. Он искренне верит, что Россия вступила на путь революции, и революции победоносной:

«Когда 20 лет тому назад мы мечтали о ней, мы не так представляли себе ее появление. В наших мечтах она являлась к нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, жакерии, крестьянской войны или с громом пушек и речей народных ораторов, как в 92. Но вот она пришла не как повторение и подражание, а новая и самобытная, совмещающая странные контрасты и являясь настоящей дочерью своего века — таинственная в своих средствах и путях и открыто героическая в своих деятелях, мудрая, как змий, и чисто наивная, как голубица, с фанатизмом христианских мучеников в сердцах и со всеми средствами науки в руках, грозная решимостью губить и непобедимая решимостью гибнуть. Она не порыв, не буря. Она сознательное, цивилизующее, разумное дело, дело медленное, малозаметное...» (1880, № 33, 34).

Существование самодержавия вопрос времени, утверждает Зайцев. Пройдет ли год, три ли, пять, но «подведенные под него галереи сойдутся, и работники подадут друг другу руки с возгласом: «Победа!»

С предчувствием победы подходил Варфоломей Зайцев к своему концу. Он умер 20 января 1882 года неожиданно и внезапно. Вернувшись в 12-м часу дня с очередного урока, вошел в дом и, не успев вымолвить слова, рухнул на пол. Он успел умереть до того, как жизнь вновь вдребезги разнесла иллюзии русских революционеров: поражение «Народной воли» вновь отбросило их на исходные позиции.

Но Варфоломей Зайцев уже не узнал об этом. Жизнь не часто баловала его радостью, и последние годы его жизни по наполненности и вере могут быть сравнены лишь с годами ранней юности — временем, когда он принадлежал московскому революционному студенчеству и писал свою статью «Представители немецкого свиста Гейне и Берне».

**НИКОЛАЙ СОКОЛОВ**  
**ПОЕДИНОК**

В четыре часа утра, когда белая петербургская "ночь незаметно сменялась рассветом, его вывели из здания судебной палаты, что на Сергиевской улице, и под конвоем двух гвардейцев в последний раз пешком провели через весь Петербург. Путь был знаком. За время ареста, с ноября 1866 по июнь 1867 года,

он проделал его уже восемь раз. По Летнему саду и Марсову полю, мимо Зимнего дворца, по всему Питеру до дальнего Литовского замка, не торопясь шли они — высокий арестант в потрепанном, коротком, не по росту, тюремном халате и два плечистых, статных гвардейца с примкнутыми к ружьям штыками. Точеное, бледное лицо, обращенный внутрь взгляд, русая борода — весь облик арестанта в неуклюжих и странных для города одеждах, исполненный одухотворенной силы, приковывал к себе внимание. Вот и на этот раз, когда Петербург был совершенно пустынен, они шли не одни. На расстоянии десяти шагов по тротуару за ними упорно следовала уже немолодая и одинокая в ту ночь петербургская «камелия». Солдаты усмехались несообразности такого почетного эскорта, но она шла и шла следом, вглядываясь в спину арестанта, чем-то поразившего ее воображение, потом ускорила шаг, почти побежала и, к удивлению солдат, вдруг протянула бережно и нерешительно ладонь, на которой лежал двугривенный.

Арестованный остановился, взял его.

— Это будет память о доброте вашей, — вот все, что сказал он. И улыбнулся.

— Идемте, господин подполковник, — помедлив, покачнул штыком гвардеец.

На повороте улицы Соколов обернулся: лицо женщины, внимательно-скорбное, он помнил всю жизнь. Хранил и двугривенный — в одиночке Трубецкого бастиона, и в мезенской ссылке, и в долгих скитаниях на чужбине.

И уже перед самой смертью, диктуя «Автобиографию», оставил память людям об этой «бедной ночной бабочке», которая «сжалилась над ним». Он диктовал «Автобиографию» спустя почти двадцать лет, но ничего не забылось, как будто только вчера совершал он этот последний в его жизни пеший петербургский путь, как будто вчера — «с Евангелием в руках и в арестантской одежде, подпоясанный красным кушаком» — стоял он в полупустом зале перед многочисленными судьями и держал защитительную речь. Держал уголовный ответ не за деяние — за слово, за свою книгу «Отщепенцы», арестованную цензурой еще до того, как попала к читателю. Держал его перед прокурором Тизенгаузеном, требовавшим заключения в крепости, а потом поселения в отдаленных местах Сибири: красные, в синих прожилках, пухлые щеки, утиный, сизый нос, маленькие, оловянные, как пуговики, глаза. Он вел дело с такой удручающей тупостью, что, по словам Соколова, «о ней только в сказке сказать, а не пером описать». Держал ответ перед председателем суда Полнером — сановным и барственным аристократом с таким бархатным, звучным и лживым голосом; перед санкт-петербургским предводителем дворянства князем Трубецким, царскосельским уездным предводителем дворянства Платоновым и прочими присяжными заседателями. Держал ответ перед властью имущей, деспотической, крепостнической Россией, в лицо которой столь дерзко бросил свою правду, свою боль.

Он был один в этом казенном зале, где все до мелочей было продумано так, чтобы внушить арестанту: самодержавная власть все, а ты — ничто. Ты бессилен перед маховиком государственной машины, а она олицетворена во всем: и в этих тупых и сытых лицах, в непроницаемом выражении которых уже



предначертан обвинительный приговор, и в этих веселых солнечных бликах, играющих на зеркально-холодных штыках, во всей неторопливой, с тщательным соблюдением формальностей судебной церемонии, в точности соответствующей новому, либеральному, судебному уставу. Ты отщепенец, нигилист, дерзнувший бросить вызов этой силе, по доброй воле отщепившийся от нее, а следовательно, и от покоя, благополучия, сытости, преуспеяния, сменивший золотые офицерские погоны на халат арестанта. Ведь ты ничтожество в наших глазах, почти что сумасшедший и юродивый. Да и как объяснить иначе этот факт: вчерашний подполковник Генерального штаба, блестящий офицер, удостоенный личного приема у военного министра за отличие, за храбрость в делах против Шамиля; объездивший полмира, представлявший Российское государство в Пекине, человек света, перед которым была открыта блистательная карьера, стоит сегодня перед судом по обвинению в преступлениях, направленных против государства, власти и нравственности. Что заставило его пойти на это? — вот что не могли понять его судьи.

— Какую же цель имели вы, издавая подобную книгу? — напряженно спросил его князь Трубецкой.

Чтобы доказать вам, князь, и всем судьям, цензорам и прокурорам, что вы — лишние люди и что я буду лишний, когда вас не будет. Поняли?

— Садитесь, господин Соколов, — сказал судья.

— Довольно посидел я, дайте постоять... за себя.

Так начал он свою защитительную речь — и произошло чудо: видимость всемогущества власти, при всей ее осязаемой, материальной реальности, как бы рассыпалась, ей противостояла иная, более высокая сила — сила нравственная, сила разума и человеческой совести, сила большого и честного убеждения. И хотя Соколов говорил тихо, сдержанно, капельку заикаясь, была необъяснимая для судей притягивающая магия в его словах. И хотя его перебивали — вначале часто, потом все реже и реже, в холодном, чопорном, враждебном зале стояла полная тишина. Нравственное превосходство подсудимого было разительным, по необъяснимым законам человеческой психологии оно давало ему право на жалость к судьям, на странную, неисповедимую боль за этих людей, окружавших его в такой бесспорной внешней всемогущности. «Смею думать, — говорил Соколов, — что речь г. прокурора произвела на вас, гг. судьи, самое тяжелое впечатление. Мне больно за г. прокурора, мне больно за него, как за человека, потому что он обвинял меня даже не как прокурор, а как инквизитор. Ему казалось мало выставить меня государственным преступником и потребовать суровой уголовной кары. Нет, ему захотелось еще заглянуть в мою душу и увидеть в ней такую страшную накипь ненависти, злобы и ожесточения против общества, какая, по его выражению, «едва ли может накопиться в сердце одного человека». Повторяю, что мне больно за г. прокурора, потому что я сделал все, чтобы предупредить не осуждение и наказание мое, а недобросовестное обвинение со стороны прокурорской власти». (На этих словах председательствующий прервал речь подсудимого и <...> заметил ему, что он не должен употреблять оскорбительных выражений. Подсудимый

возразил, что в суде он пользуется одинаковыми правами с обвинителем, и если прокурор позволил себе сказать, что подсудимого следует извергнуть из общества, то и он, подсудимый, в свою очередь, может смело назвать обвинение прокурора ложью и клеветой.) Затем подсудимый Соколов продолжал: «Как назвать, в самом деле, обвинение, которое обращается в навет и основывается на личном «подозрении»? Пора бы, кажется, отказаться от ненавистного способа обвинять человека по подозрению.

Давно уже известна та истина, что человек тем охотнее подозревает злыми других, чем злее сам. Прокурор уверяет, будто такая книга, как «Отщепенцы», непременно вызвала бы строгое судебное преследование не только в России, но и везде за границей. Неправда! Нигде, положительно нигде, даже в Турции, не стали бы судить за книгу, которая не поступала в продажу. Напрасно, наконец, прокурор извлекает из моей книги только такие места и выражения, которые могут особенно раздражать сословное самолюбие, и напрасно он приписывает мне лично слова, сказанные не мною, а теми авторами и лицами, о которых упоминается в моей книге... Я отвергаю все пункты обвинительного акта, все, кроме последнего, где указывается на брань, выраженную в моей книге против правителей, защитников законного порядка и вообще богатых классов общества. Да, я сознаюсь, что нещадно бранил власти и высшие сословия, и причину такой брани я постараюсь объяснить...

Действительно, я бранился и продолжаю браниться потому, что сердит на сильных, знатных и богатых мира сего, которые сами не ищут царства правды, а желающих найти его обвиняют в злонамеренности и преступности. Я принадлежу, гг. судьи, к числу тех людей, которые веруют в правду на земле и стараются осуществить ее непременно, невзирая на равнодушие, тупое ожесточение и гонение со стороны общества и представителей его... Судите меня, гг. судьи, за убеждения и принципы и за смелое их выражение. Много правды, сущей правды высказал я в своей книге и высказал не от себя, а от имени святых и честных людей, которые жили, трудились, страдали и умирали на благо народа и человечества. За какую же правду хотите осудить меня?»

Соколов кончил. Прокурор объявил, что не находит нужным возражать на речь подсудимого. Тогда обвиняемый предложил прокурору поступить по совести и отказаться от возведенных на него, Соколова, обвинений. Председатель суда грубо оборвал его.

Каковы же были обвинения, возводимые на автора «Отщепенцев»?

«По общему своему характеру, — говорилось в обвинительном заключении по книге, — она едва ли имеет что-либо подобное себе в русской печатной литературе. Она представляет сборник самых неистовых памфлетов, имеющих целью подкопать все основы цивилизованного общества. Вера, политика, власть, гражданское и судебное устройство, правила нравственности подвергаются в ней самым необузданным нападениям».

Далее шел подробный пересказ «Отщепенцев» с обильным цитированием книги, завершавшийся выводами о том, «1) что из цитат, приведенных выше, обнаруживается намерение издателя и составителя книги «Отщепенцы» II. Соколова доказать, что христианская религия в настоящем ее

виде не есть уже учение Иисуса Христа и давно уже сделалась орудием и пособницею всевозможных преступлений, чем явно нарушаются законы, ограждающие христианскую веру и православную церковь от порицаний; <...>

2) что составитель и издатель книги старался возбудить презрение и ненависть ко всякой правительственной власти, чем также нарушается закон, ограждающий порядок управления; <...>

3) что в книге заключаются самые неистовые нападки на право собственности; <...>

4) обнаруживается стремление подкопать все нравственные понятия и даже вовсе отрицать существование нравственности, так как в ней утверждается, что мораль бедного не одинакова с моралью богатого и что человек, не находящий работы, имеет право брать все, что ни попадется ему под руку; <...>

5) что приведенные цитаты, характеризующие направление книги, и многие другие приведенные в ней места к мысли делают книгу чрезвычайно опасною как по значительности вреда, который могла бы она причинить, если б была пропущена к обращению и попала в руки читателей незрелых или легко увлекающихся всякою парадоксальною мыслью, — так и потому, что собранные в книге статьи направлены против самых существенных основ общественного порядка: религии, правительственной власти, права собственности и начал нравственности».

Можно представить себе ужас, который обуял цензоров и судей, когда они читали страницы книги, обжигающие ненавистью к деспотам и угнетателям, открыто взывающие к революции. Можно представить себе их удивление, когда мятежный автор «Отщепенцев» предстал перед судом, — удивление перед его мужеством, внутренним достоинством, верностью убеждениям и уверенностью в своей правоте. Друзья умоляли его перед процессом взять адвоката, известные юристы того времени — Унковский, Ольхин, Танеев — предлагали Соколову его защищать, но он отказался от чьих бы то ни было услуг. Он защищал себя сам. Точнее, не столько защищался, сколько нападал, развивая публично идеи своих «Отщепенцев». Процесс для него был гражданской, нравственной акцией, битвой за свои убеждения — это был урок поведения революционера на суде, повторенный позже деятелями революционного народничества, превращавшими почти каждый процесс над ними в трибуну активной политической борьбы. Это был урок высокой гражданской нравственности, новой нравственности той эпохи.

В архивах III отделения мы обнаружили письмо некой Екатерины Калиновской, которая была близка кружку Ножина, Зайцева, Соколова, дружна с автором «Отщепенцев» и посещала его во время заключения в Литовском замке. Вот что писала она 17 мая 1867 года Вере Писаревой, сестре Д. И. Писарева, которая любила Соколова:

«Соколов неоспоримо верит в справедливость своего учения и в законность своей книги. Правдивое и законное презирает всякого рода защиту, как унижение для себя, — таково убеждение Соколова; стало быть, с этой стороны защиты не существует; не пойдет же Соколов против себя. Теперь вопрос: нужно ли Соколову объяснять суду убеждения, написанные им? Нет: его не

поймут; я разумею непонимание сердцем, а не умом... При таком условии убеждать — значит рассыпать бисер перед свиньями. А такие понятия против правил Соколова, как и каждого умного человека... Тут-то и начинается коллизия. Жить или умереть — вот между какими фатальными крайностями борьба в Соколове, и эта борьба усилится по мере приближения развязки. Что же, по понятиям Соколова, в отношении его самого, в настоящем положении, значит жить? То, что по понятиям... прочих — погибель, смерть, а именно: остаться самим собою, без страха и трепета отдать себя на все во имя идей.

Разумеется, для того чтобы беззаветно задавить себя крестом, взятым на свои плечи, для этого необходимо, чтобы крест и жизнь были самыми близкими синонимами, чтобы и мысль о возможности жизни в истинном смысле этого слова, предав свои идеи за животное существование, была бы немислима. Что все это не так в Соколове, мы не имеем права предполагать, мы слишком верим его словам, мы верим (о, как еще верим!), что он не резонер, бьющий на эффект, не шарлатан, проповедующий какое-то отщепенство, чтобы только иметь право ничего не делать и туеядствовать, а герой, надевший на себя тяжкие вериги во имя правды, с тем чтобы распространить эту правду или же задохнуться в веригах своих... Несправедлив, кто думает, и клеветник, кто утверждает, что Соколову мучительно жаль отказаться от жизни, от жизни в полном смысле, чтобы не покидать знакомых, чтобы посреди них хорошо пить, есть и прочее. Соколову ли свойственно гоняться за наслаждениями, какие может дать ему удовлетворение потребностей его физического организма? Для такого ли смрада и мерзости отречется он от себя? Он ли примет за настоящую жизнь позор?... Да, Соколов способен или жить, или умереть. И не из страстного ли желания истинной жизни сделался он проповедником отщепенства?...»

Это письмо — любопытный документ эпохи, передающий нравственную атмосферу, которая царила в среде передовой русской молодежи шестидесятых-семидесятых годов. Молодые люди, нигилисты, как их называли, отрицали казенную мораль, основанную на фальши, лжи, на презрении к человеческой личности, на жажде наживы и карьеры, на деспотизме отцов. Они объявили беспощадную войну миру привычек, обычаев, догматического мышления и предрассудков. Они противопоставили всему этому культ человеческой личности, уважения к ее самостоятельности и нравственной ценности, — вот почему для каждого из них так важно было в любых, самых трудных обстоятельствах сохранять верность себе, своей натуре, своим взглядам и убеждениям, оставаться самими собой. Мелкой, низменной, корыстной жизни ради личного преуспевания они противопоставили жизнь ради высокой человеческой идеи, ради служения народу, и это не было фразой, это было нормой повседневного поведения, психологической плотью характера. Они выходили в жизнь с предощущением подвига, с готовностью к борьбе и расплате, любой, самой страшной расплате за свои идеи и убеждения.

**ЕГО «АВТОБИОГРАФИЯ»**

Кто он был, автор этой легендарной книги «Отщепенцы»? Что привело его к столь дерзкому и беспощадному отрицанию самодержавия и крепостничества, казенной религии и буржуазного эксплуататорства?

Ответить на этот вопрос нам помогает его «Автобиография», которую он продиктовал весной 1885 года после настоятельных просьб друзей. «Автобиография» его была написана от третьего лица и представляла собой, по словам самого Соколова, только основу воспоминаний. Он предполагал впоследствии развернуть «Автобиографию» в широкую и цельную картину эпохи, насытив ее богатыми и интересными подробностями не только о своей жизни, но и о времени, о людях, с которыми ему пришлось сталкиваться. Смерть помешала осуществить это намерение. Сохранилась лишь эта, в значительной степени конспективная, «основа» воспоминаний, что дает тем не менее представление как о сложной и интересной жизни Соколова, так и о времени. «Автобиография» в первой своей части (до ноября 1868 года) дошла до нас благодаря тому, что была опубликована в первом номере эмигрантского журнала «Свобода» за 1889 год (Париж). К сожалению, второй номер этого журнала, издававшегося эмигрантами-народниками С. Княжниным и М. Турским, не вышел. В первом номере «Свободы» анонсировалось не только продолжение «Автобиографии» в последующих номерах, но и выпуск ее отдельной книгой. Книга эта тоже не вышла. Какова же судьба «Автобиографии» Соколова? В монографии Ю. Стеклова о Бакунине приводятся цитаты из второй части «Автобиографии», относящиеся к эмигрантскому периоду, со ссылкой на труд М. Неттлау. Неттлау, последователь Бакунина, всю жизнь посвятил исследованию и сбору материалов о деятельности главы анархизма. Он выпустил несколько книг о Бакунине, но главная его работа, включающая огромный документальный материал, не издана. Размноженные им (в количестве 50 экземпляров) рукописные копии этой книги находятся в крупнейших библиотеках мира. У нас этот труд хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма. Неттлау и в самом деле страницами цитирует здесь неизданную «Автобиографию» Соколова, разделы, относящиеся к эмиграции, и часто ссылается на нее. Откуда она ему известна? Неттлау сообщает, что с разделами «Автобиографии», относящимися к эмигрантскому периоду жизни Соколова, познакомили его в 1895 году в Париже Сидорохин и некий его армянский друг (возможно Саркисян?). Они перевели Неттлау вторую часть «Автобиографии» с русского на французский, а он это записал в немецкой стенографии. «Поэтому, — подчеркивает Неттлау, — я не могу отвечать за дословный текст... Места, приведенные мною, даются в полном тексте, но я не сравнивал их с оригиналом, проверяя лишь их дословное звучание». Неттлау высказывает уверенность, что когда-нибудь «Автобиография» будет полностью издана на русском. Пока это невозможно — оригинал «Автобиографии» до сих пор не обнаружен, — его следует искать, по-видимому, в Париже.

Познакомим читателя хотя бы с тем, с чем возможно: со страницами «Автобиографии», приведенными в двойном переводе Неттлау, а также с разделами ее, опубликованными в «Свободе». Книжка этого журнала является

такой библиографической редкостью, что она практически недоступна читателю. Вот почему я считаю необходимым привести этот интереснейший документ эпохи со всей возможной полнотой, прокомментировав его. Итак, «Автобиография» подполковника Н. В. Соколова, написанная от третьего лица.

«Он родился в ночь с 15 на 16 ноября 1832 года. Отец его, Василий Гаврилович, старый гвардеец, был экономом школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров... У него были, конечно, братья и сестры. Старший, Евгений, в настоящее время командует 1-ой бригадой 34-ой пехотной дивизии в Екатеринославе. Другой брат, Александр, — моложе его — пропал без вести в 68-м году в Сибири, где был офицером амурского казачьего войска. Третий — самый младший, — Сергей, не доучился во II кадетском корпусе, был исключен и теперь, поело смерти матери, служит на Варшавской железной дороге кондуктором. Сестры все моложе его: Анна кончила в Патриотическом институте с шифром и, занимая постоянно место гувернантки, теперь уже старой девой учительствует в Таганроге. Последняя сестра, любимица его, Александра, была замужем за донским офицером Зарубиным, умерла в 1882 году, в конце декабря, 38 лет. Матушка его, Анна Яковлевна, умерла 17 декабря 1883 года в глубокой старости, почти слепая; последние годы была очень дружна с матерью Ткачева. Похоронила матушку жена старшего сына — Евгения, у которого пять дочерей.

#### Детство

Детство он провел в семье и, как оба брата, по приказу царя Николая Павловича был записан кадетом Второго кадетского корпуса. Но в 1845 году матушка увезла его в Александровский брест-литовский кадетский корпус, где уже находились оба брата. С августа 1845 года до июля 1851 года он находился в этом корпусе — эпоха, которая на него до сих пор наводит ужас: солдатчина, жестокое обращение и розги без конца! Кончив шестилетнее обучение, он был отправлен вместе с выпускными товарищами в сборный так называемый Дворянский полк (Константиновское училище на Петербургской стороне), куда отправлялись кадеты всех губернских корпусов для окончательного двухлетнего специального образования.

#### Образование

Итак, поучившись восемь лет, отличаясь постоянными необыкновенными успехами, несмотря на заикание, был 13 августа 1853 года произведен в офицеры. За неимением вакансии в лейб-гвардии воинском полку, где служил уже два года брат его Евгений, он отправился в чине поручика в гренадерский Несвежский карабинерный Баркляя-де-Толли полк, где пробыл только два месяца, и окончательно переведен в лейб-гвардии Волынский полк.

#### Служба

В 1854 году, в начале февраля, во время Крымской войны отправился с полком пешком в город Ревель для защиты балтийского берега. В октябре того же года, все пешком, обошел Лифляндию и зазимовал там на квартирах в Венденском уезде, близ Западной Двины. 20 февраля 55-го года, отслужив панихиду по Николае Павловиче, вернулся с полком в Курляндию, в местечко Фаль, на берегу моря и затем в июне отправился в Петербург для поступления в

Академию императорского штаба. В ней пробыл два года и в начале января 58-го года был назначен на службу на Кавказ, получив такую подорожную: подпоручик лейб-гвардии Волынского полка, причисленный к генеральному штабу состоять при главном штабе Кавказской армии по особым поручениям.

### **На Кавказе**

На Кавказе, с 16 января до 15 сентября — сначала в Тифлисе, а потом с мая месяца в экспедиции в Ахо, против Шамиля. За отличие в делах против горцев при штурме Мескендунских высот награжден чином и отправлен курьером с депешами к военному министру в Петербург, где и оставался при департаменте генерального штаба, где пробыл до 3 мая 1859 года. Этого числа назначен старшим адъютантом генерального штаба войск Восточной Сибири, куда, после разных приключений, чуть-чуть не оженившись, прибыл, наконец, в Иркутск 26 июля 1859 года. 2 сентября отправлен курьером в Пекин в распоряжение генерала Николая Павловича Игнатьева. В Пекине пробыл до 6 февраля 1860 года. В Иркутск вернулся 3 марта и взял там шестимесячный отпуск за границу. 27 июня вместе с капитаном генерального штаба Муравьевым выехал из Петербурга на пароходе в Лондон. Был у Герцена, который дал ему рекомендательное письмо к Прудону, жившему тогда в ссылке в Брюсселе. Из Лондона сперва отправился в Париж, а потом в Брюссель, где посещал каждодневно Прудона. В половине сентября вернулся в Питер с запасом запрещенных книг, которые удалось провезти благодаря кронштадтским морякам.

С половины сентября до 1861 года опять оставался при статистическом отделении департамента генерального штаба. 17 марта прибыл в город Кременец, куда назначен был дивизионным квартирмейстером генерального штаба Седьмой пехотной дивизии в чине капитана. Когда эту дивизию отправляли в Польшу, в город Радом, то он, предвидя Польское восстание, взял отпуск в Петербург, невзирая на военное положение. Начальник генерального штаба не хотел оставлять его в Петербурге под тем предлогом, что никто из офицеров генерального штаба не хочет ехать в Польшу. Он тогда подал в отставку. Ее не приняли и решились, наконец, оставить при департаменте генерального штаба в звании библиотекаря. В конце того же года он написал «О несостоятельности политической экономии» и большую свою рукопись отнес к Чернышевскому, который был в сношениях с будущими польскими революционерами (Сераковским) и офицерами генштаба: Обручев, Кармалин, Аничков, Бибииков, Добровольский. Из них только Бибииков оказался честным человеком. Чернышевский предложил писать в «Современнике», только не о политической экономии, и рекомендовал его Благодетелю, редактору «Русского слова». Там он и начал писать свои экономические статьи с начала 1862 года».

Прервем здесь пока текст «Автобиографии». Что обращает на себя внимание в этой начальной части лаконичного жизнеописания Соколова?

Прежде всего то, что Соколов с детства прошел трудную и демократическую школу жизни. Жалованье отца было не настолько велико, чтобы в достатке содержать семью, где шестеро детей. Его детство было детством разночинца.

Свою служебную биографию, свою военную карьеру он сделал сам. Для того времени это была блестящая биография — и не только в силу «необыкновенных успехов» в учении (а Соколов, как мы видели, успешно закончил лучшие военно-учебные заведения тех лет — Константиновское училище и Академию генерального штаба). За его плечами к 27 годам — участие в войне с Шамилем, служба в генеральном штабе войск Восточной Сибири и, наконец, командировка в Пекин. Три крайне важных события в жизни любого офицера в те годы. И пожалуй, самое интересное среди них — не кавказская кампания, хотя в ходе ее Соколов совершил героический подвиг и был отмечен чином и вниманием военного министра, — особенно интересны были служба в Восточной Сибири и поездка в Пекин. Соколов служил в Восточной Сибири как раз в ту пору, когда генерал-губернатором этого края был граф Н. Н. Муравьев-Амурский, человек властный, умный и энергичный, к тому же не лишенный симпатий к просвещению и либерализму.

Влюбленный в него Бакунин писал из Сибири Герцену, защищая Муравьева-Амурского от нападков в «Колоколе»: «Есть, в самом деле, один человек в России, единственный во всем официальном русском мире, высоко себя поставивший и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предай ей, как был ей предан Петр Великий. Вместе с тем он не квасной патриот, не славянофил с бороною и с постным маслом. Это человек в высшей степени современный и просвещенный. Он хочет величия и славы России в свободе. Он решительный демократ, как мы сами, демократ с своей ранней молодости, по всем инстинктам, по ясному и твердому убеждению, по всему направлению головы, сердца и жизни; он благороден, как рыцарь, чист, как мало людей в России; при Николае он был генералом, генерал-губернатором, и никогда в жизни не сделал он ничего против своих убеждений. Вы догадываетесь, что я говорю про Муравьева-Амурского... Он истинно гениальный администратор, вносящий толк, разум, ясность и простоту во все части своего управления, а в минуты трудные находящий там средства, где их никто не видит. Когда дело идет о деле, он не жалеет ни себя, ни своих служащих; в продолжение 12-летнего управления он сделал верхом, в тарантасе, телеге, пешком, на лодке более 200 тысяч верст. Он первый в 1854 году поплыл на лодке вниз по Амуру; и если бы рассказать все его амурские подвиги неустрашимости, самопожертвования, сердца, ума, то, право, вышла бы героическая эпопея».

В этой характеристике надо сделать скидку на характер Бакунина — страстно увлекающийся, эмоциональный, горячий. Но при всем том бесспорно, что граф Муравьев-Амурский был человеком масштабов редких в официальной крепостнической России. Своеобразие его личности — крутой, властной, деспотичной, но явно незаурядной — наложило отпечаток на всю жизнь далекого края и в особенности на трудный и героический ход обживания Восточной Сибири и Дальнего Востока.

По свидетельству П. А. Кропоткина, служившего в Восточной Сибири в 1862–1864 годах, высшая сибирская администрация в шестидесятые годы была гораздо более образованна, чем администрация любой губернии Европейской



России. Муравьеву «удалось отделаться почти от всех старых чиновников, смотревших на Сибирь как на край, где можно грабить безнаказанно, и он окружил себя большею частью молодыми честными офицерами». Начальником штаба войск Восточной Сибири, к кому в должности старшего адъютанта определили в 1859 году Соколова, был 35-летний генерал Кукель. Когда три года спустя на то же самое место адъютанта приехал из Петербурга Кропоткин, то Кукель повел его «в одну комнату в своем доме, где я, — пишет Кропоткин, — нашел лучшие русские журналы и полную коллекцию лондонских революционных изданий Герцена».

Событием в жизни Соколова в Сибири была поездка в Пекин в качестве курьера к генералу Игнатьеву. Факт, свидетельствующий о том, что по службе капитан Соколов был на высоком счету.

Экспедиция в Пекин, в которой принимал участие и Соколов, была исключительно трудной и важной с государственной точки зрения. Неудивительно, что по возвращении из Пекина ему предоставили шестимесячный отпуск для поездки за границу. Неудивительно и другое — то, что главным смыслом этой поездки для Соколова было посещение Герцена и Прудона. На этот счет, помимо его «Автобиографии», есть еще одно любопытное свидетельство — выписки из письма некоего Мехеды из Иркутска от 9 октября 1860 года к А. А. Карганову в Петербург, хранящиеся в архиве III отделения: «Потешный Соколов, значит, он сделал визит Герцену и Прудону, тем и ограничил свое путешествие; но я рад, что он виделся с Герценом: многие стороны Сибири станут ясны для нашего свободного голоса. Кланяйся Соколову и всем помнящим меня».

Что же значит эта фраза: «Многие стороны Сибири станут ясны для нашего свободного голоса»?

Смысл ее проясняется благодаря тем отрывкам из «Автобиографии» Соколова, которые приводит Неттлау, и его комментарий к ним. Рассказывая о сложности своих взаимоотношений с главой анархизма в эмиграции, Соколов пишет о Бакунине и себе так: «Он не любил Соколова и не мог его любить, потому что Соколов не поклонялся ему, смеялся над ним и подшучивал. А, прежде всего, он знал его прошлую жизнь, которая уже была рассказана в письмах из Сибири в «Колокол» в 1860 году». Неттлау это утверждение Соколова комментирует так: «Подразумевается период жизни Бакунина у Муравьева-Амурского, — только Соколов мог доподлинно знать его. Этот период русскими радикалами воспринимался, разумеется, не в пользу Бакунина».

Письма из Сибири, опубликованные в 1860 году в «Колоколе», где резкой критике за деспотизм подвергался граф Муравьев-Амурский, и послужили поводом для цитировавшихся выше адресованных Герцену бакунинских панегириков в адрес генерал-губернатора Восточной Сибири. Однако в этих письмах, хотя на них и «ссылается Соколов, о жизни и поведении самого Бакунина в пору его сибирской ссылки нет ни строчки. Откуда же это утверждение у Соколова? Может быть, критика в адрес Бакунина, в ту пору

близкого друга Муравьева-Амурского, содержалась в оригинале этих писем, но не попала в печать? Это, конечно, предположение.

Однако вряд ли можно сомневаться, что радость Мехеды по поводу того, что благодаря Соколову «многие стороны Сибири станут ясны для нашего свободного голоса», так или иначе связана с теми резко критическими письмами о положении дел в Восточной Сибири, которые появились в «Колоколе» в 1860 году. Критическое отношение Соколова к деятельности даже столь блистательного царского сановника, как Муравьев-Амурский, равно как его ироническое по этому поводу отношение к Бакунину, не сумевшему разобраться в непростой фигуре восточносибирского губернатора и явно идеализировавшего его, бесспорно.

Соколов пробыл за границей с июня по сентябрь 1860 года — вначале у Герцена, а потом у Прудона, которого посещал «каждодневно».

Можно предположить, что беседы «лондонского патриарха» с Соколовым нашли свое отражение в статье Герцена «Лишние люди и желчевики». Такое предположение, ссылаясь на комментарий М. К. Лемке к статье «Лишние люди и желчевики» в Собрании сочинений Герцена, высказывал, в частности, Б. П. Козьмия. Как известно, под «желчевиками» — этими «Даниилами, мрачно упрекающими людей, зачем они обедают без скрежета зубовного и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастиях мира сего», — Герцен разумел демократов-разночинцев шестидесятых годов. В статье «Лишние люди и желчевики», появившейся в октябре 1860 года, Герцен рассказывает об одном из таких «Даниилов», «недавно посетившем его и очень выдающемся в своей области». Герцен пишет, что этот посетитель резко нападал на людей сороковых годов — этих «дармоедов, трутней, белоручек, тунеядцев а la Онегин» с их любовью к фразе и отвращением к реальному делу.

Лемке справедливо указывает, что из видных радикалов Герцена посетили в 1860 году Н. В. Соколов и А. А. Слепцов. Он приводит воспоминания А. А. Слепцова, из которых видно, что он при посещении Герцена никаких споров не вел. И вообще то направление идей, которое вызвало столь резкое неприятие Герцена, было близким скорее Н. В. Соколову, чем А. А. Слепцову. Вот почему мне представляется убедительным предположение Б. П. Козьмины, что именно разговоры с Соколовым послужили одним из поводов, побудивших Герцена написать эту статью.

Все эти факты, равно как и то обстоятельство, что самое ценное богатство, вывезенное им из-за границы, составлял «запас запрещенных книг», который удалось провезти благодаря кронштадтским морякам, красноречиво свидетельствуют об умонастроениях офицера Соколова в 1860–1861 годах. Успехи военной карьеры не вскружили ему голову — в пору революционной ситуации 1859–1861 годов его позиции были вполне определены. Они еще в большей степени определились, когда по возвращении из-за границы он был принят на службу в генеральный штаб и оказался в том кружке офицеров генерального штаба (Обручев, Бибииков, Аничков, Добровольский и др.), который был в сношениях и дружбе с Чернышевским. Фраза Соколова «из них только Бибииков оказался честным человеком» относится, конечно же, к

последующей судьбе этих офицеров — все они, исключая Бибикова, в середине восьмидесятых годов, когда Соколов писал «Автобиографию», сделали удачную военную карьеру. Что же касается шестидесятых годов, то этот кружок передовых офицеров искренне сочувствовал делу Чернышевского и находился под влиянием «Современника», а такие члены его, как Обручев, не говоря уже о Сераковском, принимали активное участие в революционном движении. О настроениях же Соколова можно судить хотя бы по воспоминаниям Л. Пантелеева, который встречался с молодым подполковником генерального штаба в 1861–1862 годах. «Он уже и тогда, — писал Л. Пантелеев, — обнаруживал склонность не только к крайнему радикализму, но и к той откровенности в выражениях, дальше которой у нас в печати, кажется, никто не пошел». Вот почему совершенно естествен и органичен для Соколова его визит к Чернышевскому со статьей «О несостоятельности политической экономии». Естественным было, впрочем, и предложение Чернышевского писать в «Современнике» — «только не о политической экономии».

### **В «РУССКОМ СЛОВЕ»**

С начала 1862 года Соколов — постоянный автор «Русского слова». Его первая статья — рецензия на «Руководство к сравнительной статистике» Кольба — была, по существу, пробой пера, хотя уже и в ней вполне проявляется своеобразная позиция автора. Он приводит здесь основные статистические данные по финансам Англии, Франции, Австрии, Пруссии и России для того, чтобы сделать следующий вывод: «Таким образом, несвободные и полусвободные сословья составляют более 87 % всего мужского народонаселения России» (1862, 4, III, 60). Критический пафос, неудовлетворенность положением дел в стране красной нитью проходят через все его статьи в «Русском слове» 1862–1863 годов.

«Что у нас делается? Голод в Финляндии, голод в Архангельской, Вологодской, Тобольской, Пермской и других губерниях, неурожай повсюду, упадок земледелия, застой фабричной промышленности, повсеместная дороговизна жизни и страшное безденежье. Вот краткий перечень всем известных явлений нашей экономической жизни. Мы переживаем тяжелое время, время экономического кризиса» (1863, 3, I, 37), — писал он в марте 1863 года, когда вся либеральная журналистика трубила по поводу блистательных результатов правительственных реформ. По мнению же Соколова, и после реформы 19 февраля «народ живет бедно, грязно и перебивается со дня на день».

В своих статьях Соколов последовательно проводит *отрицательный* взгляд на положение дел в пореформенной России. «Отрицание — это дух истории, это сама жизнь. Поэтому и самый прогресс есть не что иное, как прогресс отрицания, его развитие и непрекращаемое движение» (1862, 5, III, I), — формулирует он свои исходные позиции, столь близкие «Русскому слову», в одной из первых же своих статей.

Правда, в своих статьях — он прежде всего выступал в «Русском слове» как экономист — Соколов замечает в жизни и некоторые перемены, связанные с

тем, что крестьянская реформа, несмотря на всю ее ограниченность, дала большой простор буржуазному развитию страны. «...На развалинах крепостного права появился вольнонаемный труд и, затем, в промышленности и торговле провозглашено свободное соперничество» (1863, 1, I, 13). Более того, в статьях Соколова в 1863 году звучит забота о том, чтобы развитие промышленности, основанной на вольнонаемном труде, шло интенсивнее и быстрее. В статье «Чего не делать?», например, он яростно протестовал против вывоза хлеба и сельскохозяйственного сырья за границу, ратовал за собственные фабрики и заводы, за коренное улучшение земледелия, подчеркивая при этом, что «устройство фабрик и заводов всегда предшествует и способствует развитию рационального земледелия». «Вывозить хлеб и сырые продукты па дальние рынки и за границу — значит продавать, отчуждать самую землю, обращать ее в бесплодную пустыню. Поэтому каждый земледелец... должен желать, чтобы по соседству с ним заводились фабрики, заводы, куда бы он мог сбывать свой хлеб...» (1863, 3, I, 45), — писал он.

Соколов не может принять «теорию народного самозаклания», по которой русское государство «должно заниматься земледелием, а не фабричной промышленностью», — потому что теория эта на практике означает «навсегда отказаться от свободы народного труда и экономического развития». Он — за всемерное развитие национальной промышленности, ибо «чем страна более развита, и чем более скопила капитала, тем она сравнительно богаче». Как ни парадоксально, из этого же стремления к быстрому промышленному прогрессу он исходил и в том случае, когда решительно протестовал против строительства в России железных дорог. Соколов отдает отчет в необходимости и пользе железных дорог в высокоразвитых экономических странах. Но, задает он вопрос, нужны ли железные дороги в России? «Развиты ли у нас производство, промышленность и торговля настолько, чтобы мы действительно в них нуждались?» (1863, 3, I, 15). По его мнению, строить железные дороги выгодно и необходимо лишь тогда, когда в стране будут развиты промышленность и сельское хозяйство. Сейчас, по мнению Соколова, усиленное строительство железных дорог тормозит развитие промышленности, потому что заберет все капиталы и будет способствовать вывозу русского хлеба за границу. Протест Соколова против строительства железных дорог был наивен, однако диктовался он стремлением максимально ускорить развитие промышленного производства в России. Но был ли Соколов апологетом буржуазного развития страны? Нет. В своем отношении к капитализму он занимал позицию, типичную для «Русского слова» и общую для всех шестидесятников. Понимая относительную прогрессивность буржуазно-промышленного развития в сравнении с рутинной и застоём крепостничества, Соколов отдает себе отчет в том, что «...благосостояние народа измеряется не столько количеством накопленных богатств, сколько равномерностью и правильностью их распределения. В настоящее время даже передовые, цивилизованные народы, французы и англичане, жестоко страдают от нищеты. Вот почему экономисты пишут свои сочинения о богатстве этих народов, умирающих с голоду» (1863, 3, I, 6).

Главный пафос творчества Соколова — обличение капитализма и буржуазной политэкономии. Исходные позиции этой критики те же, что и у Чернышевского: переосмысленный закон трудовой стоимости, открытый классиком английской политэкономии Адамом Смитом, — то «экономическое учение, которое объявляет труд первым источником богатства народа» (1862, 5, III, 13). Если труд — источник богатства, то, следовательно, все плоды его должны принадлежать трудящимся. Таков «великий принцип экономической жизни обществ». «Но если труд — только один труд — есть принцип богатства, то, с другой стороны, каков же принцип той ужасной нищеты, которая разъедает цивилизованный Запад?» (1862, 11, I, 13), — спрашивает Соколов. Он выступает как защитник интересов «самого бедного и многочисленного класса людей». Он отвергает учения современных ему буржуазных политэкономов именно потому, что видит классовый смысл этих учений: защиту интересов имущих классов общества. «Политическая экономия, — скажет он несколько позже, — теория лихоимства; другого определения нет и быть не может» (1865, 8, II, 3). Соколов обрушивает свой сарказм прежде всего на небезызвестного Мальтуса — автора теории перенаселения, утверждавшего естественную закономерность голода и нищеты, так как народонаселение будто бы растет в геометрической прогрессии, а продукты питания увеличиваются в арифметической. «Заслуга Мальтуса, — иронизирует Соколов, — состояла в том, что он, к неописуемому восторгу школы экономистов, первый провозгласил политическую экономию как доктрину нищеты, рабства и смерти» (1862, 5, III, 18). Соколов видит в теории Мальтуса фундамент политической экономии, апологетизирующей буржуазный строй. С его точки зрения и Рикардо и Джон Стюарт Милль, да, собственно, все политэкономы после Адама Смита — «замечательные глашатаи этой теории».

Впрочем, уже в этом утверждении Соколова ощутима ограниченность его критики буржуазной политэкономии, выразившаяся в огульности и антиисторизме многих оценок, что шло, в свою очередь, от дилетантизма и эклектичности, свойственных воззрениям Соколова. Вряд ли правильно сводить учение Рикардо или Дж. Ст. Милля к теории мальтузианства; вряд ли справедливо одним взмахом пера перечеркивать всю буржуазную политэкономия после Адама Смита. По-видимому, эта-то дилетантская размахистость оценок, с такой явственностью проявившаяся впоследствии, скажем, в его статьях о Милле, и заставила Чернышевского сказать Соколову, что он — за сотрудничество его в «Современнике», но только не по вопросам политической экономии. Экономические статьи Соколова, с точки зрения Чернышевского, серьезного научного интереса, по-видимому, не представляли. Их значение в большой степени было публицистическим.

Пристальное внимание Соколова к проблемам политической экономии, его яростная критика буржуазного общества отнюдь не были оторваны от насущных и нерешенных вопросов российской действительности; и прежде всего от центрального, главного вопроса: каким путем пойдет развитие России? Соколов здесь отвечал, казалось бы, определенно: «Россия решительно не

может идти тем избитым путем экономического развития, которым шли до сих пор западные государства» (1863, 2, I, 2).

Но каким образом Россия может избежать «избитого пути экономического развития», свойственного буржуазной Европе? На этот вопрос в статьях Соколова 1862–1863 годов ответа нет. Зато в них можно встретить наивные рецепты общественных преобразований, свидетельствующие, что Соколов не зря в 1859 году в течение ряда месяцев чуть не ежедневно посещал Прудона.

Знаменательно, что с французским мелкобуржуазным социалистом, отцом анархизма Прудонем Соколов познакомился через Герцена. Герцен был другом Прудона. Он называл его «неукротимым гладиатором» и высоко ценил его «смелую речь, едкий скептицизм, беспощадное отрицание, неумолимую иронию». Сила и значение Прудона, по словам Герцена, были в отрицании, в критике несправедливых общественных порядков. «Прудон не создавал, — писал Герцен, — он ломал, он воевал, а главное — он *двигал*, он все *двигал*, все покачивал, все затрагивал, отбрасывая условные уважения, освященные навыком понятия, и принятый без критики церемониал <...>. Это была своего рода *ликвидация* нравственно-недвижимых имуществ».

Эта неустрашимость критики эксплуататорского строя и всех его атрибутов, эта «ликвидация нравственно-недвижимых имуществ» буржуазии страшно пугала реакционеров и покоряла сердца революционно настроенных людей. Не лишена была обаяния и личность Прудона.

Выходец из трудовой крестьянской среды, он гордился своим происхождением и громогласно провозглашал себя защитником интересов народа. Отвечая как-то раз в Палате оратору-аристократу, хваставшемуся знатностью своего рода, Прудон воскликнул:

— У меня четырнадцать предков мужиков, — назовите мне хоть одно семейство, имеющее столько благородных предков!

Популярность этого неистового «безансонского мужика», самородка и самоучки, бесстрашно громившего собственность, католическую церковь, буржуазную политэкономия, философию, казенную нравственность и мораль, была огромной. Первую книгу Прудона «Что такое собственность?» (1841 г.), объявлявшую собственность «кражей», с восторгом приветствовал молодой Маркс. «Прудон, — отмечал он, — не только пишет в интересах пролетариев, он и сам пролетарий, *ouvrier* (рабочий). Его произведение есть научный манифест французского пролетариата...»

Однако уже последующая работа Прудона — «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» — полностью представила как мелкобуржуазный характер его социалистической утопии, так и эклектизм и дилетантизм автора. Маркс ответил на «Философию нищеты» знаменитой работой «Нищета философии».

Но если Маркс критиковал Прудона с позиций научного социализма, то русским революционерам, подходившим к его учению с позиций утопического социализма, Прудон был часто созвучен. Им были близки демократизм, отрицание социальной несправедливости, народолюбие Прудона, его культ «народа» — в домарксовом, недифференцированном понимании этого слова, —

оборачивающийся в конечном счете культом крестьянства и мелкого ремесленничества. Им были понятны утверждения Прудона вроде нижеследующего: «Крестьянин ждет только знака: он хочет земли, он пожирает ее взорами, и она не уйдет от его вожделения... Крестьянин прежде всего настроен революционно; это диктуется ему его мыслями и его интересами».

Но Герцен, Чернышевский, Бакунин, обладавшие несравненно более широким кругозором и философской образованностью, чем Соколов, каждый по-своему критиковали учение Прудона. Соколов же не видел отсутствия научного основания в идеях своего кумира. Из своей длительной поездки за границу он вернулся яростным поклонником Прудона. Правда, к чести Соколова, любимым его трудом была книга «Что такое собственность?». Из нее вынес он свою излюбленную идею: «Собственность — это кража», точнее, «лихоимство», по терминологии Соколова. Аргументация Прудона слышна и в нападках на буржуазную политэкономия, с которой начал Соколов свое сотрудничество в «Русском слове». Поначалу он со страстностью прозелита воспринял не только столь близкий ему по неистовству критический пафос Прудона, но и его наивную утопическую программу социальных реформ. Впоследствии его отношение к положительной программе Прудона изменилось, но на первых порах он поверил даже в результативность прудоновского обмена без денег, беспроцентного кредита, «народного банка» и прочих не применимых не только для крепостнической России, но и для развитого буржуазного Запада наивных идей.

В статьях «Деньги и торговля» (1863, 1), «Торговля без денег» (1863, 2) он с энтузиазмом перелагал прудоновскую идею о ликвидации денег и системе прямого и бесплатного обмена как панацею от всех бед, не отдавая отчета, насколько далеки эти утопии от реальных проблем и вопросов российской действительности. Влияние Прудона в первых же статьях Соколова сказывается и в прокламируемом им индифферентизме к политике, что не было типичным для шестидесятых годов и стало столь распространенным в народничестве последующего десятилетия. В статье «Чего не делать?» он писал: «Историческая задача нашего века состоит в том, чтобы улучшить материальное состояние народа, который живет своим трудом... Политические вопросы о национальности, единстве, парламентаризме и др., которые занимают так называемых публицистов, не понимающих потребностей своего века, совершенно чужды народу; он их никогда не понимал и не поймет, потому что сохранил много здравого смысла и дорожит им. История не повторяется, и политические вопросы отжили свое время» (1863, 3, I, 3–4).

И у Благовестлова, и у Зайцева, и в статьях других публицистов шестидесятых годов можно встретить утверждения о том, что экономический, социальный вопрос — знамение XIX века. Но в таком крайнем выражении — «политические вопросы отжили свое время» — эта мысль встречается в шестидесятые годы только у Соколова. Источник ее — Прудон.

И все-таки главное, что привлекало Соколова в Пру» доне, были не столько слабости его, сколько сила его разрушающей и беспощадной критики, его стихийный демократизм. Прудон «знал хорошо то общество, в котором жил и

трудился неутомимо, — писал Соколов. — Он видел разложение этого общества, наблюдал, изучал, раскрывал все его язвы и указывал на них не со смехом, а с выражением глубокого, искреннего страдания... Прудона считают гениальным критиком, который только отрицал, но ничего не создавал. Действительно, вся сила Прудона в отрицательной критике и в неподражаемом анализе современных идей и явлений. Все, что попадалось под его крепкую крестьянскую руку, все трещало, ломалось и разбивалось вдребезги» (1865, 6, II, 61, 65).

Разрушительная критика Прудона в условиях самодержавно-крепостнической России звучала революционно. «Отрицание существующего порядка грабежа и насилия — вот значение и назначение отщепенства, — утверждал в «Отщепенцах» Соколов. — «Отрицать, беспрестанно отрицать!» — восклицал Прудон в порыве страстного увлечения правдой отщепенства. Цель этого постоянного, неизменного отрицания состоит в том, чтобы освободить человека от рабства мысли, в котором держит его практическая жизнь с ее позором и преступлением». Это было революционное отрицание всего экономического, политического и нравственного уклада современной Соколову действительности.

Тот Прудон, с которым мы встречаемся у Соколова, далеко не похож на истинного Прудона. Крестьянский революционер и демократ, Соколов переосмысливал наследие Прудона и по возможности приводил его в соответствие с нуждами и задачами русского освободительного движения.

Публицистика Соколова представляет для нас интерес в значительной степени потому, что он одним из первых слил идеи прудонизма с идеей крестьянской революционности. Увлечение теориями Прудона не перечеркивало революционно-демократической основы убеждений Соколова. Эти теоретические искания Соколова, пусть и не в самостоятельной, эклектической форме, выявляли демократическую сущность его убеждений. Социальным фундаментом их была крестьянская революция, а главным истоком, конечно же, идеология русской революционной демократии, качественно переработавшая в себе немало западноевропейских социалистических и философских учений. Пропагандируя Прудона, сердцем своим Соколов принадлежал русской революционной действительности бурных шестидесятых годов.

Эта органическая внутренняя причастность ко времени революционной ситуации выражена в его автобиографии с предельным лаконизмом, где за каждой фразой — огромное и важное для Соколова содержание: «Знакомство с Писаревым, майские пожары в Петербурге. «Отцы и дети» у Каткова (март, «Русский вестник»). Реакция. Запрещение «Русского слова» и «Современника» 25 мая. 4 июля арестован Писарев, 7 июля — Чернышевский, посаженный в Петропавловку. 20 декабря 1862 года он подает в отставку, к общему изумлению. В феврале 1863 года появляется опять «Русское слово». Все это время он живет с Благодетелевым на Колокольной улице, 3-й номер, дом Миллера. Затем в июне едет за границу и поселяется в Дрездене, чтобы забыть Россию. Разлитие желчи по поводу польских дел».



Здесь важно раскрыть причину его отставки, а также смысл фразы: «Разлитие желчи по поводу польских дел».

Отставка его целиком и полностью связана с «польскими делами». Как вы помните, это была уже вторая его просьба об отставке — на допросе в Муравьевской комиссии в 1866 году он объяснял ее «домашними обстоятельствами» (сообщая, кстати, в ответе на следующий вопрос, что он «холост»). В «Автобиографии» названа иная, более правдивая причина. Еще осенью 1861 года, когда его дивизия отправилась из Кременца в Польшу, Соколов, «предвидя Польское восстание, взял "отпуск в Петербург, невзирая на военное положение. Начальник генерального штаба не хотел оставить его в Петербурге, под тем предлогом, что никто из офицеров генерального штаба не хочет ехать в Польшу. Он тогда подал в отставку...» Осенью 1861 года отставка не была принята, и до декабря 1862 года он служил в генштабе в должности библиотекаря. 20 декабря 1862 года, в самый канун Польского восстания, когда представитель революционной Польши приезжает в Петербург для переговоров с «Землей и Волей», он подает в отставку вторично и получает ее 3 января 1863 года. Случайно ли это? Естественно, нет. Вне всякого сомнения, уже в декабре 1862 года Соколов, живший вместе с членом ЦК «Земли и Воли» Благосветловым (факт примечательный!), знал о надвигающемся сроке восстания в Польше и хотел встретить его за пределами русской армии. О его отношении к Польскому восстанию можно судить хотя бы по тому, как встретил Соколов в 1863 году брата, приехавшего в Петербург из русских войск, усмирявших поляков. Когда тот «бросился», чтобы расцеловаться, Николай Васильевич остановил его словами: «Постой, скажи прежде: вешал?» (т. е. поляков) — «Нет, не вешал», — ответил приезжий. «Ну, в таком случае, здравствуй!» — сказал Ник. Васильевич и расцеловался». Об этом случае рассказано, со слов поляков, в статье «Смерть и похороны Н. В. Соколова» в том самом номере «Свободы», в котором напечатана «Автобиография». Статья редакционная, и принадлежала она, по-видимому, С. Княжнину — редактору журнала. Все сведения, сообщаемые в ней, вполне достоверны. Самое пристальное внимание заслуживает то место статьи, где говорится, что на похоронах Соколова «особенно много было поляков, которые с особенной благодарностью вспоминают участие Николая Васильевича в восстании 1863 года. Один старик поляк с заметной военной выправкой, стоявший у гроба... взволнованно проговорил: «Сослуживцами были, вместе служили». К сожалению, волнение не дало моему соседу кончить начатую фразу», — пишет автор статьи. Это свидетельство об участии Соколова в Польском восстании чрезвычайно важно. Оно объясняет фразу о разлитии у Соколова «желчи по поводу польских дел».

Участие русских офицеров в Польском восстании по вполне понятным причинам ими не афишировалось. Об участии тех или иных русских в восстании и по сегодня мы узнаем зачастую случайно. Так, из материалов «Пражской коллекции» архива Герцена и Огарева мы узнали, к примеру, об участии в Польском восстании В. О. Ковалевского, близкого друга Варфоломея Зайцева (впоследствии известного ученого-палеонтолога). В

письме Герцену из Кракова от 22 октября 1863 года он рассказывал о трудностях повстанцев — о недостатке «в людях, которые сумели бы хорошенько повести отряд, и если повстанцы часто бегают, так именно потому, что тупоумные или не имеющие понятия о военном деле начальники ведут их, как баранов, на бойню».

Письмо Ковалевского, человека сугубо штатского, дышит недовольством организацией дела в армии восставших — «совершенный департамент военного министерства, только участниками его не генеральство, а наша братия», — замечает он. Так что было отчего «разлиться желчи» у такого образованного и опытного военного, как Соколов.

И все-таки главная причина, думается, не в этом, а в тех противоречиях узконационального и социального начал, которые раздирали Польское восстание. Как известно, среди восставших сильна была чисто националистическая партия, озабоченная тем, чтобы восстановить Польшу в ее так называемых «исторических» границах (с включением Литвы, Белоруссии и Украины) и меньше всего помышлявшая об освобождении крестьян. Можно предположить, что именно здесь прежде всего и коренилась причина «разлития желчи по поводу польских дел» у подполковника Соколова.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах перебрался Соколов из восставшей Польши в Дрезден — популярное среди повстанцев место. «Там он, — говорится в «Автобиографии», — провел свое время до 28 декабря 1864 года вместе с Альбертиной Дюпон и с польскими повстанцами. Но, избив нещадно двух саксонских жандармов, отданный за это под суд, бежал». Не удалось пока выяснить и кто такая Альбертина Дюпон (о какой-то «истории с Альбертиной Дюпон» говорится в «Автобиографии» еще применительно к началу 1861 года). Зато его драка с саксонскими жандармами в деталях описана в деле III отделения «О неблагоприятном поступке проживавшего в Дрездене отставного подполковника генерального штаба Николая Соколова».

Соколов в своих показаниях признает здесь, что действительно избил жандармов в результате ссоры с ними в Королевском саду: «Под влиянием чувства оскорбления и личной защиты я стал махать палкой направо и налево. Кого я ударил в ту минуту, я не видел, потому что моя шляпа была надвинута на глаза. Едва я успел выпрямиться и поднять голову, как меня схватили за руки два полицейских, и один из них сказал мне, что я дважды ударил его и сбил с него фуражку».

Дрезденские власти передали жалобу на отставного подполковника Соколова русскому поверенному в делах в Дрездене. Королевский прокурор «нашелся вынужденным или арестовать его на все время производства следствия, или потребовать денежное обеспечение в 200 талеров — в явке его в суд по первому требованию».

Так как денег под залог у Соколова не было, он бежал из Дрездена. Его разыскивали по всей Германии, дав объявление в газету «о беглом преступнике Соколове», а Соколов в это время находился уже в Париже, у Герцена.

3 февраля 1865 года Герцен писал Огареву: «Был у меня Соколов. Он в Дрездене подрался с полицейским и бежал оттуда. Здесь без средств, начал

корреспонденцию для L'Europe, работать хочет и, полагаю, может. Самолюбие его знаем. Я дал ему из фонда 100 франков». Соколов рассказывает в «Автобиографии», что во время пребывания в Германии он «бегал за Лассалем, за Шульце-Деличем, слушал их внимательно, написал по-немецки целую брошюру под названием «Die Revolution», искал везде издателей и послал рукопись эту Герцену в Лондон, получил ответ, привет и приглашение явиться в Париж. 6 января 1865 года прибыл в Париж, был у умирающего Прудона и 20 января на похоронах его в Пасси, на кладбище сказал речь. Герцен прибыл только в начале февраля и сделал его своим секретарем на два месяца, поил, кормил и ублажал. Давал он в это время уроки, влюбился в Катерину Николаевну Марк, посещал семейство Реклю и 2 июля с отчаяния бросил любовь и появился в Петербурге. С любви попал снова на любовь. В этот раз не он влюбился, а в него влюбились. То была Вера Ивановна Писарева; но тем не менее он был занят в эту пору, он решился мстить, напал на Милля, захотел сделать стачку против редактора «Русского слова» (Благосветлова), и втроем (Зайцев, Писарев и он) объявили печатно в газетах, что «мы хотим произвести радикальную реформу», т. е. журнал — собственность подписчиков. Вышли из «Русского слова».

О речи Соколова на могиле Прудона мы встречаем свидетельство в книге воспоминаний «В эмиграции» Н. Русанова:

«В 1865 году Прудона не стало, и Соколову удалось... произнести краткую речь на похоронах знаменитого социалиста в Брюсселе, где он обратился к присутствующим с горячим увещанием не забывать великих идей учителя: «Прудон умер — да здравствует Прудон!» Слух об этой речи дошел и до России, и власти не очень ласково встретили нашего анархиста по его возвращении на Родину».

А если бы Соколову удалось в ту пору опубликовать свою книгу «Социальная революция», о возвращении в Россию ему нечего было бы и думать.

### **«СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»**

«Социальная революция» была издана в Берне на немецком языке в 1868 году. Один экземпляр ее хранится в отделе редких книг Библиотеки имени В. И. Ленина. На последней странице книги стоит дата 25 октября 1864 года.

Уже оглавление ее, написанное в тезисах, передает содержание и направленность книги:

*Глава I.* Неизбежность революции: она будет социальной. Социальный вопрос есть рабочий вопрос. Положение рабочего класса в Германии. Суждения демократа, прогрессиста и князя церкви. Мнения буржуазии; ее алчность и безнравственность.

*Глава II.* Г-н Шульце-Делич как представитель немецкой буржуазии и вождь партии ростовщиков; его учение о капитале. Бесстыдство его помощников. Процент па капитал есть причина всех бедствий рабочего класса. Ростовщические предприятия по системе г-на Шульце-Делича. «Собственность есть кража». Учения буржуазных полит. — эконо. Г-н Шульце-Делич как представитель рабочего класса.

*Глава III.* Обожествление ростовщичества и отвращение к труду. Подкуп в биржевой лихорадке в Германии. Акционерные общества — эксплуатация акционеров. Общественное вырождение.

*Глава IV.* Лживость и продажность прессы. Государство — мертвая форма общества. Его экономический вред: он выражается непосредственно в эксплуатации рабочего класса...» и т. д.

В книге «Социальная революция», написанной без оглядки на цензуру, с предельной обнаженностью выявлены социальные и общественные позиции будущего автора «Отщепенцев». Это позиции революционера, социалиста, демократа. Пафос книги — в обличении пороков буржуазного, эксплуататорского строя с позиций утопического социализма, а точнее — все с тех же позиций, которые были выражены Пруденом в работе «Что такое собственность?». Соколов утверждает вслед за Пруденом, что современный ему общественный строй стоит на обмане и насилии, потому что капиталистическая прибыль — кража, воровство. «Быстро и без труда обогатиться — это цель нашей жизни», — говорят буржуа. Капитал стал религией современного общества. Смысл жизни буржуазии — «денежная прибыль без усилий, без настоящего труда». Современное государство стоит на страже интересов буржуазии. «На нее работает полиция. Из любви к ней учат профессора, болтают газетные писаки, молятся попы».

В критике капитализма Соколов, в традициях домарксовской социологии, исходит, как уже говорилось, из своеобразно переосмысленного закона трудовой стоимости — гениального открытия классиков английской политэкономии Смита и Рикардо. В этой работе он развивает мысль, которую уже неоднократно высказывал в своих статьях для «Русского слова»: «Единственный источник богатства — труд. Не существует дохода в обществе, который не основан на труде». Поэтому себестоимость всех производимых товаров должна быть равна «общей заработной плате всех рабочих». Сейчас же заработная плата рабочего ограничена самыми необходимыми жизненными потребностями. Доход же предпринимателей, называемый чистой прибылью, — кража из карманов рабочих. В этом Соколов видит причину всех несчастий современного ему общества, форму нового рабства. В уничтожении прибыли он видит «освобождение рабочего класса».

При всей наивности этой критики в работе «Социальная революция» звучит искренняя и глубокая ненависть к миру буржуазного предпринимательства, боль и сочувствие положению трудящихся.

Страницы, где речь идет о положении трудящихся классов, пожалуй, самые сильные в книге. Соколов привлекает здесь большой фактический материал, цитирует, в частности, работу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии и Франции», оговариваясь, что причины, которые вызывают нищету рабочего класса в Англии, имеют место и в Германии, и в других странах.

Соколов возлагает надежды на то, что рабочий класс начинает понимать всю несправедливость и нетерпимость такого положения вещей. «Современное рабочее движение должно нас предостеречь: мы скоро увидим кровавую войну в сердце общества, — пишет он. — Мы живем на почве, которая каждый день

может взорваться; этот взрыв так же неизбежен, как механический закон. Глубокая ненависть и стремление к восстанию против имущих становится общим мнением всего рабочего класса и неизбежно приведет к революции. Берегитесь!»

Соколов обрушивается здесь на тех экономистов и политиков, которые обманывают народ, с тем чтобы предотвратить взрыв революции. «Планомерным одурачиванием народа с целью защиты интересов дельцов» называет он их деятельность. «Признанным вождем немецкой партии мошенников» Соколов называет Шульце-Делича, пытавшегося с помощью своих кредитных обществ насаждать псевдосоциализм в недрах буржуазного общества. Соколов недаром «бегал за ним», посещал его митинги и собрания во время своего пребывания в Дрездене. Он прекрасно разобрался в провокаторской сути идей Шульце-Делича. «Горе Германии, — пишет Соколов. — Она считает г-на Шульце-Делича большим человеком, другом народа. В действительности г-н Шульце-Делич — последний слуга буржуазии; он защищает ее всей хитростью своего софистического ума».

Столь же бескомпромиссна критика Соловьева «государственного коммунизма» Лассалья, который изображал государство как некую надклассовую организацию, призванную разрешить социальный вопрос. Средством осуществления своей программы Лассаль считал мирную печатную агитацию за введение всеобщего избирательного права, за устройство производственных ассоциаций с помощью юнкерски-буржуазного государства.

Пятая глава его книги прежде всего посвящена критике теории и практики лассальянства. «Всеобщее избирательное право не задевает права собственности», а потому не может служить панацеей от всех бед, отвечает он Лассалю. Лассаль, как и Шульце-Делич, по определению Соколова, «политический обманщик народа».

Что же противопоставляет Соколов «мошеннической» деятельности Шульце-Делича и Лассалья? Идею *социальной революции*. Эта идея начиная с заглавия и эпиграфа красной нитью проходит через всю его книгу. Книга «Социальная революция» красноречиво опровергает ту мысль, высказанную Соколовым на суде, будто он против «насильственной революции», так как она «не может быть благодетельной». На суде Соколов говорил: «Я проповедую революцию, да, революцию, но какую? Революцию идей, т. е. умственный переворот, перемену образа мыслей, понятий и убеждений на основании науки и совести». Это заявление его было продиктовано скорее всего тактическими соображениями — ведь он произносил «защитительную речь». И даже в этой речи вслед за декларацией своего отрицательного отношения к насилию он провозглашал, что не может «слышать равнодушно и бесстрастно о восстании народа, который решается жертвовать собою во имя спасения народа от грабежа и насилия. Мало того, — продолжал Соколов, — я сознаюсь, что сочувствую всегда людям; чье самоотвержение на благо народа увлекает их на борьбу с его врагами и палачами».

Его книга, написанная для бесцензурной печати, пронизана идеей революции, причем он предрекает качественно новый, *социальный* характер

грядущего революционного переворота. «Мы стоим накануне всеобщей революции, по сравнению с которой французские революции XVIII века и 1848 года кажутся детской игрой... Время чисто политических движений позади. Если в конце прошлого столетия одно сословие народа поднялось против государства, то теперь есть класс, который думает о том, чтобы перевернуть общество. Вот почему грядущая революция может быть только социальной», — провозглашает Соколов уже на первых страницах своей книги.

Как известно, идея социальной революции лежала в основе деятельности народников-семидесятников. Однако основы теории социальной революции были заложены демократами уже в пору шестидесятых годов. Это сделал прежде всего Чернышевский, который, по определению Ленина, слил воедино идеи народной революции и утопического социализма. Демократы-шестидесятники осознавали, что все великие антифеодальные революции прошлого завершались торжеством буржуазных отношений. Не понимая исторической закономерности того, что эти революции по своей природе были буржуазными, они объясняли конечную «неудачу» их тем, что революции прошлого не были оплодотворены идеей социализма, были политическими, а не социальными революциями. XIX век принес с собой новое качество освободительного движения народов, являющегося гарантией истинного и полного освобождения народных масс, — идею социализма. Народную революцию демократы-народники шестидесятых-семидесятых годов иллюзорно мыслили социалистической. В этом суть теории социальной революции, как она развивалась уже на страницах «Современника» и «Русского слова».

Но естественно, что теорию «социальной революции» — демократической революции в России, осмысляемой ее идеологами в качестве социалистической, невозможно было с достаточной откровенностью развернуть на страницах подцензурной печати. В книге же Соколова, написанной им во время пребывания за границей в 1864 году, идея социальной революции — кардинальная идея русского народничества — получила откровенное, открытое, прямое выражение. Соколов призывает к революции и предсказывает неизбежность ее с присущим его характеру неистовством. «Будьте готовы к тому, что революция придет в определенный час. Это неизбежно!»

«Горе вам, деспоты и угнетатели народов. Ваш час пробил. Народ думает о ваших грехах, поэтому скоро наступят ваши мучения, боль и смерть, вас сожгут огнем, ибо силен революционный народ, который хочет вас судить. Социальная революция приближается!» — снова и снова провозглашает он.

Особенность позиции Соколова, проявившаяся в этой работе, в том, что он не удовлетворяется провозглашением социальных задач грядущей революции.

Социальные задачи революции он противопоставляет политическим. Уже в этой работе звучат нотки анархического отрицания политической борьбы. «Что означает этот пустой призыв: «политическая свобода», «политическое равенство»?... — спрашивает он. — При современных политических условиях каждая политическая конституция есть завуалированная форма рабства, социального убийства, против которого бедный рабочий не может защищаться.

Государственная конституция оставляет ему свободу выбора — постепенно умереть с голоду или быстро покончить с собой».

Анархизм, столь влиятельный в русском освободительном движении семидесятых годов, не был чем-то случайным для России. Он имел социальную — крестьянскую, мелкобуржуазную — почву и идейные истоки, коренившиеся в просветительской, идеалистической философии истории, свойственной эпохе демократической революции, всему разночинскому этапу русского освободительного движения.

В этом отношении чрезвычайно показательным движением шестидесятника Соколова к анархизму. Его книга «Социальная революция» — уникальный документ, раскрывающий диалектику смыкания идей крестьянской революционности с прудонистской идеей анархии.

«Политическое движение никогда не может иметь результатов», — вслед за Прудоном утверждает он. Как известно, Прудон заходил в своем мелкобуржуазном отрицании политической борьбы до абсурда — до утверждения того, будто «конституция — вещь совершенно ненужная», а «всеобщее избирательное право есть контрреволюция». Отрицание политической борьбы неумолимо приводило его к отрицанию государства в принципе, к отрицанию государства не только капиталистического, но и социалистического.

Весь этот комплекс идей анархизма, помноженный на призыв к революции против всех и всяких властей, звучит в книге Соколова. Филиппики в адрес буржуазного государства перерастают здесь в отрицание государства вообще. Спор с «правительственным» социализмом Лассаля перерастает в полемику с «государственным» социализмом и коммунизмом в принципе. «Принцип государственной власти, — пишет он, — может осуществляться в любой известной нам форме. Это может быть власть короля, власть дворянства, господство буржуазии или четвертого сословия. И все эти формы являются одинаково порочными, потому что в них господствует принцип насилия». Соколов подробно разбирает все пороки государственной власти — карьеризм, властолюбие, бюрократизм — и приходит к выводу, что всякая власть ведет к подавлению человеческой личности.

Правда, в одном месте Соколов оговаривается: «Государство есть историческая категория, которая развивается до самоотрицания». Однако сама суть процесса самоотрицания государства по мере развития общества, закономерности этого развития оказались непостижимыми для Соколова. Его увлекла блистательная эскапада словоизвержений Прудона, требовавшего немедленного распятия государства во имя полного освобождения личности. Он не видел всей утопичности этой прекраснотушной мечты и не поднялся до осознания единственно реального пути, который ведет к уничтожению государства, того пути, который предложил марксизм. Ведь марксизм, считал В. И. Ленин, вовсе не расходился с анархизмом «по вопросу об отмене государства как цели».

Революционизм Соколова — и опять-таки не без влияния Прудона обернулся во второй половине шестидесятых годов еще одной

неожиданностью: Соколов стал яростным проповедником «евангельского социализма». Это направление мысли Соколова примечательное *a* не такое уж исключительное, как кажется на первый взгляд, явление в истории русского освободительного движения.

Конечно же, для демократов-шестидесятников в целом, для «Русского слова», в частности, был характерен яростный, наступательный атеизм. Вообще в отличие, скажем, от Италии крестьянская революционность в России выступала, как правило, под атеистическими знаменами. И тем не менее и в более поздние, семидесятые годы, в пору, когда могучая проповедь шестидесятников дала такие обильные и прекрасные плоды, когда, по словам семидесятника О. В. Аптекмана, «чистое, как хрусталь, настроение, цельное, почти религиозное чувство охватило молодежь» и, выпрямившись во весь рост, она, «добрая, светлая, глубоко верующая» в идею социализма, пошла в народ, — мы встречаем отзвуки революционного «евангельского социализма». В своей книге воспоминаний «Общество «Земля и Воля» 70-х годов», написанной в якутской ссылке 1882–1883 годов, Аптекман рассказывает о знаменитом кружке долгушинцев, организовавшемся в 1872 году и положившем начало движению в народ, о его руководителе — «сосредоточенном, сдержанном, сильном и порывистом» Долгушине. Он рассказывает, что на даче Долгушина, где находилась подпольная типография, в углу на полке стоял крест, на котором вверху сделана надпись: «Во имя Христа», а на поперечной перекладине: «Свобода, равенство, братство».

«Что это — красивый жест? Фраза? — задает вопрос Аптекман. — И то и другое чуждо натуре Долгушина. Это — заповеди, дорогие сердцу Долгушина <...> Какие сложные движения души! Крест — символ искупления, и революция — выражение «святого гнева». «Во имя Христа» и «Свобода, равенство, братство». Революция жертв просит — иди на крест! Революция кровавой борьбы требует — рази мечом!

Это не было так просто, как другие себе представляют: проглотила-де молодежь одну-другую полудюжину тенденционных книжек, наслушалась призывов Бакунина и Лаврова и пошла в народ. Нет! То была подлинная драма растущей и выпрямляющейся души, то были муки рождения больших дум и тревожных запросов сердца. Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. Чего она искала в Евангелии? Какие струны ее души были так задеты «благой вестью»?

Крест и фригийская шапка<sup>[21]</sup>? Но это было, читатель!» — убеждает нас современник той великой и прекрасной эпохи.

### **1 Фригийскую шапку носили якобинцы во время Великой французской революции.**

Да, все это было не просто: суровая трезвость «реализма» — и страстная проповедь евангелических заповедей; культ «разумного эгоизма» — и высочайший, белоснежный, граничащий с самопожертвованием альтруизму отрицание политики, политической борьбы — и гибель сотен бойцов в политической схватке с самодержавием. Мы еще не осмыслили в полную меру всей напряженности, противоречивости и глубины нравственного поиска



революционеров XIX века. В их теориях, выражавших трагическую непреодолимость своего времени, было много преходящего, ограниченного, не выдерживающего современной научной критики. Но в их жизни и борьбе, в их свершениях и нравственных устремлениях содержалось вечное, непреходящее: боль за народ, стремление отдать жизнь за него, подвиг высокой революционной гражданственности.

И как это ни парадоксально на первый взгляд, не пера в загробное существо, не христианская религия, а нечто совершенно другое толкало их к евангелическому социализму. Об этом хорошо написал Берви-Флеровский, тот самый Берви-Флеровский, чья книга «Положение рабочего класса в России» вызвала столь восторженный отзыв Маркса, — несправедливо забытый революционный публицист шестидесятых-семидесятых годов. «У меня постоянно было в уме сравнение между готовившейся и действую молодежью и первыми христианами» — Берви-Флеровский посвятил эти строки как раз долгушинцам, которые в 1872–1873 годах готовились идти в народ. «Непрерывно думая об этом (о решении молодежи идти в народ. — Ф. К.), я, — пишет далее Берви-Флеровский, — пришел к убеждению, что успех можно будет обеспечить только одним путем — созданием новой религии... Я стремился создать религию равенства!.. Если бы можно было эту самую молодежь превратить в апостолов такой религии! Если бы убывающие их ряды пополнялись все новыми верующими, которые, подобно первым христианам, горели бы возрастающим энтузиазмом, тогда успех дела был бы обеспечен».

Берви-Флеровский не ограничился пожеланием: он написал книгу «Как надо жить по закону природы и правды», отпечатанную в 1873 году в подпольной долгушинской типографии, где он попытался изложить основы этой новой, без бога и святых, революционной религии. В таком же приподнятом нравственно-религиозном тоне была написана Долгушиным прокламация «К русскому народу».

«...Мы, ваши братья, обращаемся к вам, угнетенным людям, и взываем во имя вечной справедливости, восстаньте против этих несправедливых порядков, не подобающих человеку, высшему и лучшему созданию на земле... — говорилось в этой прокламации. — И вот, когда вы потребуете для себя лучшей участи, злые люди-лиходеи станут кричать против вас, что вы бунтовщики, что вы всех перерезать хотите... и все такое... Это уж так бывает всегда, вспомните, что говорит Иисус Христос: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас. И повезут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками».

Легче всего бросить упрек тем же долгушинцам, сказав, что в своей революционной пропаганде они сделали «шаг назад» от Чернышевского, взяв на вооружение заповеди Христа. Нет необходимости подробно говорить о всей утопичности их революционного переосмысления Евангелия. Попытаемся понять конечные истоки этой потребности в «новой религии» у пропагандистов-народников начала семидесятых годов. Они не только в том, что их нравственное подвижничество во имя счастья людей было и в самом

деле в чем-то созвучно движению раннего христианства. Причины более глубокие и в конечном счете социальные. Они в том решающем и трагедийном факте, что русское народничество с истоков своих возлагало свои революционные упования на очень далекий от их социалистического идеала крестьянский класс. Как разбудить, какой найти путь к разуму и сердцу его? Это коренное драматическое противоречие второго этапа русского освободительного движения не могло не вызвать к жизни разнородных теоретических поисков и идейных метаний. Революционное богостроительство и богоискательство — одно из проявлений той объективной трудности, которую переживали крестьянские революционеры в силу исторического трагизма своего положения. «На царя у нас смотрят, как на помазанника божья, — говорил, например, другой участник долгушинского кружка, Гамов, — а потому идти против царя в России невозможно; для этого нужно *выдумать* такую религию, которая была бы против царя и правительства... Надо составить катехизис и молитвы в этом духе» (курсив мой — Ф. К.).

Не исключено, что на мировоззрение долгушинцев оказали влияние «Отщепенцы» Соколова, изданные как раз в это время чайковцами за границей и широко распространявшиеся в нелегальных кружках России.

Возможно и другое: столь специфические духовные искания Соколова и долгушинцев совпали потому, что отвечали какой-то объективной, хотя и искаженной потребности времени.

В «Социальной революции» есть строки, объясняющие обращение Соколова к «евангельскому социализму», перекликающиеся с мнением долгушинца Гамова: «Вспомните же, революционеры, что народ еще верит в Христа и что Евангелie есть единственная книга, которую он понимает», — писал здесь Соколов.

Обратив взор к раннему христианству и к Евангелию, которое он рассматривает не как культово-религиозный, а как социальный, исторический документ, Соколов с позиции революционера и утопического социалиста переосмысливает его. «Что такое учение Иисуса Христа, как не кодекс коммунизма? Иисус Христос и его апостолы проповедовали, чтобы мы владели всем сообща», — пишет Соколов.

Абстрагируясь от всех культовых моментов в жизнеописании Христа, Соколов акцентирует внимание прежде всего на «коммунистических» началах раннего христианства, трансформируя учение Христа в социализм. Книга «Социальная революция» полна угроз и упреков в адрес эксплуататоров, забывших и предавших «коммунистические» заветы Христа. «Коммунистическое отрицание собственности есть в действительности следствие учения Христа, — пишет он. Богачи, ожидайте при нынешней тишине бурю... Царство бедных близко. Берегитесь!» «Евангельский социализм» Соколова напоен ненавистью к официальной религии и христианской церкви. «Евангелie уничтожает поповскую церковь, это отвратительное порождение подлости и низости, церковь, которая

одурманивает и грабит народ... Но пробил ее час. Горе вам, лгуны, лицемеры и губители человеческих душ!»

Эти угрозы и прорицания в адрес эксплуататорских классов и церкви Соколов связывает с близящейся народной революцией. Перечеркнув христианскую заповедь о непротивлении злу насилем, Соколов представляет Христа первым революционером на земле. В его интерпретации Христос — это «мститель бедных и слабых против богатых и могущественных». Продолжателем его дела был «народный пророк» времен Реформации Томас Мюнцер.

Истинные продолжатели дела Христа — современные революционеры, ибо «так называемое царство божие есть не что иное, как господство бедных и нищих, то есть социальная революция».

Примечательно, что Соколов не был верующим человеком. Когда на допросе его спросили о вероисповедании, он с иронией ответил: «Считаюсь православным, при постоянных переездах не мог бывать ежегодно на исповеди». Из всей религиозной литературы он берет только «Евангелье» и «очищает» его от всего «потустороннего», рассматривая Христа как реально существовавшую историческую личность, как защитника и выразителя интересов народа, социалиста и революционера. Более того — в своем переосмыслении фигуры Христа он заходит так далеко, что его Христос оказывается не только первым социалистом и первым революционером, но и первым анархистом. Именно так он и пишет: «Иисус был не только коммунист, но также и анархист, потому что он не имел и понятия о гражданском управлении. Каждый магистрат казался ему естественным врагом человека».

Первые христиане, говорит Соколов, призывали к неподчинению законам, к ненависти и презрению к государству. «Учение Иисуса уничтожает государство со всеми учреждениями и законами» — таков конечный вывод Соколова о связи анархизма с учением Христа.

Как видите, обращение Соколова к евангелическому лику имело прежде всего пропагандистский характер и было подчинено задаче утверждения и обоснования авторитетом Евангелия революционных и социалистических идей. Конечно же, подобное обоснование идеи социальной революции было наивным и идеалистическим. Но, по мнению Соколова, оно было понятнее народным массам, ибо «разрушающие основу Евангелия еще не за семью печатями для народа: народ их не забыл». И наконец, обращение к «коммунистической» евангельской проповеди позволяло, на взгляд Соколова, наполнять революционную пропаганду содержанием большого эмоционального напряжения. В своей публицистике он определенно подражал ораторским приемам евангелических проповедников. Вслушайтесь: «Горе вам, деспоты и угнетатели народов. Ваш час пробил. Народ помнит о ваших грехах, и скоро наступят ваши мучения, ваша боль и ваша смерть: все сожгут в революционном огне, потому — велика сила ненависти революционного народа, который будет вас судить. Социальная революция приближается... Вавилон падет. Близится час страшного суда, — завершает Соколов свою книгу. — О, беспощадная революция!»

## ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Темы и идеи книги «Социальная революция» легли в основу статей, которые опубликовал Соколов в «Русском слове» по возвращении из-за границы. Его статья «Экономические иллюзии» (1865, IV, 5) была, по существу, переложением нескольких глав «Социальной революции» — в той мере, в какой возможна была критика эксплуататорского, «лихоимского» строя и проповедь социализма в подцензурном журнале.

Соколов говорит о капиталистическом строе как источнике несправедливости и нищеты.

В «Экономических иллюзиях» звучит излюбленная тема Соколова — критика буржуазных политэкономов, оправдывающих этот несправедливый порядок вещей. Критике апологетической, буржуазной политэкономии посвящена в значительной степени статья о Милле, опубликованная в седьмой, восьмой и десятой книжках «Русского слова» за 1865 год. «Капитал — вера и надежда экономистов: они служат, поклоняются ему, как Мамоне, и вся их политическая экономия — славословие капиталу и гимн лихоимству» (1865, 8, I, 5).

Соколов доказывает эту мысль на примере английского экономиста Джона Стюарта Милля, чья работа «Основания политической экономии» в переводе и с примечаниями Чернышевского вышла в 1865 году на русском языке в свет. Популярность Милля как экономиста и мыслителя в России шестидесятых годов была очень велика. Даже сотрудники возобновленного «Современника» — такие, как Ю. Жуковский, А. Пыпин, — воспринимали Милля некритически, не понимая истинных причин, которые заставили Чернышевского взяться за перевод сочинения Милля. Чернышевский обратился к Миллю не ради пропаганды его экономических взглядов, — перевод и комментарий «Оснований политической экономии» служили Чернышевскому для популяризации его собственной экономической теории трудящихся. В своих примечаниях к работе Милля Чернышевский дал глубокую критику буржуазной политэкономии.

В своей критике Милля Соколов идет во многом от Чернышевского, но отнюдь не на теоретическом уровне Чернышевского. Он расправляется с Миллем с той залихватской резкостью, которая вообще отличала статьи Соколова. По мнению Соколова, у Милля куда меньше логики, чем у какого-нибудь заштатного экономиста Горлова.

Соколов ставит Милля в ряд с вульгарными экономистами — апологетами буржуазного строя, что уже само по себе в высшей степени несправедливо. В крайностях оценки Милля Соколов разошелся с Чернышевским, который, не принимая буржуазной направленности «Оснований политической экономии», писал тем не менее, что «книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом».

Как видите, взгляд на Милля Чернышевского далеко не совпадал с той разносной и по-прудоновски вульгарной критикой, которую учинил Соколов. По воспоминаниям Н. Русанова, который хорошо знал Соколова в эмиграции,

именно эту-то «ругательную критику Милля и приносил Соколов Чернышевскому под заглавием «О банкротстве политической экономии». Неудивительно, что Чернышевский возвратил статью автору, «посоветовав Соколову заниматься вообще публицистикой, а не политической экономией».

Критика Милля была последней журнальной работой Соколова, появившейся в «Русском слове». В том расколе, который произошел осенью 1865 года в редакции «Русского слова» и завершился выходом из журнала Зайцева и Соколова, инициатива принадлежала именно Соколову, решившему «сделать стачку» против Благосветлова. В своих показаниях в комиссии Муравьева Соколов так рассказывает об этом эпизоде: «...По приезде в Петербург (из-за границы в 1865 году. *Ф. К.*) занимался одно время делами редакции «Русского слова», имел случай часто видеться с гг. Благовещенским, Зайцевым, навещал Писаревых; все отношения мои к ним заключались в том, что я старался убедить их разорвать связи и дружбу с г. Благосветловым, который лицемерил и вызвал, наконец, меня и г. Зайцева на открытый разрыв и печатную полемику... Что касается до выражения «я старался убедить их, т. е. В. Зайцева, Благовещенского и Писарева, прервать отношения с Благосветловым», то разъясняется это выражение тем, что, печатно отказываясь от участия в «Русском слове», я выставил на вид торжественное обещание г. Благосветлова произвести журнальную реформу, обещание, которое он дал уже давно, а потом не исполнил...». Суть «журнальной реформы», которой требовал Соколов, сводилась прежде всего к тому, чтобы Благосветлов отказался от прав издателя — собственника журнала и объявил его «собственностью подписчиков». Соколов решил на практике провести в жизнь обуревавшие его социалистические, а точнее — прудонистские идеи и реформировать журнал так, чтобы издание — избави боже! — не давало прибыли: издержки на издание журнала и общая сумма, получаемая от подписки, должны быть равны, в чем читатели могут удовлетвориться благодаря публикуемым на страницах журнала ежемесячным финансовым отчетам. Эта реформа была направлена не столько против личности Благосветлова и его какого-то «особого» эксплуататорства, как принято считать, сколько против самого принципа ведения журнального дела в условиях частнопредпринимательского общества. Поскольку все журналы — в том числе «Русское слово» и «Современник» — велись на общих для того времени принципах предпринимательства, Соколов не только Благосветлова, но и Некрасова объявил эксплуататором и требовал от них «пустяка»: чтобы они вели свои журналы на принципиально новых, так сказать, социалистических основаниях. Он поставил Благосветлову ультиматум: реформа или разрыв. Ультиматум этот был опубликован в ноябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год. Поскольку Благосветлов ультиматум не принял, Соколов и Зайцев из журнала ушли. Писарев, вначале присоединившийся к ним, остался.

Раскол этот, вызванный формально требованием Соколова произвести экономическую реформу, имел под собой и более глубокие причины, о которых мы говорили выше (см. очерк о Благосветлове).

Вскоре после ухода из журнала Соколов был арестован. Причиной ареста послужило «знакомство и сношения его с коллежским секретарем Ножиным, уже умершим, который принадлежал к кружку лиц, известных под названием нигилистов, и подозревался в преступных сношениях с бывшим домашним учителем Худяковым, осужденным по приговору Верховного уголовного суда к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение». 11 июля 1866 года Соколов «по обнаружению... каких-либо данных, по коим бы можно было подвергнуть его судебному преследованию», был освобожден из-под ареста с учреждением за ним полицейского надзора.

В «Автобиографии» Соколов, говоря о своем первом аресте, делает пометку: «Тут надо рассказать, как Муравьев напечатал о Ножине: «Основатели ада и руководители Каракозова». К счастью, Ножин умер 3 апреля в Марьинской больнице от тифа. Тем не менее Зайцева, Курочкина, Орлова, Соколова, друзей Ножина, арестовали». Это «к счастью» в данном контексте весьма примечательно. В сноске Соколов особо подчеркивает: «Пусть он расскажет это время до 18 апреля» — речь идет о первых двух педелях после выстрела Каракозова. После примечания Соколова редакция «Свободы», где печаталась первая часть «Автобиографии», пишет: «В следующем номере будет напечатано подробнее об этом времени, равно как и подробности об идее «Отщепенцев». Однако следующий номер «Свободы» не вышел. Тайна взаимоотношений Ножина и его друзей с подпольной организацией ишутинцев, из которой вышел Каракозов, пока не раскрыта. В литературе о Соколове высказывалось предположение, что он (а следовательно, и Зайцев) знали о готовившемся покушении. В «Отщепенцах» на материале истории с большой страстностью приводятся аргументы «за» и «против» убийства царя — факт, свидетельствующий о спорах, которые, по-видимому, велись в революционной среде конца шестидесятых годов о возможности и допустимости цареубийства.

На допросах, естественно, Соколов отрицал какую бы то ни было нелегальную основу своих взаимоотношений с Ножиным и его кружком. «Что касается до сношений моих с Ножиным, — показывал он, — то они ограничивались делами по переводу разных книг, из коих некоторые уже напечатаны».

Для издательского дела, затеянного Зайцевым, Ножиным, Сулиным и другими, Соколов переводил, в частности, произведения любимого им Прудона. «Отщепенцы», по первоначальному намерению, также были не чем иным, как переводом одноименного сочинения Жюль Валлеса французского публициста-революционера, впоследствии участника Парижской коммуны, уехавшего после ее разгрома в эмиграцию. Его «Отщепенцы» изображали людей, живущих вне общества и враждебных ему, — непризнанных поэтов, ученых, неудачников-изобретателей. Но это не люди «богема», а будущие «инсургенты», протестанты, готовые с оружием в руках бороться с несправедливостью общества. Неудивительно, что эта книга, вышедшая во Франции в 1865 году, привлекла внимание Соколова. «Случайно сидя у Доминика, — рассказывает Соколов в «Автобиографии», — прочел он газету «La Presses Эмиля-де-Жирардена о Жюле Валлесе и его книге «Les refractaires».

Вышел из Cafe, купил эту книгу и помчался к Зайцеву. Тотчас же отправил Ножина в «Петербургские ведомости» для напечатания объявления: «Печатаются и выйдут на днях «Отщепенцы» — под редакцией Н. Соколова. Валлес оказался плох, из него годились только первые страницы, а остальные сам придумал. В пять недель книга была готова, писалась и печаталась одновременно. Типография Головина была в двух шагах. 4 апреля 1866 года он принес книгу в цензурный комитет в 9 часов утра, а в 11 Каракозов выстрелил. Общий перепуг. 5 апреля Трепов захватил все издание».

Имеются сведения, что Соколов писал «Отщепенцев» в соавторстве с Варфоломеем Зайцевым. Об этом пишет, в частности, друг Бакунина, Зайцева и Соколова анархист Гильом в 3-м томе своей книги «Интернационал». А. Ефимов, автор единственной статьи о Соколове, опубликованной в 11-12-м номерах журнала «Каторга и ссылка» за 1931 год, сообщает о своей беседе с бакунистом М. П. Сажиним (Арманом Россом), еще жившим в ту пору, который в эмиграции был дружен с Зайцевым и с Соколовым. Сажин подтверждал свидетельство Гильома: «Соколов и Зайцев говорили ему о том, что «Отщепенцев» писали они двое, Зайцев первую часть, а Соколов — вторую».

Б. П. Козьмин в своей статье «Н. В. Соколов. Его жизнь и литературная деятельность» сообщает, что он также обращался к М. П. Сажину с вопросом об авторстве «Отщепенцев», и приводит следующий его ответ: «Отвечаю на Ваш вопрос об авторстве книги «Отщепенцы».

1) В разное время (в 70-х годах) лично слышал от Н. В. Соколова и В. Ал. Зайцева, что они *оба писали* (подчеркнуто М. П. Сажиним. — Ф. К.) книгу «Отщепенцы», причем первую половину (приблизительно) писал Зайцев, а вторую Соколов.

2) Инициатором написания книги был Соколов. Книга была отпечатана при новом законе о цензуре (уничтожена предварительная цензура). Оба автора допускали случай задержания книжки цензурой и даже ее судебное преследование при ее выходе, поэтому было условлено, что Соколов берет на себя всю ответственность, поэтому он, Соколов, заявил себя автором «Отщепенцев» официально перед цензурой.

Вот все, что сохранилось у меня в памяти до сих пор по этому делу».

Б. П. Козьмин считает, что после такого авторитетного свидетельства М. П. Сажина вряд ли могут быть какие-либо сомнения относительно того, что Зайцев действительно был одним из авторов «Отщепенцев», причем очевидно, что ему принадлежит первая часть работы — «Историческое отщепенство». Это вполне объяснимо тем глубоким интересом к истории и отличным знанием ее, которые были характерны для Зайцева. Вторая же часть работы — «Современное отщепенство», где речь идет в основном о Фурье и Прудоне, написана Соколовым. Соколов, по-видимому, взял авторство целиком на себя потому, что был одиноким человеком, а на плечах Зайцева лежала забота о большой семье. В истории же русской публицистической мысли и русского освободительного движения утвердилось мнение, что Соколов был

единственным автором «Отщепенцев», этой популярнейшей книги среди молодежи семидесятых годов. Книга его в конце концов дошла до читателя...

Правда, двухтысячный тираж ее был арестован петербургским градоначальником еще в типографии. Но, как сообщалось в одном из агентурных донесений III отделения, «известная книга Н. Соколова *«Отщепенцы»* подвергнута аресту далеко не с тою тщательностью, какой требовало дело. Теперь получено сведение, что не опечатанные полицею листы попали в руки студентов университета и технологов; много их уже переписано и в таком виде ходит по рукам между юношами. Вскоре в судебной палате будет слушаться дело об этом сочинении и почти вся молодежь собирается туда».

Молодежь на суд не попала: дело слушалось в закрытом порядке. Что же касается «Отщепенцев», то книга после суда приобрела небывалую популярность. В 1870–1872 годах «Отщепенцев», по воспоминаниям современников, литографировали в революционно настроенных студенческих кружках дважды. В 1872 году «Отщепенцы» были переизданы группой революционной молодежи (В. М. Александровым при содействии Веры Любатович и Живко) в Женеве и почти весь тираж (1500 экземпляров) переправлен в Россию.

Это была одна из главных акций «Кружка чайковцев», организованного Марком Натапсоном в 1870 году и сплотившего большое число студенческой молодежи Петербурга, Москвы, Одессы, Киева. Полагая главной своей задачей подготовку молодежи для предстоящей революционной деятельности, чайковцы в развитие традиций шестидесятников организовали целое «Книжное дело», которое распространилось по всей России: от Петербурга до Одессы, от Москвы до Вятки. Чайковцы предприняли собственное издание книг не только в России, но и за границей. Одной из первых книг, отпечатанных там, и были «Отщепенцы» Н. Соколова. В деле III отделения «О шифрованной переписке лиц, проживающих за границей», мы читаем: «Эльсниц сознался... Сегодня он снова был спрошен и объяснил, что в феврале месяце приезжал в Москву Смирнов на одни сутки, где и условился с Эльсницем издавать «Отщепенцев», революционный журнал, сочинения Чернышевского». В том же деле приводится выдержка из шифрованного письма из-за границы, перехваченного III отделением: «Отщепенцы» готовы (1500)».

Книга, отпечатанная первоначально в легальной типографии и представленная в цензуру, смогла проникнуть к читателям лишь путем нелегальным, «подземным», как говорили в ту пору. В течение ряда лет она выполняла свое предназначение: будоражила умы, воспитывала «отщепенцев» от самодержавно-крепостнического строя, социалистов и революционеров.

По свидетельству видного революционера семидесятых годов И. С. Джабадари, «Отщепенцы» Соколова «тогда гремели в Петербурге» ими «зачитывалась молодежь». «Соколов обратил в социализм многих своими статьями г. «Русском слове» и книгой «Отщепенцы», — писал в «Записках революционера» П. Кропоткин. Народоволец Н. А. Морозов вспоминал в «Повестях моей жизни»: «Отщепенцы» книжка, полная поэзии и



восторженного романтизма, особенно нравившегося мне в то время, возвеличивавшая самоотвержение и самопожертвование во имя идеала, унесла меня на небо».

С тех пор эта единственная в своем роде в русской публицистике книга ни разу не переиздавалась и давно стала недоступной читателю библиографической редкостью.

### **«ОТЩЕПЕНЦЫ»**

Книга Соколова и Зайцева и в самом деле имеет мало общего с «Отщепенцами» французского публициста Валлеса. Валлес писал о непризнанных поэтах, ученых, художниках, о людях, живущих «вне общества» и стихийно враждебных ему. «Отщепенцы» же Соколова и Зайцева — протестанты, отрицатели, революционеры, которые сознательно «расходились» с обществом и отрешались от него». Это люди, не принимавшие несправедливости эксплуататорского общества, дерзнувшие в тех или иных формах протестовать против него.

У всех у них есть общие черты, по которым их узнают и «во главе восставших против невыносимой тирании», и «в задних рядах умирающего с голоду пролетариата». Общество узнает их «по нежеланию идти с ним рука об руку, по тому отвращению их к рутине, которое общество называет «неправомочность», по тому шумному и грозному или молчаливому и подавленному протесту против него, который выражается во всей их жизни и даже в смерти, несмотря на их имена — прославленные или обесславленные, громкие или безвестные, памятные или забытые среди грохота революций и битв или среди холода и голода грязных улиц».

В книге идет речь о ненависти общества к революционным отщепенцам, вся вина которых в том, что «они видят беду раньше других...», смело говорят обществу «о гнилости и ветхости его основ». За это они подвергаются гонениям со стороны тех, кто убежден: «...Надо спасти общество от их критики, спасти верования и убеждения от их отрицания... Вечное, постоянно повторяющееся заблуждение! Как будто здоровым, живым принципам, тем, у которых есть будущность и которым в настоящем принадлежит не один только материальный мир, не одни только фактические отношения, но и вера людей, и нравственный мир общества, как будто им страшна какая бы то ни было критика! То, что живо, то, чему верят искренно, не нуждается в защите силой, в ограждении от отрицания и в материальном покровительстве. Преследование отрицателей, критикующих общество, свидетельство слабости его, — значит оно само в себя не верит, не верит в свою веру, в свою нравственность, в свое добро в свое достоинство... И вот оно, неверующее, защищает верования, отрицающее само себя, преследует отрицания, между тем как отрицатели — единственные верующие в нем люди».

«Без отрицания нет веры, как без веры нет отрицания, — утверждают авторы книги. — Как для того, чтобы иметь право отрицать, нужно во что-нибудь верить, так и веру можно сохранить в падающем или развращенном обществе только отрицанием. В прогнившем обществе все идет наыворот: атеист делается инквизитором и ожесточенно преследует малейшее отступление от

догмата; развратники отстаивают нравственность; юридические убийцы вопиют против отрицания права... Никто не видит ни малейшей нужды соглашать слово с делом, принцип с фактом, убеждения с жизнью. Чем высокопарнее рассуждают о святости принципов, тем позорнее контраст между речами и делами; чем выше превозносятся и чем жарче отстаиваются принципы, тем унижительнее и нелепее компромиссы, заключаемые на каждом шагу с обстоятельствами». Книга Соколова и Зайцева — вдохновенный гимн тем «совестливым, смелым и дальновидным людям», которые имеют мужество вступать в конфликт с разлагающимся обществом во имя идеалов правды, добра и справедливости. По сути дела, это публицистический очерк, в популярной, доходчивой форме раскрывающий историю социального протеста, историю революционных и социалистических движений, начиная с античности и кончая XIX веком.

В значительной своей части книга является компиляцией, включающей в себя переводы из сочинений западноевропейских мыслителей: глава «Развалины» заимствована из книги Вольнея «Руины или размышления о революциях империи»; главы о римском стоике Тите Лабцене — не что иное, как перевод памфлета французского публициста Рошара против Наполеона III, и т. д.

Книга, как я уже говорил, делится на две части: первая — «Историческое отщепенство», куда входят главы «Стоики», «Христиане», «Секты», перемежающиеся публицистическими эссе «Как пропадают верования» и «Развалины»; и вторая — «Современное отщепенство», включающая главу «Социалисты» и два особо выделенных подраздела — «Фурье», «Прудон».

«Историческое отщепенство» начинается красочным описанием трагических фигур протестантов древней Римской империи, стоиков, «быть может, не умевших жить, но зато умевших умирать». «Не имея... идеала впереди себя, не видя, откуда могло бы прийти спасение, отчаявшись в человечестве, они смело решались на удаление от жизни и часто доводили это решение до крайних его последствий — до самоубийства». С глубоким уважением говорится в книге об этих «железных, сильных людях», «твердых, непоколебимых гражданах», которых «не мог сломить деспотизм или коснуться растление общества». И все-таки, по мнению автора, эти «строгие, величественные, грустные фигуры» еще не были «истинными отщепенцами» в силу ограниченности и безысходности их гражданского протеста.

В следующей главе книги с революционных позиций переосмыслиется движение раннего христианства как народного протеста против мира насилия и лихоимства. Глава «Секты» рисует торжество христианства, явившееся вместе с тем полным отрицанием самого себя: «...Крест победил, а все остается по-прежнему. Христианство не принесло рабам свободы, угнетенным спасения, ограбленным избавления, голодающим хлеба... Те, которые ждали себе спасения от новой религии, почувствовали это противоречие и разлад слов с делами».

В книге дается глубокая характеристика этого «разлада слов с делами», столь характерного для церкви, история преступлений церкви перед людьми и

человечностью, история революционного протеста против церкви и общества, развивающегося поначалу на религиозной основе. «В церкви была в то время сосредоточена вся духовная жизнь общества... Вот почему протест против нового мира вышел из церкви и прежде всего обратился против нее», — утверждают авторы книги. Они понимают, что, несмотря на религиозные формы, этот протест был прежде всего социальным. Он начинался и выявлялся часто в форме чисто богословских споров, но эти споры нередко скрывали за собой разногласия куда более существенные. «Ведь... и нам самим, — говорится в книге, — приходится во многом поступать точно так же. Сектаторы обвиняли католицизм в искажении христианства, и спор, сущность которого состояла в социальных вопросах, нередко вращался около догматов и сводился к богословским тонкостям. Но разве не то же самое все новейшие ученые препирательства, происходящие в области философии, права, естествознания?»

Эта историческая аналогия использована в конце для того, чтобы объяснить читателям истинный смысл тех научных споров вокруг проблем естествознания и философии, которые велись на страницах «Русского слова» и других органов демократии шестидесятых годов: «Спорить о происхождении видов! Каково варварство, какая гнусность! с деланным возмущением восклицает автор, в данном случае, по-видимому, Зайцев. — Разве деспот низвергнут, разве лихоимец наказан, разве голодный накормлен, разве уничтожена эксплуатация, обуздано насилие и грабеж, дарована свобода? Разве все эти кровавые, жгучие, смертельные вопросы, осаждающие всех и каждого от зари до зари, всякий день, всюду и во всем, разрешены и удовлетворены?...»

Конечно же, нет, отвечает он. Но часто эти вопросы, столь незначительные на первый взгляд среди общего плача и скрежета зубовного, только прикрывают собой вопросы более жизненные. От того-то споры о них ведутся с таким одушевлением, с таким жаром, с таким фанатизмом. Ведь и «в XVIII веке споры шли на всех бесчисленных пунктах знания и религии, и велись даром: пришло, наконец, время, когда можно было начать делать дело, и тогда словесные препирательства стали неуместны», — раскрывает он подлинную подоплеку просветительской пропаганды шестидесятых годов. И книга, которую писали Соколов и Зайцев, отнюдь не была отвлеченным историческим трактатом, она вся подчинена конкретной революционной цели: подготовке того времени, когда и в России можно будет «начать делать дело».

Внимание авторов «Отщепенцев» привлекают в первую очередь те страницы истории, где вполне выявился социальный протест народных масс.

В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс писал, что в средние века, когда религия вбирала в себя формы идеологии, «всякое общественное и политическое движение вынуждено было принимать теологическую форму. Чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде. И подобно тому, как бургерство с самого начала создало себе придаток в виде не принадлежавших ни к какому определенному сословию, неимущих городских плебеев, поденщиков и всякого рода прислуги

— предшественников позднейшего пролетариата, — так и религиозная ересь уже очень рано разделилась на два вида: бюргерско-умеренный и плебейски-революционный, ненавистный даже и бюргерским еретикам.

В «Отщепенцах» подробно рассказывается именно о плебейски-революционном виде ереси, том самом, где «под видом богословского догматического разногласия идет борьба бедняка против богатого, честного против подлого, угнетенного против деспота». Центром «исторического отщепенства» в книге представлены гуситы и движенье Томаса Мюнцера, «последнее великое проявление борьбы в религиозном духе». Особое внимание уделяется плебейски-революционному движению крестьян, руководимых Томасом Мюнцером. «Сектаторы погибали на кострах и виселицах не потому, что не соглашались с церковью в том или другом догмате, а потому что... были врагами старого общественного порядка, противниками не церкви, а государства и социальных условий».

В представлении авторов книги Мюнцер — «последний сектатор и первый социальный демократ новой истории», «предшественник революционеров XVIII и социалистов XIX века». В книге подробно описаны его судьба, обстоятельства пленения и казни крестьянского вождя, приведена его предсмертная речь, особенно испугавшая цензуру. И хотя Мюнцер погиб и после его смерти «по было более религиозных революционеров, отщепенцев во имя Евангеля», он «подаёт свою доблестную руку, руку, ниспровергавшую алтарь и митру, ряду других отщепенцев, в которых живет вечная, бессмертная идея и которые продолжают протест во имя свободы, равенства и братства, против насилия и лихоимства. Сектаторский религиозный дух умер, конечно, по идея, жившая в нем, осталась живая и только переменяла знамя!..Философия заменила религию, наука — предание».

В «Отщепенцах» дана не только история борьбы «евангельских» революционеров-сектаторов, но и прослежен драматический процесс угасания христианской веры, самоотрицания ее. «Как пропадают верования» так называется следующая глава его книги, посвященная судьбе христианской религии. Приведем выдержки из этой главы, дабы дать возможность почувствовать пафос книги. Итак:

### **«КАК ПРОПАДАЮТ ВЕРОВАНИЯ»**

«Близится конец царству старого учения — и настает пора глубокого равнодушия к вере отцов...

Вначале, когда учение только зарождалось и распространялось, его приняли и усвоили, потому что признали его за истину. В ту пору вера была жива и сильна: люди знали тогда, во что и чему они веруют.

Прошли века за веками, потомство верующих стало уже верить по преданию и привычке, мало-помалу теряя сознание и чувство заветной веры. И вот она исподволь меняет свою основу и, не опираясь более на убеждения, начинает уже покоиться на авторитете и окончательно превращается в мертвящую рутину. Передаваясь из рода в род по завещанию, старое учение постепенно искажается, утрачивает прежнее свое значение, а вера обращается в притворное чувство и сохраняется только на словах. Как пи звучны эти слова,

но нет в них выражения веры, той чистосердечной и пылкой веры, которая некогда заставляла людей волноваться, страдать и умирать.

Такое тупое равнодушие к заповедному учению не может, впрочем, долго продолжаться. Рано или поздно в среде того самого общества, которое не верует искренно, а живет только суеверными привычками, появляются люди с пытливым умом и с чувством правды. Для них немислима вера без убеждения и противен им разлад слова с делом. С невольным отвращением смотрят они на бессмыслие и лицемерие толпы, которая притворяется, будто бы во что-то верует и чему-то поклоняется. Совесть их возмущается при виде этого повального нравственного разврата, и в уме их зарождается тяжелое сомнение в истине веры, которая на практике обратилась в пошлую обрядность и позорное шутовство...

Это сомнение совершенно законно и разумно. Мало того: умные и совестливые люди, которые презирают подложное чувство веры и видят в нем разврат мысли, вовсе не думают сперва посягать на самую веру или отрицать учение, которое ее вызывало. Нет, они желают только разгадать истинный смысл этого учения и оправдать его правила своим разумом, с целью веровать не слепо, а с убеждением.

Напрасное желание. Века изуверства и лицемерия так исказили мысль господствующего учения, что оно бессильно уже воскресить в сердцах погибшую веру и рассеять сомнения. В нем была правда, и правдой держалось оно все время, пока шла борьба за его существование. Борьба кончилась торжеством; победители отпраздновали свою победу и вскоре затем впали в то спокойствие, равнодушное состояние, которого не знали прежде, когда боролись за свое правое дело, за веру и убеждения. Как сперва борьбой укреплялось новое учение, так потом победой ослабилось его значение, потому что бойцы охладели к нему и перестали им увлекаться. С этой самой поры гаснет вера, а с нею вместе и сознание ее смысла. Начиная с того, что самое учение о вере теряет свой отрицательный характер, получает догматический тон...»

«И вот в порыве страстного увлечения отрицатели подложной веры громко заявляют свое отречение и призывают к здравому смыслу и совести общества. Без расчета и тайного умысла отрицатели отважно провозглашают, что старое учение ложно, и обращаются к обществу с сильной, выразительной речью, в которой так и звучат слова давно забытой, но вечно сущей правды. С этой торжественной минуты во всех слоях общества проявляется какое-то тревожно-томительное настроение, и вскоре вспыхивает ужасная борьба.

Погруженное в спячку общество вздрагивает, пробуждается, начинает прислушиваться к голосу новых пророков и, оглядываясь на себя, замечает, что оно или ни во что не верует, или верует, само не зная чему. Закрадывается сомнение в умы людей, привыкших верить на слово, и в умы людей, которые никогда не проверяли своих понятий и взглядов, а действовали всегда слепо, повинясь рутине.

Совсем иное происходит в среде партии, которая управляла и жила во имя старого учения. Люди этой партии давно уже привыкли к безмятежному

владычеству и потому перестали помышлять о возможности опасного для них переворота. Но вот, почуяв нежданно грозящую беду, они протирают глаза и готовятся встретить врага в полном вооружении. Что ж, однако, оказывается? Самозванные защитники старого учения давно уже забыли смысл его и не знают, как и почему утвердилось оно и стало господствовать над умами. Они помнят только то, что сумели воспользоваться правилами этого учения для достижения своих целей и обратили его в оружие обмана и насилия. Таким образом, когда настает пора обличений, когда общество обращает внимание на партию властвующих консерваторов, они не могут прямо оправдаться и чувствуют, что кругом и под ногами все колеблется, шатается и разваливается... Не задумываясь долго, они решаются подавить в зародыше новые идеи и потому обращают всю свою злобу на виновников умственного движения, то есть на отрицателей старого, извращенного учения...

Они начинают разжигать личный эгоизм, возбуждать повальный страх и действовать вообще на грязные интересы людей, извлекающих какую-нибудь пользу из общественной неправды... В этой стачке интересов, в этом союзе малодушных негодяев заглушается всякое нравственное чувство и гаснет последняя искра совести и веры...

Мало того: консерваторы, пользуясь властью, несравненно сильнее своих противников тем, что составляют огромную и плотную шайку опытных, практических и ловких заговорщиков, которые действуют под влиянием страха и с одной только целью спасения своих интересов. Что же касается отрицателей, то между ними нет прочного союза, и, сперва нападавая сообща на старый порядок, они разделяются потом на отдельные партии и секты, которые взаимно ослабляются разногласием и спором. Завязывается междоусобная распря: каждая секта выдумывает свои догматы, выставляет своих учителей и проповедников, старается увеличить число своих последователей и добивается исключительного господства.

Так исчезает прежнее единство отрицательного направления и развивается раскол в среде людей, которые так мужественно и единодушно начали борьбу против старого учения и его павил...

Консерваторы торжествуют. В свою очередь, они нападают то на тех, то на других противников существующего порядка, осуждают и осмеивают их учение, выставляют на вид их противоречия и обвиняют в злонамеренности, недобросовестности, своекорыстии, короче — во всех пороках, в которых обвинялись сами...

Наученные опытом, они заботятся прежде всего о том, чтобы убить в обществе тот роковой дух отрицания, который напугал их, чтобы истребить окончательно то семя святой правды, которая дает плоды, отравляющие подлецов.

Замыслы консерваторов приводятся в исполнение — и наступает ужасная пора. В общественной жизни исчезает все, что может напомнить о человеческом достоинстве. Эти чудовищные натуры, эти нравственные уроды не ограничиваются тем, что обращают самих себя в диких зверей; нет, они воспитывают еще по своему подобию особую породу вредных животных, под

названием «практических» людей, которые исполняют их волю и делаются слепыми орудиями деспотизма. Все удастся консерваторам, даже выделка подлецов!

И вот размножается в обществе класс отчаянных негодяев, для которых нет ничего святого; они готовы на всякий бесчестный поступок, на всякое преступление по одному лишь знаку своих господ, которые нанимают их и содержат па счет общества. Таким образом, в распоряжение консерваторов поступает огромная армия сыщиков, шпионов и всяких мерзавцев, которые обязаны знать и сообщать властям все, что делается в обществе. Эта армия получает правильную организацию и пользуется особенным расположением поборников старого порядка, потому что они считают ее падежным оплотом своего могущества и рычагом своей власти...

Что остается делать в обществе, которое управляется такими, хищниками? Чего можно, наконец, ожидать от общества, которое бесстрастно позволяет преследовать и казнить людей за убеждения, верования и за свободное их выражение?»

«Но нет, нет! — да не клянет честный человек судьбы своей. Всему есть мера: почему не быть и мере подлости и позора?! Как низко пи падало бы и ни развращалось общество, как бы оно ни топтало правды, но дойдет же, наконец, повальный разврат до своего крайнего предела, и подыметса же правда, подыметса и восстанет она во всем своем величии, во всей своей святости и силе! Мужайтса, добрые люди, если в вас тлеетса еще искра веры в совесть человека, веры в его будущее искупление от нравственного падения.

Защитники этого порядка знают теперья, что они держатса только грубою силой, без всякой надежды поддержать себя нравственно и снискать уважение и доверие общества. Они знают это и давят, давят людей, пока не подавтса своим позором, пока не переполнят меры общественного презрения и ненависти. Они знают также, что, несмотря на все гонения и казни, в обществе живет п бодрствует дух отрицания, который грозит им неотразимой бедой.

Новые люди лелеют и воспитывают в себе и других эту новую, животворящую веру и на ней покоят все свои нужды. И люди эти являлись уже и продолжают являться все чаще и чаще в среде общества, и в их честных руках его спасение и будущее счастье. И люди эти всегда были и будут апостолами и учителями общества, потому что отличаются искренностью и смелостью убеждения, чистотою своих намерений и презирают пошлость практической жизни и отрицают ее неправду и разврат...

Таким образом, люди новой веры сознают свое призвание и чувствуют свое нравственное отчуждение от старого мира лжи, безверия и подлости. Мало того: они сознают уже то, чего не сознавали отцы их, чего не хотят и даже не могут сознать развращенные тираны: они сознают смысл и назначение революции, потому что носят ее в мозгу и в сердце своем, потому что выражают ее словами и делами...

Так умирают старые верования; так кончатса старые порядки и так на развалинах их восходит лучезарное светило новой веры!»

Вторая часть «Отщепенцев», принадлежащая уже перу непосредственно Соколова, посвящена истории революционного протеста не в религиозных, но в политических и экономических, чисто социальных его формах.

Прямыми наследниками Томаса Мюнцера — Фомы Мюнцера, как он именуется в «Отщепенцах» — Соколов считает великих утопистов прошлого, протестовавших против организованного грабежа не во имя религии, но «во имя философии». Именно в утопии Томаса Мора, Кампанеллы, Морелли, Мабли, по мнению Соколова, возшло прежде всего «лучезарное светило новой веры».

Страницами цитирует Соколов, к вящему ужасу цензоров, «Утопию» Мора, сочинения других утопистов, демонстрирует всю беспощадность их критики эксплуататорского общества. «Обличая так верно, так метко общественные язвы, — пишет он, утописты противопоставляли этому ужасному социальному состоянию свои идеалы». В этих идеалах, по мнению Соколова, не все безукоризненно верно, в них было много фантастического, мечтательного и даже ошибочного, и это не удивительно, потому что они писали только «приблизительный очерк» общества будущего. «Во многих частях утопии их расходятся друг с другом. Но сущность их всегда одинакова и всегда выражает одно и то же желание учредить на развалинах старого порядка противоположный ему новый, где насилие и лихоимство были бы заменены свободой и взаимностью. Это — вечная мечта всех этих честных утопистов и мечтателей...»

Соколов защищает истинность и осуществимость этой мечты от нападок «практических мудрецов» всей силой убежденности социалиста и революционера. «Прошли века, и мечты утопистов не забыты, — пишет он, — напротив того, они постоянно все более и более выясняются и принимают философское основание и определенный, разумный характер».

Социалистической мечтой утопистов он поверяет результаты французской революции XVIII века — великого события в мировой истории, в результате которого «французский народ сбросил с себя ненавистное иго политического рабства и стал *отщепенцем* старого, феодального мира».

Наряду с движением Томаса Мюнцера и учениями утопистов Великая французская революция привлекает самое пристальное внимание Соколова. Он видел в этом гигантском по масштабам и последствиям историческом событии блистательное оправдание погибших героев, распятых, сожженных, обезглавленных за отрицание насилия и лихоимства, за веру в справедливость, в истину и в человечество.

В истории человечества, утверждает Соколов, не было минуты важнее этой. Тем трагичнее для народа, совершившего этот общественный переворот, его финал: «Старый мир эксплуатации и насилия остался по-прежнему, только переменяв некоторые внешние формы. На развалинах феодального общества утвердилась новая несправедливость» — «плутократия», то есть владычество капитала».

Почему это произошло?



Соколов не в состоянии подняться до осознания того, что Великая французская революция по своим историческим задачам и движущим силам была буржуазной революцией и не могла быть иной. Разочаровывающие ее результаты он объясняет чисто просветительски и даже прудонистски. Трагедия французской революции в его представлении в том, что ее осуществляли «политические революционеры», попытавшиеся «даровать переворот экономический путем переворота политического».

Вот почему, хотя история воздает должное «личным достоинствам» вождей революции, «их мужеству, их гражданской доблести, их чести и бескорыстию», «отщепенство никогда не признает их своими героями». Соколов лишает их этой чести на том основании, что «они были политиками...» и потому «душой и телом принадлежат старому порядку». Вождям Великой французской революции он противопоставляет социалистов-утопистов XIX века, и прежде всего Фурье и Прудона. Заслуга социалистов в том, что они, утверждает Соколов, осмыслили и выразили главное противоречие общества — «вечную вражду угнетенных и угнетателей». «Весь смысл современной истории — в этой борьбе плутократии с пролетариев», — пишет Соколов. Он утверждает, что социалисты — самые последовательные защитники угнетенных; они вели и будут вести борьбу за освобождение самого многочисленного и бедного класса рабочих. «Эти бойцы — апостолы XIX века, — пишет Соколов, — несмотря на видимое разнообразие школ, на которые распадался социализм, тем не менее значение и направление их одно и то же. Все социалисты проповедают свободу, равенство и братство, все восстают против плутократического порядка, все отрицают его единодушно, и во имя народа, во имя его права и достоинства, все желают и требуют прекращения грабежа и насилия».

В ряду деятелей, наиболее полезных социальной науке, Соколов первым называет Фурье, который принадлежал, пишет он, «к числу самых замечательных и редких мыслителей нашего века».

«Фурье раньше всех провозгласил право на труд, без которого нельзя обеспечить участи самого многочисленного и бедного класса людей.

Фурье раньше всех заговорил об ассоциации, конечно, не подозревая, что практики исказят его здравую мысль.

Фурье громче и разумнее всех ратовал за свободу женщины и первый объявил, что без этой свободы нет прогресса.

За все это Фурье заслуживает бессмертную славу».

Отношение Соколова к Фурье, Оуэну и другим классикам утопического социализма лишней раз свидетельствует, что, несмотря на очевидное влияние Прудона, мировоззрение Соколова никак нельзя сводить к прудонизму. Он брал в учении Прудона прежде всего то, что было созвучно его убеждениям революционного демократа, пафос яростного отрицания несправедливых экономических порядков.

В конечном счете цель и смысл «Отщепенцев» Соколова в открытой пропаганде революционных и социалистических, отрицающих эксплуататорское общество идей.

Велик был ужас цензоров и судей, читавших обжигающие страницы этой книги. Вот некоторые выдержки из обвинительного заключения, показывающие, что в особенности напугало в книге суд и цензуру:

«Представив христианство... как чисто коммунистическое учение, заслуживающее уважения лишь по отрицательному его характеру, автор сборника осыпает его невероятными ругательствами, как скоро оно развило догматическую свою сторону и, приняв вид организованной церкви, сделалось твердою опорой христианских правительств».

«Автор называет святым мучеником, провозвестником всех будущих революций известного кровожадного анабаптиста XVI века Мюнцера, который не только проповедовал равенство и коммунизм, но и произвел страшное восстание крестьян против высших классов и государей»; в книге, наконец, «проповедуются идеи неограниченного равенства и коммунизма, и низшие классы возбуждаются в самых неистовых выражениях к восстанию против высших... Автор проводит мысль, что революционные идеи не есть нечто произвольное, новое, не имеющее связи с прошедшим, что они зародились при самом начале общества и постепенно развивались, как вечный протест оскорбленного права против торжествующего насилия».

Как показывает этот красноречивый документ, цензура и суд хорошо поняли смысл книги «Отщепенцы». Прокурор Тизенгаузен требовал тяжкого наказания для ее автора: заключения в крепость и последующей ссылки. Однако, учитывая тот факт, что книга была представлена самим автором в цензуру, заблаговременно арестована и, следовательно, не попала к читателю, суд ограничился сравнительно мягким приговором: книгу уничтожить, а автора ее подвергнуть шестнадцати месяцам заключения в крепости.

### **ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ**

Срок пребывания в крепости, определенный судом, завершился для автора «Отщепенцев» в ноябре 1868 года. Соколов с нетерпением ждал освобождения, строил планы на будущее, готовился продолжить начатый перед арестом перевод сочинения Прудона «Что такое собственность?». Каково же было его возмущение, когда в день освобождения из крепости, вопреки приговору суда, чисто административным порядком он был увезен под охраной жандармов в Архангельскую губернию и определен на жительство в Мезень.

Как получилось, что автор «Отщепенцев», помимо приговора суда, оказался в такой суровой, дальней и вдобавок бессрочной ссылке? Истинной причины этого Соколов никогда не узнал.

В деле III отделения «Об отставном подполковнике **Н. Соколове**» хранится любопытный документ:

«Его сиятельству, шефу жандармов, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Шувалову Содержащегося в С.-Петербургском тюремном замке писаря Николая Родионова Молодожникова

#### **Прошение**

Имея крайнюю надобность в личном передании секретных сведений, почему осмеливаюсь утруждать особу Вашего сиятельства о вытребовании меня, чем скорее, тем более пользы.

Писарь Николай Молодожников 13 октября 1867 г. 2-го половина часа дня».

В отношении, которое 14 октября 1867 года легло на стол шефа жандармов вместе с «Прошением» Молодожникова, сообщалось: «Арестант Молодожников содержится за кражу со взломом. За день до подачи представляемого при сем прошения он сделал заявление о том, что содержащийся временно в тюрьме известный автор сочинения «Отщепенцы» отставной подполковник Генерального штаба *Соколов* старался сблизиться с арестантами низших сословий и проводил перед ними вредные идеи. Соколов переведен теперь в крепость. Молодожников просит вызвать его как можно скорее, так как будто бы дело, о котором хочет заявить, очень важно и не терпит отлагательства».

В результате допроса Молодожникова выяснилось, что 11 октября он написал на Соколова донос, в котором говорилось, что «подполковник Соколов во время содержания в тюрьме, никогда, при своих прогулках на общем дворе, не сблизился с лицами благородного сословия, по постоянно разговаривал с арестантами из простолюдинов; в числе их и ему, Молодожникову, случалось слушать его суждения, на которые он в то время не обращал внимания, по, чувствуя тоску о том, что слышанное им может когда-либо осуществиться, он заявляет, что Соколов самый ревностный нигилист; что он говорил о неминуемом в 1868, или не позже 1870 года, государственном перевороте», развивая также мысль о том, что императорская фамилия должна при этом перевороте или ранее исчезнуть, намекал «о средствах ее исчезновения» и указывал, как на финансовые средства, на богатства, хранящиеся в руках духовенства монастырского и городского». Далее Молодожников оговаривался, что «но может разъяснить все в подробностях, но что тайное общество должно быть», и предлагал свои услуги для разоблачения этого «тайного общества», оговорив это рядом условий. В частности, он просил поместить его в одном из секретных номеров тюрьмы с правом свободного выхода на общий двор в течение трех суток; дозволить ему свободный разговор с арестантом Алексеевым, известным, по его словам, мошенником и вором, наконец, «дать ему, Молодожникову, 10 рублей, которые ему при этом необходимы».

На этом красноречивом документе начертана очередная виза: «Предложить по поручению графа нарядить следствие по показаниям Молодожникова на подполковника Соколова». Следствие вел прокурор окружного суда Муравьев, который для объяснения с Молодожниковым неоднократно посещал тюремный замок. Ретивый писарь предложил следователю целую программу «дознания»:

- 1 — свободный допуск знакомых лиц к Соколову;
- 2 — дознание об образе жизни и действиях лиц, посещающих Соколова;
- 3 — внезапный осмотр в их квартирах и то только тогда, когда будет нить сущности ясна».

Далее он конкретизировал свои показания, заявив, что «Соколов выражался оскорбительно об особе государя императора и членах царствующего дома, отзываясь, что они «сатанинского происхождения», а чиновники — «слуги сатаны»; относительно будущих переворотов и истреблении царствующего дома Соколов отзывался, что это должно произойти в 1868 году; говоря о монастырском имуществе как источнике средств для переворота, он указывал на драгоценности Кириллова монастыря, в котором будто бы находится mitra, стоящая 3 миллиона. Все это, по объяснению Молодожникова, Соколов высказывал в июне и июле сего 1867 года, во время прогулок в тюрьме, арестантам из разночинцев, имен которых, кроме одного Алексева, прозванного Актрисиным, не называл, говоря, что все это такие люди, которые не покажут правды...»

В качестве главного свидетеля Молодожников и выставил этого «известнейшего вора и мошенника» Актрисина, который, «имея много сведений относительно политических замыслов Соколова, изъявляет готовность высказать все и рассказывал ему, Молодожникову, о поездке Соколова в Сибирь для свидания с ссыльнопоселенцем Петрашевским».

Однако вор и мошенник Алексеев-Актрисин разочаровал и Молодожникова, и прокурора Муравьева. «При объяснении прокурора с Алексеевым оказалось, что Алексеев с 1860 года содержится почти непрерывно то в тюрьме, то в арестантских ротах;...Соколова он знал еще в 1860 году, находясь в литографии при книжном магазине Сенковского, куда Соколов часто хаживал; в тюремном замке он встретился с Соколовым уже как знакомый. Относительно оскорбительных отзывов Соколова об особе государя императора и особах царствующего дома Алексеев отозвался, что он этих пустяков не слышал, хотя Соколов «высказывался всегда твердо». Вообще в своих объяснениях Алексеев высказывался как человек, имеющий действительно какие-то важные сведения, но не желающий передать оные иначе, как под условием освобождения его из-под стражи. О своих отношениях к Соколову и замыслах последнего он не выражался иначе, как в виде вопросов: «Зачем Соколов приглашал меня, по освобождении из-под стражи, отыскать его и явиться к нему? Зачем он ездил в 1863 году в Сибирь?» (Сам Алексеев находился тогда в числе певцов в Казанской театральной труппе.) Ближайших сведений он не дал о Соколове и ограничился одним уверением, что существует политический заговор, который он желает открыть по выходе из тюрьмы».

По-видимому, ведущему следствие прокурору Муравьеву показалось слишком дорогой и рискованной платой освобождение этого «известнейшего вора и мошенника» ради голословного обещания разоблачений; вдобавок он узнал «от офицера полиции Орлова, что Алексеев еще несколько лет назад, содержась под стражею, выразил состоявшему при бывшем Санкт-Петербургском генерал губернаторе чиновнику Малашицкому желание раскрыть какое-то политическое преступление и подделку кредитных билетов, был для этой цели освобожден из-под стражи, успел выманить у Малашицкого значительное количество денег и, пробыв два месяца на свободе, взят был во время одной кражи на месте преступления».

Прокурор Муравьев узнал и другое — оказывается, писарь Молодожников промышлял похожим образом, время от времени «предлагал свои услуги к открытию политических преступлений, изъявляя даже желание, чтобы его с этою целью заключили под стражу между политическими преступниками в Петропавловской крепости, и прося в то же время денежных пособий для его настоящих нужд».

Таким образом, чины прокуратуры и жандармерии оказались в анекдотической ситуации: их поймали на крючок два ловких мошенника-авантюриста, рассчитывавших выжать из подозрительности властей предержавших определенный капитал. Естественно, возбуждать судебное дело против Соколова на столь шатких основаниях было невозможно. Но и оставить его безнаказанным они не хотели, тем более что в их распоряжении имелось еще одно заявление: «Независимо от вышеизложенного, — читаем мы в документе, где излагаются доносы воров Молодожникова и Актрисина, — бывший прокурор С.-Петербургского окружного суда Шрейбер довел до сведения прокурора Судебной палаты, что в конце августа 1867 года, при посещения Петербургского судебного зам! для принятия просьб от арестантов, он поражен был господствовавшим тогда между арестантами духом — они с невиданною прежде настойчивостью и без должной сдержанности начали предъявлять различные свои требования; почему он... обращался к обер-полицеймейстеру, который заявил ему, что подполковник Соколов, распространяя различные идеи между арестантами, имел весьма дурное на них влияние».

Неисповедима логика властей! Коль скоро Соколов, говорится в документе, оказывал «вредное влияние на содержащихся вместе с ним в тюрьме арестантов», он может «столь же вредно повлиять вообще на среду, которою он, Соколов, окружен будет в столице по освобождении его из крепости, то посему представлялось бы, по мнению его, прокурора, необходимым по истечении срока содержания его в крепости удалить его из С.-Петербурга, для водворения на жительство в какой-либо малолюдной местности, под надзором полицейского начальства».

Судьба Соколова была решена. Сразу же по окончании определенного судом тюремного срока в сопровождении жандармов он был увезен в Архангельскую губернию.

В ответ на просьбу Соколова по причине плохого состояния здоровья отправить его в другое, лучшее по климатическим условиям, место ссылки граф Шувалов написал: «Оставить без последствий. Но необходимо сообщить в подробностях архангельскому губернатору, каков человек ныне к нему высылается. Желая также знать, кто капитан Логинов и чем он высказался в смысле убеждений Соколова. 4 ноября».

Следом за Соколовым за подписью начальника III отделения Мезенцева было направлено архангельскому генерал-губернатору «секретное» письмо: «Представляется необходимым подполковника Соколова подвергнуть самому бдительному наблюдению, как по его деятельности, так и по его сношениям... О деятельности Соколова вы имеете доносить мне периодически, а в случае надобности и чаще». В Архангельской губернии Соколова поселили вначале в

Мезени, на берегу Белого моря, а потом, уступив его настойчивым просьбам, в более цивилизованном Шенкурске, как в одном «из малолюдных уездных городов, где всего менее сосланных поляков и где надзор за Соколовым по поводу нахождения там чинов корпуса жандармов будет еще бдительнее».

Поскольку Соколов не переставая «бомбардировал» начальство заявлениями с просьбой перевести его в среднюю полосу России или же в одну из южных губерний «во внимание к расстроенному здоровью», его перевели наконец в маленький сухой и знойный Красный Яр Астраханской губернии на берегу Каспийского моря. Это отнюдь не облегчило его положения. Беллетрист П. И. Якушкин, отбывавший ссылку одновременно с Соколовым в Красном Яру, вспоминал впоследствии: «Это не город, не посад, не деревня; это тот самый остров, где «ни воды, ни земли, одна твердь поднебесная да солдат с ружьем», то. есть то самое место, куда, по словам П. М. Садовского, французского Бонапарта англичане сослали, а если и не то самое, то вроде его».

Вдобавок ко всему вскоре после приезда Соколова в Красный Яр там началась эпидемия холеры. «Народу страсть сколько повыкосило», — говорил Соколов. Сам он отсиживался все это время в бане, запасшись питанием и невероятным количеством спиртного. Холера Соколова миновала, однако здоровье его было в ужасном состоянии. «Сперва исполненная всяких лишений жизнь на Крайнем Севере, а затем пребывание в Красном Яру, отличающемся сильными жарами в летние месяцы, в такой мере ослабили его здоровье, что в настоящее время в письмах своих он постоянно жалуется на грудные страдания и на полное расстройство всей нервной системы», — писала в декабре 1871 года в прошении на имя шефа жандармов сестра Соколова.

В полном отчаянии Соколов 21 ноября 1871 года просит разрешения уехать в эмиграцию в Соединенные Штаты Америки, однако, как сообщило в ответ III отделение, «по доведении этого обстоятельства до высочайшего сведения государь император изволил отозваться, что подобного рода просьбы не должны быть удовлетворяемы».

Каково же было возмущение императора, когда 4 ноября 1872 года ему вынуждены были доложить, что политический преступник Соколов бежал из Красного Яра еще в ночь на 15 октября и что астраханские жандармы узнали о побеге Соколова, за которым были призваны установить «самое бдительное наблюдение», через 10 дней, а до Петербурга это известие дошло почти три недели спустя — 3 ноября.

По словам П. И. Якушкина, местные власти считали Соколова человеком «мирным и крайне спокойным, раскаявшимся в своих преступлениях и смиренно несущим законную кару», а потому почти не интересовались им. Однажды, «от нечего делать, г. исправник с прочими властями вздумали навестить кающегося грешника. Направились целой компанией к маленькому одинокому домику, где обитал скрытный отшельник, и, к ужасу своему, войдя в его келью, не нашли никого и ничего, кроме небольшого осколка зеркала, лежащей около него остриженной русой бороды, блюдечка с маслом, тупой бритвы и записки очень короткого содержания: «Прощайте, братцы, я уезжаю, спасибо вам за вашу любовь и ласку. Не поминайте лихом».

В донесении начальника Астраханского жандармского управления нерасторопность жандармов оправдывалась тем, что «в городе Красный Яр нет жандармского поста, и поэтому начальник Астраханского жандармского управления только спустя некоторое время после побега Соколова узнал об этом случайно и донес III отделению». На полях доклада царю рукой начальника III отделения написано: «Его величеству угодно было выразить удивление, что мы так несвоевременно узнали о побеге». Обстоятельства побега Соколова остались неизвестными III отделению. Не сохранилось описаний этого смелого побега и в мемуарной литературе. Известно только, что побег этот организовали чайковцы и что непосредственным организатором его был Сидоренко. В одном из документов III отделения высказано предположение, что Соколов из Красного Яра бежал в Соединенные Штаты Америки, — по-видимому, на том основании, что он просил Царя отпустить его туда.

Участник революционного движения семидесятых годов Э. Шишко указывал, что чайковцам помогал в этом революционный кружок, существовавший в Ставрополе и возглавлявшийся Ф. В. Волковским. Один из чайковцев, Н. Л. Чарушин, в конце своей жизни в ответ на запрос Б. П. Козьмина так объяснял побег Соколова: «Какую же цель преследовали чайковцы, вывозя из ссылки лиц, причастных к литературе? Главнейшей целью было создание за границей кадра литературных сил, не связанных цензурными условиями, из которого могли бы выделиться в ближайшем будущем и необходимые работники в руководящем революционном органе печати, о котором все время мечтали чайковцы. Этими же соображениями руководились и при вывозе Соколова, хотя в то же время, как и в других аналогичных случаях, были и иные мотивы: спасти незаурядного и опасного для правительств человека из тяжелого плена и тем самым причинить большую неприятность этому правительству».

Н. А. Чарушин сообщал, что Соколов бежал через Петербург и северную границу, где у чайковцев были связи с контрабандистами. Свидетельство Н. А. Чарушина подтверждается у Неттлау, который, со ссылкой на «Автобиографию», сообщает, что, бежав из Красного Яра, Соколов 20 октября уже был в Петербурге, и называет Анатолия Ивановича Сердюкова, одного из чайковцев, как лицо, оказывавшее ему помощь. 12 ноября 1872 года, указывает Неттлау, Соколов прибывает в Женеву, с 22 декабря 1872 года по 15 января 1873 года живет в Цюрихе. Кружок чайковцев предполагал, что Соколов совместно с Лавровым будет сотрудничать в журнале «Вперед».

Но все сложилось иначе. При расколе русской революционной эмиграции в начале семидесятых годов, когда начались ожесточенные теоретические бои бакунинцев с лавристами, Соколов с его давними симпатиями к прудонизму сразу же стал на сторону Бакунина.

В письме к П. П. Огареву от 2 января 1873 года Соколов писал: «Ты спрашиваешь меня, что делается в Цюрихе? На этот вопрос скажу тебе вот что: со дня моего приезда произошел у нас раскол русской молодежи. Вина, разумеется, не моя, а господина Лаврова, некоего философа, приехавшего в

Цюрих из Парижа с намерением основать журнал. Написал этот Лавров программу журнала, и написал ее в таком отвратительном духе, что Бакунину, Зайцеву, мне и лучшей здешней молодежи стало тошно, и мы решили отделиться, отщепиться от Лаврова и его клики».

Зайцеву и Соколову, вчерашним сотрудникам «Русского слова», оказался гораздо ближе бунтарский революционаризм Бакунина. (Лишнее доказательство, что в их разногласиях с Благодетелем немалое значение имел и разный взгляд на методы революционной борьбы.) Общепринятым является взгляд на Соколова как правоверного бакуниста, тем более что, как известно, он защищал его идеи не только словом. В 1873 году он жестоко избил В. Смирнова, помощника Лаврова по редакции журнала.

Вообще Соколов нередко попадал, так сказать, на «идейной почве» в подобные истории. Н. Русанов в своих воспоминаниях «В эмиграции» рассказывает, как русские эмигранты «были однажды печально поражены видом нашего ветерана нигилизма, когда он, исчезнув куда-то с горизонта на несколько дней, вынес вдруг на улицу лицо, испещренное радугою синяков всевозможных оттенков, от свежее-багрового до бледно-палевого.

— Что это с вами, Николай Васильевич?! — участливо спрашивали мы у Соколова.

— Д-д-да вот эти м-м-мерзавцы швейцарские горе-граждане... У них были тут какие-то выборы. Я и стал их убеждать, что п-порядочным людям надо воздержаться от голосования, и доказал, что этого требует анархия по П-п-прудону и Б-б-бакунину, и п-п-отому, что всеобщая подача голосов есть всеобщая ложь... А они только х-хо-хочут. Тогда я пошел в залу, где они голосовали, стал усовещивать их и оп-прокидывать урны. А г-г-господа избиратели, сколько их там было, все на меня навалились. И давай Николушку тузить. Но и Ниниколуш-ка сам малый не промах и хороших лещей надавал всем этим к-к-коровникам и с-с-сыроварам. И они меня били, и я их бил... К-конечно, как всегда до сих пор, с-с-сила победила п-право, и м-м-меня выбросили на улицу, но и с-с-силе влетело предостаточно... А м-м-молодцы все-таки драться г-г-господа мужики-демократы... Д-да, м-м-масте-ра дубасить — мы уж за аббсентом и помирились, — с явным умилением вспоминал о перипетиях борьбы анархии с буржуазной демократией Николай Васильевич».

Итак, преданность Соколова идеям и личности Бакунина, казалось бы, не вызывает сомнения. Тем более неожиданной является та неприязненная ирония, с которой Соколов относится к Бакунину, если судить по главам из «Автобиографии», приведенным Неттлау. Ироническое отношение Соколова к вождю русского анархизма явно задевает Неттлау, и он замечает по этому поводу: «Соколов сам по себе был очень странным человеком, поэтому вряд ли имел право говорить о странностях других, в том числе Бакунина. Впрочем, — объясняет Неттлау тон Соколова, — он был одним из немногих, кто познакомился с Бакуниным уже в зрелом возрасте; Соколов был сформировавшимся человеком, который более не менялся, остался самим собой (молодых Бакунин превосходил своим опытом)».



Соколов стал еще суше относиться к Бакунину после того, как провел у него в Локарно почти два месяца, с 17 января по 10 марта 1873 года. Вот как он рассказывает об этой поездке в «Автобиографии»: «14 января 1873 года Соколов был у Росса в Цюрихе, и тот предложил ему не откладывая поехать к Бакунину в Локарно. Росс передал Соколову письменное приглашение Бакунина приехать к нему. Там же, в Локарно, находился и Зайцев. Впрочем, Соколова в большей степени привлекала возможность увидеть Бакунина, чем перспектива жить вместе с Зайцевым. Он решил уехать из Цюриха, где был совершенно не нужен.

Еще в начале января 1873 года Соколов посетил вместе с Эльсницем полицейского директора Пфеннингера, чтобы получить разрешение на временное пребывание в Цюрихе. Соколов хотел получить подтверждение, что он действительно политический эмигрант; ему вручили желтую карточку, на которой стояло, что он — «писатель, не имеющий печатных публикаций».

Через Люцерн и Горхард Соколов направился в Локарно, куда прибыл в дилижансе в 4 часа утра, прямо на виллу, где жил Бакунин. Несмотря на поздний час. Бакунин не спал. Он лежал на кровати, вытянувшись во весь рост, и курил. В комнате царил ужасный беспорядок, на полу валялись пепел и окурки. Камин едва дымился. На стульях, стоявших как попало, и на столе лежали книги и бумаги. Старый, позеленевший от времени самовар стоял посередине комнаты, чашки и стаканы — под кроватью. Прием, оказанный Бакуниным, был самый сердечный. Он тотчас же разжег камин и начал готовить чай.

— Извини, брат, я совершенно болен. Врач прописал мне принимать стрихнин против боли в спине. Здесь вот банка с этой гадостью. Как ты думаешь, помогут мне эти пилюли?

Соколов ответил:

— Дай мне их, я брошу в камин — и тебе будет лучше. Тебе не стыдно в твои годы верить в медицину?

— Ты прав, сказал патриарх. — По моему мнению, каждая болезнь должна идти своим путем и проходить. Ну, расскажи, что у вас нового там в [Цюрихе]? И, кстати, ты привез деньги?

Соколов дал ему 100 франков.

— Они<sup>[22]</sup> там с ума сошли? Что мне толку от сотни франков? Завтра я должен отдать владельцу дома Джакомо 600 франков, он не оставляет меня в покое. Вот уже две недели живут у меня итальянцы, которых я, конечно, угощаю.

Ты прав.

— Я завтра напишу туда бранное письмо. А сейчас иди спать, мой друг. Я позвоню, и Джакомо ответит тебя навверх. Завтра в полдень я жду тебя к обеду. И Зайцев тоже придет.

Соколов еще не отдохнул, когда около 9 утра услышал невероятный шум старика и стук его деревянных домашних туфель.

— Иди скорее сюда! Полиция пришла, чтобы тебя арестовать. Принеси твой документ, если какой-нибудь имеется.

Соколов спустился с желтой карточкой Пфеннингера и увидел Бакунина в халате, в ночном колпаке — около него стоял хозяин дома — и двух полицейских в штатском. Старик кричал им: «*Mio amico sicuro, io conosco di lungo tempo colonello russo*<sup>[23]</sup>. Где твой паспорт? Ты знаешь, в чем дело? Они пришли, чтобы арестовать тебя, потому что приняли за некоего Филлипини, который прибыл в тот же вечер в Локарно и о котором полиции было сообщено по телеграфу. Я уже пытался их убедить, что ты не Филлипини, что я тебя знаю, но эти мерзавцы не хотят верить мне».

Соколов дал полицейскому свою желтую карточку, полицейский подозрительно посмотрел на него, потом — на документ и ничего не понял. Тогда Соколов показал ему официальную печать, и он ушел с этой карточкой, пообещав ее вернуть. О сне уже нечего было и думать. Соколов хотел у Джакомо заказать завтрак. Когда это услышал Бакунин, он закричал:

— Ты зачем сюда прибыл? Чтобы командовать? Здесь я хозяин, а не он. Ты утетишь его этими словами: «*Corragio, speranza perseveranza*» Иди вымойся, и через полчаса будь в столовой, мы начнем есть.

В 11 часов в маленькой столовой был готов завтрак. Завтрак был приготовлен по вкусу Бакунина. Стояли три прибора. Рядом с прибором Бакунина лежала гора писем. Бакунин тяжелыми шагами подошел и обнял Соколова:

— Теперь садись, брат, Зайцев придет через полчаса. И при нем ты расскажешь, что у вас нового. Скажи мне одно: договорился ли Росс с Лавровым или нет?

Соколов ответил:

— Нет.

— Я так и думал, — сказал Бакунин. — Хотя Росс по своему характеру мог бы пойти на это. Но об этом позже. А теперь ешь. А я тем временем буду читать письма.

Завтрак был приготовлен на итальянский манер, кроме бифштексов, от которых Бакунин не мог отказаться. Врачи прописали Бакунину диетическое питание, чтобы не полнеть, отчего Бакунин очень страдал (ему советовали избегать мучных и жирных блюд). Но Бакунин не придерживался этой системы. Он, например, делал так: если ел мясо без жира, то потреблял невероятное количество риса и макарон, все с маслом, и пил водку и различные ликеры.

— Ну, брат, письма я пробежал. Как тебе нравится эта кухня? Ты знаешь, я ее открыл. Тут всё и с севера и с юга... А фрукты, которые я не могу есть в сыром виде, я готовлю в жженке. Послезавтра ты попробуешь, когда придут ко мне оба Блерио. Я тебя с ними познакомлю, они приятные люди. Они здешние жители и живут со своим отцом, старым гарибальдийцем. Очень жаль, что ты не приехал двумя днями раньше. Здесь была целая банда испанцев, итальянцев приятных людей. Я на них потратился и после завтрака сделаю то, что обещал:

буду ругать цюрихцев и особенно Росса, которые мне прислали так мало денег. Что же, мне египетские магдалины дадут шестьсот франков?

**«Мужество, надежда, настойчивость» (итал.).**

Но ты ешь. Что еще хочешь? Сыру? Вина?...

Бакунин начал готовить кофе своим способом, переливая из одной посуды в другую; по неизвестным законам физики его аппарат издавал шум, дышал, пыхтел. Это развлекало, видимо, изобретателя, хотя кофе был очень плохим. Но горе тому, кто попробовал бы сказать ему об этом или поморщиться при виде такого способа приготовления кофе, — Бакунин обрушился бы на него.

— Эта чашка для тебя, пей. Хочешь с ромом или без? Я пью чистый. Ну, как, вкусно? Пил ли ты где-нибудь когда-нибудь такой кофе?

— Нет, даже в самых лучших гостиницах отелях Ниццы никто не готовит подобного.

— Это мой секрет, брат. Зайцев что-то не идет. Нужно за ним послать. Я расскажу тебе о своем распорядке дня и как ты должен вести себя. Знай раз и навсегда, что в 11 часов утра, как и сегодня, я приглашаю тебя к завтраку. В половине первого мы идем с Зайцевым и другими в какое-нибудь кафе, где читаем газеты, пьем пунш, болтаем, а потом гуляем до 4 часов. Затем я до 8 часов сплю, потом пью чай или сельтерскую и иду к кому-нибудь до 10 вечера. Затем всю ночь до 5 утра я — как вчера пишу. Так складывается мой день. Как видишь, упорядоченная жизнь. За мной наблюдают шпионы, но результатов у них нет, потому что у нас все скрыто. Джакомо — надежный человек. И ты, смотри, чтобы жить спокойно, не болтай без нужды в кафе. Я знаю, ты бродяга и болтун. Ну, Зайцев не идет. Пойдем к нему. Какого ты роста?

— Восемь с половиной вершков, — ответил Соколов.

— У меня 12 с половиной вершков, у Зайцева — шесть<sup>[24]</sup>. Ты сейчас услышишь, как дети, увидев меня, начнут кричать: *Evviva Michael!*

В этот момент в столовой появился Джакомо. Бакунин и Соколов начали, как условились, кричать: «*Contagio, speranza, perseveranza*»<sup>[25]</sup>. Едва он ушел, как появился Зайцев. Увидев Соколова, он бросился к нему, заключил в объятия и расцеловал.

— Какими путями ты здесь? И почему ты заранее не написал, что приедешь? Впрочем, ты всегда был чудаком!<sup>[26]</sup>

— Ну, пойдем, пойдем, — прервал их Бакунин и повел их в свое кафе.

По дороге малыши, которые их тут же окружили, и в самом деле сопровождали их криком:

— *Evviva Michael!*

В кафе за стаканом пунша мы начали беседовать в основном о Цюрихе и о задуманной газете<sup>[27]</sup>. Соколов рассказывал, как Лавров принял Росса и как он ему прямо заявил, что он (Лавров) будет единственным редактором, а Смирнов — его секретарем.

— Это означает, что они разошлись, — сказал Бакунин.

— Вы правы, — заметил Зайцев. Я уже давно знаю этого философа Лаврова. Мы с ним никогда не сможем договориться...

— Теперь, — продолжал Бакунин, — Росс на наши общие деньги организует типографию, а мы вместо газеты будем издавать книги. Ты — сторонник Прудона и должен написать в его защиту брошюру против «Нищеты философии» Маркса. Ты знаешь немецкий, я тебе дам материалы, напомни мне завтра об этом. Остальное ты должен собрать и, что отсутствует, достать.

— **Это человек, который вытащил меня из литературной грязи, где я мог погибнуть.**

**Соколов отклонил комплимент:**

— **Я только пытался вытащить его, но это было невозможно. Бакунин сказал:**

— **Это прекрасный комплимент.**

Соколов принадлежал в России к кругу Писарева, Благосветлова, Зайцева. Благодаря ссылке в России, рассказывает Ралли, он был совершенно деморализован, увлекся водкой и, когда приехал за границу, уже был не тем, что раньше. Большой, сильный человек, он не принадлежал (в эмиграции. — *Ф. К.*) ни к какому ярко выраженному течению, но примыкал к бакунистам, которые его также поддерживали. — *Примеч. Неттлау.*

Долго мы говорили, почти до 5 вечера. Затем пошли к Зайцеву на обед, по дороге купили различные продукты. Зайцев жил на берегу Lige Maggiore, в доме адвоката, с женой и дочерью. Соколов иногда приходил к нему четыре раза в день, несмотря на большие расстояния. Так он прожил больше шести недель, получил много ярких, прекрасных впечатлений, которые никогда не изгладятся из памяти. Соколов познакомился с итальянцами, испанцами и научился полностью понимать широкий, оригинальный, неукротимый характер Бакунина. Этот деспот, который называл себя анархистом, не переносил ни от кого и никогда возражений и сопротивления. Он не любил Соколова и не мог его любить, потому что Соколов не поклонялся ему, смеялся над ним и подшучивал. А прежде всего он знал его прошлую жизнь, которая уже была рассказана в письмах из Сибири в «Колоколе» в 1860 году<sup>[28]</sup>.

— Почему ты смеешься, животное? — говорил Бакунин, видя, что Соколов улыбается про себя. — Позволь мне узнать и сделай мне папиросу.

— А ты, Heroda, — говорил Соколов, продолжая смеяться до упаду. — Мастодронт, тюлень, как только носила тебя земля до сих пор.

— Черт вас побери, и особенно каждого в отдельности, всех вас русских, — отвечал Бакунин. — Я знаю только своих итальянских и испанских друзей. Вы все рабы и останетесь рабами с вашим царем. Недавно я выгнал Нечаева, который взял себе в голову называть себя революционером и хотел здесь натравить молодежь на буржуазию и устраивать убийства и грабежи па улице. Но я предостерег всех друзей и дал им совет порвать отношения с этим выскочкой... И они поступили соответственно.

Зайцев всегда присутствовал при этом. Тогда он писал под диктовку Бакунина его биографию. До него (Соколова) Зайцев записывал только два раза, и, как теперь известно, он довел эту биографию до 1848 года.

Примечательно, что Бакунин любил знать все о других, но сам избегал обычно рассказывать о себе. Эту черту многие отмечали в нем, но каждый объяснял ее по-своему.

Только Герцен понимал его настоящим образом, когда называл всю деятельность Бакунина революционным опьянением, а его самого — «Большой Лизой» [29].

Так провел Соколов время со стариком, отвечая на его вопросы и рассказывая о разных разностях. Состояние здоровья Бакунина было тяжелое. По-видимому, он страдал физически и морально. Прежде всего он был раздражен злым преследованием Маркса, который не переставал ругать его всюду.

В последующие дни пребывания в Локарно Соколов обсуждал с Зайцевым вопрос, что написать и чем начать. Они порешили на том, что выпустят совместно серию брошюр об анархии. Но результатом был лишь выход книги «Государственность и анархия» (Бакунина. — Ф. К.), в которой Соколов участия не принимал.

10 марта 1873 года Соколов вернулся в Цюрих, его проводили самыми добрыми напутствиями Бакунин и Зайцев».

Вернувшись из Локарно, Соколов жил в Цюрихе, по свидетельству Неттлау, с 12 марта по 20 мая 1873 года. «В своих мемуарах, пишет Неттлау, — он отразил прежде всего общее впечатление от визита к Бакунину. Он прибыл в мрачном настроении, неудовлетворенный поездкой». Его внутренняя оппозиция к Бакунину зашла так далеко, что он решает «отщепиться» от дела Бакунина. Имеются сведения, что он вместе с эмигрантом Озеровым, который до этого был ярким приверженцем Бакунина и в 1871 году, во время революционных событий в Лионе, где Бакунин играл главную роль, спас его от ареста, он решает издавать газету без Бакунина. Как сообщает Неттлау, мать Зайцева писала Бакунину из Женевы о предположительном создании русской газеты в Цюрихе, редакторами которой должны быть Соколов и Озеров. «Озеров сказал, что программа будет та, которая лежала в основе «Отщепенцев», а Соколов вместо Бакунина будет редактором, потому что Бакунин займется ненужной полемикой, — вроде той, которую он вел против Маркса». Слух этот до того встревожил Бакунина, что по его поручению Росс посетил Соколова с письмом от Зайцева и Бакунина, в котором они отговаривали автора «Отщепенцев» от этой затеи.

Нам неизвестно, насколько основательна версия о газете, где «Соколов вместо Бакунина будет редактором», но очевидно, что, заявив в письме Огареву 2 января 1873 года о безоговорочной поддержке Бакунина и бакунистов, после посещения патриарха анархизма Соколов изменил свое отношение к Бакунину. Вот почему, как бы оправдывая слова Росса, что «он не

принадлежал ни к какому ярко выраженному течению» и лишь «примыкал к бакунистам», Соколов в «Автобиографии» настоятельно подчеркивает свою «нейтральность» в споре между бакунистами и лавристами. Он подробно объясняет историю своей драки с лавристом В. Смирновым для того, чтобы показать, что в драке этой он защищал интересы не Бакунина и бакунистов, но только свои. Историю этой драки он начинает с рассказа о первых днях пребывания в Цюрихе (еще до поездки к Бакунину)! куда он прибыл 22 декабря 1872 года, месяц спустя после бегства из России. «Соколов провел первую ночь у Росса. На следующий день он познакомился с А. Эльсницем, В. Гольдштейном и с разными русскими женщинами... В 11 часов у Росса собралось много народу; пришел и Смирнов — не ради дружбы, а по делам. Смирнов рассказал Соколову о переиздании «Отщепенцев» — все издание находится у него и он предоставляет его в распоряжение автора, т. е. Соколова. Соколов, поблагодарив, ответил, что оно принадлежит тем, кто его печатал. Росс сказал, что оно печаталось на деньги Гольштейна на добровольных началах, а потому должно стать собственностью коллектива библиотеки (русская эмигрантская библиотека в Цюрихе. *Ф. К.*) . Смирнов и Соколов были согласны. Это происходило в присутствии многих свидетелей... Библиотекарем была Розалия Христофоровна Идельсон, секретарем — Смирнов. Управление библиотекой состояло из 18–20 членов, в большинстве своем бакунистов, в то время как большинство читателей были лавристы. Соколову становилось ясным, что существует скрытая ненависть обеих партий, которая привела к полному расколу».

Далее Соколов рассказывает о причинах этого раскола, называя главной из них спор о направлении и редактировании печатного органа, который предполагали издавать русские эмигранты в Цюрихе («Вперед»). Издание это должно было выходить на деньги кружка чайковцов, и между бакунистами и Лавровым, которого чайковцы пригласили редактором, шла борьба за преобладание. «Когда Росс пришел к Лаврову, — рассказывает Соколов, — он от него услышал категорическое заявление, что журнал будет выходить под его личной редакцией. Таким образом, все мечты Росса возглавить это дело рухнули благодаря ловкости его врагов. С этого времени началась взаимная вражда, которая прорывалась на периодических собраниях библиотеки. Соколов, как совершенно новый человек, не посвященный в интриги, оставался нейтральным и не пытался присутствовать на собраниях друзей Росса. Праздновали Новый год — 1 января 1873 года, и в этот день окончательно решилось образование каждой партии. Несомненно, сила была на стороне лавристов, которые располагали большими денежными средствами и имели постоянные связи с Россией».

После этой встречи Нового года Соколов и решает примкнуть к партии бакунистов, как более близкой ему своими революционаризмом и анархизмом, о чем он сообщил Огареву 2 января 1873 года. 17 января он уехал к Бакунину в Локарно, а когда вернулся, разочарованный в главе русского анархизма, раскол в молодой цюрихской эмиграции зашел еще дальше. «Произошел полный разрыв после своего рода государственного переворота в библиотеке, благодаря

которому лавристы хотели завладеть ей, — рассказывает М. Неттлау. — Подробностей я не знаю. На их стороне оставались читатели, секретарь и библиотечарша, и они парализовали дела библиотеки настолько, что во владении бакунистов осталось одно помещение; пришлось закрыть и его».

Как раз в это время, в этой накаленной обстановке, продолжает рассказ Неттлау, Соколов «узнал об одном грузине, который возвращался на Кавказ с большим количеством литературы и для которого у Соколова просили 1 экземпляр «Отщепенцев» из числа тех, которые были у Смирнова. Смирнов не захотел дать ему ни одного экземпляра и написал ему отказ в обидной форме. Тогда Соколов вместе со студентом-медиком В. В. Святловским пошел к нему сам. По соседству со Смирновым жил Лавров, которого не было дома. В его комнате были Н.Утин и Ралли, который пришел к Смирнову по поводу других дел и был свидетелем сцены. Смирнов вел себя оскорбительно и был ужасно избит Соколовым».

Невозможно представить, что началось в русской колонии после этой истории, свидетельствует Неттлау.

Было созвано общее собрание эмигрантов-лавристов. 18 человек пришли к Соколову, чтобы сообщить решение собрания: покинуть Цюрих. Соколов предложил им отправиться в полицию: только она может силой выгнать его из города. Депутаты в растерянности покинули его и, как пишет в «Автобиографии» Соколов, «действительно направились к полицейскому директору, который объяснил, что раз объяснение состоялось не в общественном месте, от них требуется жалоба. Депутаты ушли смущенные. Даже друзья Эльсниц, Ралли, Росс попросили Соколова временно покинуть Цюрих. Ему дали денег, чтобы поехать в Люцерн. Соколов согласился, ему было сейчас безразлично, где быть, если он вообще где-нибудь был».

18 мая 1873 года он покинул Цюрих и перебрался в Париж, навсегда распрощавшись не только с цюрихским кругом друзей, но, по существу, и с активной политической деятельностью.

Уже первые полгода пребывания его в эмиграции, завершившиеся столь скандально, показали, что годы ссылки, как справедливо писал Ралли, деморализовали его. Именно в ссылке Соколов пристрастился к «зеленому змию». В эмиграции эта слабость развилась до трагических размеров и погубила его как публициста. Вот почему надежды, возлагавшиеся на Соколова как на писателя вначале чайковцами, а потом бакунистами, не оправдались. Несмотря на крайнюю нужду, он был не способен к систематической работе. Хотя его фамилия стоит под некоторыми коллективными документами бакунистов, сам он не писал почти ничего — за исключением случайных переводов и нескольких статей в «Общем деле» и других заграничных изданиях. Русанов рассказывает в своих воспоминаниях, как друзья, нашедшие ему работу по составлению небольшого франко-русского словаря в одном парижском издательстве, вынуждены были запираить его на ключ, отбирать у него сапога и стоять, что называется, над душой, заставляя работать. Жил он в постоянной, изматывающей душу нужде. О крайности ее можно судить по письмам А. Х. Христофорову, которые Соколов писал в последние годы:

«Дорогой Александр Христофорович, припомни ты меня, голубчик; я все еще бедствую страшно без работы и уроков; все ученики разбежались. Остается с голоду поступить в госпиталь, но вряд ли примут. Беда!.. Здесь не у кого теперь занять и франка... Хоть бы заболеть, а еще лучше умереть. Некуда деваться; даже не в чем выйти... Помогай, выручай».

«Я буквально пропадаю. Все разбежались из Парижа, и нельзя нигде достать даже франка. Перестал питаться. Хоть бы скорее подохнуть» (письмо от 5 августа 1885 года).

«Дорогой Александр Христофорович, одно из двух: или адрес, данный тобою *suiront Elpidine*, ни к черту не годится, или суровый Якоби не захотел мне ответить. Как видишь, все вы виноваты. Тебя, разумеется, я не осуждаю. Был ты со мною, стал с другими... О чем тут рассуждать. Ты прав... Такова, брат, жизнь, которая ломает... Поживем, однако, оттерпимся еще... Может быть, и станем людьми. Пока жму руку. Твой Н. Соколов».

«Нищета довела меня до ума с горем. Беден, бедствую. Николай — Никола Сок... гол, как сокол» (письмо от 19 сентября 1885 года).

Однако и в эти трагические для него годы жизни на чужбине Соколов ни на йоту не поступил своими убеждениями. «И в самом деле, когда вспомнишь его страшную, нищенскую жизнь последнего времени и подумаешь, что ему стоило только написать хотя бы своему брату, дивизионному генералу, чтобы материально улучшить свою жизнь, когда подумаешь, что он этого не сделал из принципа, что он ни разу не выразил жалобы на настоящее, ни сожаления о прошедшем, — то невольно проникаешься уважением и удивлением к этому — в полном смысле слова — мученику за идею!» — писал автор посмертной статьи о Соколове в журнале «Свобода».

Несмотря на пристрастие к «зеленому змию», авторитет Соколова в революционных кругах до последних лет жизни был очень высок. В 1878 году к нему приезжали из Испании революционные делегаты с предложением принять командование бригадой в инсургентских войсках, восставших против короля Альфонса. Именно Соколову, наряду с Германом Лопатиным, принадлежит честь основания и открытия в 1875 году знаменитой Русской библиотеки в Париже, явившейся центром русской революционной эмиграции семидесятых-восьмидесятых годов. Богатейшая библиотека эта под названием Тургеневской просуществовала до Великой Отечественной войны. В годы немецкой оккупации Тургеневскую русскую библиотеку, основанную Соколовым и Лопатиным, варварски уничтожили гитлеровцы.

По немногочисленным отрывочным данным о последних годах жизни Соколова можно судить, что он до конца дней своих убежденно хранил верность идеалам молодости.

Участник революционного движения семидесятых годов И. Джабадари рассказывает в своих воспоминаниях, как проходило в Париже обсуждение ученого реферата, написанного для Парижской академии наук их товарищем. На обсуждении, по его словам, присутствовал и «ветеран русской революции» П. В. Соколов.



«Не успел Чурипов окончить свое изложение, — пишет И. Джабадари, — как Соколов встал и, ходя по комнате, обратился к нам: «Ну для кого и для чего писать эту ученую премудрость?... Ну, что же, господа, продолжайте учиться и удивляйте мир своими трудами, которые будут оплачиваться потом и кровью голодного народа. Вместо того, чтобы отдать жизнь за завоевание политической и экономической свободы масс, вы хотите., напустив на себя вид ученого, копать десятки лет в архивной пыли... Господа!.. Вы приехали из России, расскажите, о чем там думают; намереваются ли спасти овец, стригомых мошенниками, если да, то как?»

И пошла опять давно знакомая мне речь о знании и революции, о необходимости бросить науку и идти в народ».

По-видимому, Соколов вслед за Зайцевым к концу семидесятых годов изменил свое отношение к политической борьбе и осознал всю наивность анархического пренебрежения к завоеванию политической свободы, в особенности в применении к условиям самодержавно-крепостнической России. Две его статьи в «Общем деле» — «Генеральный грабеж» (1877, № 5) и «Придворный грабеж» (1877, № 6), не что иное, как яркие политические памфлеты против самодержавия. Как и Зайцев, Соколов восторженно приветствовал схватку народовольцев с правительством. «Когда началось в России движение с политической окраской — народовольчество, — он один из стариков понял его истинное значение и радостно его приветствовал из далека своего полного лишениями и несчастьями изгнания. «Бей в голову», — говорил он на своем оригинальном, образном языке... «Бей в самодержавие, пока его не свалишь» — вот мысль Николая Васильевича. Вот последнее его завещание!» — вспоминал в своей речи на могиле Соколова редактор «Свободы» С. Княжнин.

Умер Соколов 5 марта 1889 года в Париже, простудившись на похоронах революционера-эмигранта Н. Преферанского. Как рассказывается в статье «Смерть и похороны Н. В. Соколова» в журнале «Свобода», еще ни разу до того времени не было в Париже таких похорон русского эмигранта по многолюдству и торжественности. Несколько сот человек — почитателей, друзей, студентов, русских и польских эмигрантов — с венками, цветами, букетами собралось около бедной больницы, где умер Соколов. В толпе было много французов, в том числе Жакляр, Лефрансэ, выступивший на могиле с речью, и другие. Похороны Соколова, говорится в статье журнала «Свобода», явились данью благоговейного уважения революционных эмигрантов восьмидесятых годов шестидесятнику Соколову, «цельности и силе его убеждений». Они были достойны «товарища Чернышевских, Писаревых, Зайцевых, Ткачевых и других славных детей земли русской, немало потрудившихся на пользу родины и народа».

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Сегодня, когда необходимо активизировать идеологические, мировоззренческие и социальные начала в нашей литературе и критике, с особой остротой встает вопрос о традициях революционных демократов.

Наша прямая обязанность — изучать, утверждать и развивать это великое духовное наследие — традиции русской революционно-демократической критики и публицистики, традиции русского освободительного движения, передовые традиции великой русской литературы XIX века. Историческая реальность такова, что практически все успехи русского критического реализма, великой русской классики XIX века так или иначе прямо или опосредованно связаны с освободительным движением, с русской революцией, вначале с декабризмом, а потом с крестьянской революционной демократией. Вспомним в этой связи интегральную ленинскую оценку колоссального по своим масштабам и противоречиям творчества Льва Николаевича Толстого: «зеркало русской революции».

За последние годы, а тем более десятилетия, выявляя растущий гуманистический потенциал социализма, в нашем отношении к наследию мы проявляем мудрость и широту, стремясь включить в культурный оборот все гуманистически ценное в духовной жизни минувших эпох.

Нами освоены и осмыслены Достоевский при всей глубине и разительности его противоречий или, скажем, Тютчев и Фет — как наше духовное достояние, достояние развитого социализма. Стал более широким наш взгляд на ранних славянофилов, более глубоко и диалектично мы рассматриваем таких критиков, как почвенник Аполлон Григорьев или либерал Дружинин.

Все эти перемены благотворны. Но они не должны идти за счет революционных демократов, а главное — за счет исторической истины, за счет утраты наших социально-классовых позиций, ибо историческая роль для отечественной литературы, культуры, окажем, Аполлона Григорьева, Дружинина или Страхова одна, а Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева — другая, несоразмерная с первой.

В этой связи необходимо самое пристальное внимание к тем деятелям демократической критики и публицистики, которые в пору 1860-х годов, быть может, в ту пору были на вторых ролях, но тем не менее обладали своим и немалым влиянием в борьбе за умы. И Г. Благосветлов, и В. Зайцев, и П. Соколов были верными сподвижниками Писарева, при всех своих непоследовательностях и ошибках входили в то общественное направление революционно-демократических идей, которое оказало решающее воздействие на судьбы русской общественной мысли и русской литературы XIX века, воздействие, влияние и отзвуки которого живительны и для наших дней.

Слово Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Салтыкова-Щедрина и Писарева, их сподвижников по демократической журналистике 1860-х годов оказало решающее воздействие не только на судьбы литературы, но и на формирование общественного самосознания, того самого самосознания, которое явилось предтечей большевизма и в конечном счете привело Россию к Великой Октябрьской социалистической революции.

Будучи, помимо всего прочего, и глубоко патриотическим, гражданственным самосознанием, самосознанием угнетенного русского крестьянства, глубоко *народной* идеологией, наследие русских революционных демократов

являет собой наше уникальное достояние, нашу национальную гордость и одновременно вечно живое наследие, наше сегодняшнее боевое оружие.

Нет спору, мы не можем относиться к революционным демократам как к иконе, это было бы оскорбительно прежде всего для них самих, поскольку все их творчество — непрекращающееся движение, динамика, дискуссия, спор, в том числе и друг с другом.

Мы не сможем закрыть глаза, скажем, на просветительскую ограниченность их позиций, на те или иные неточности их оценок, не всегда выдерживавших испытание временем. Если говорить о круге Писарева, круге «Русского слова», таких ошибок, причем грубейших, было особенно много, включая сюда оценку Пушкина или Лермонтова, идущую от упрощенного, примитивизированного представления об общественном предназначении литературы, искусства.

В этой связи вопрос о правомочности советского литературоведения вносить коррективы в те или иные литературные оценки революционных демократов, подвергать те или иные неточные их постулаты научной критике, вопрос риторический. Это и наше право, и наша обязанность в том случае, если опор с теми или иными позициями и оценками революционных демократов является подлинно научным спором. Однако внося те или иные коррективы в наследие революционных демократов, подвергая, скажем, очевидные ошибки В. Зайцева и П. Соколова самой серьезной критике, мы не имеем права выплескивать вместе с водой и ребенка, должны предельно уважительно относиться к демократическому наследию, объективно разбираться в его противоречиях.

Критикуя, споря с революционными демократами, в особенности когда речь идет о круге Писарева, круге «Русского слова», куда менее зрелом, чем круг «Современника» 1856–1862 годов, мы не можем забывать о той социальной, общественной реальности, что русская общественная и литературная мысль XIX века развивалась в двух течениях, в двух направлениях, которые находились по отношению друг к другу в состоянии очень сложной и глубокой идейной борьбы.

Одна линия развития русской общественной мысли прошлого века, обладавшая, как уже говорилось, огромным влиянием на литературу и жизнь своего времени, была неразрывно связана с русским освободительным движением, с борьбой народа за свое освобождение от ига самодержавия и крепостничества. Радищев, декабристы, революционные демократы-шестидесятники, народники и народовольцы, большевики-ленинцы — вот основные вехи этой борьбы, оставившие глубокий след в истории русской литературы и русской мысли, определившие главнейшие особенности развития идейной, духовной жизни прошлого века.

Вторая линия в развитии русской общественной мысли XIX века, представленная либерально-охранительным лагерем, возникла и развивалась как своего рода реакция на русское освободительное движение, на революционно-демократическую мысль. В нашем обращении к отечественной истории необходимо всегда учитывать эту идеологическую подоплеку, действительную природу социально-классового противостояния двух линий в истории русской общественной мысли XIX века. Ведь, к примеру, и споры

вокруг Гоголя, которые революционно-демократическая критика XIX века вела с критикой славянофильской, равно как с представителями «официальной народности», и споры вокруг Тургенева, Толстого, Гончарова, Островского, которые революционные демократы 1860-х годов вели как с либеральной, так и с консервативно-почвенной критикой, не были чисто литературными спорами. Это были споры о судьбах России, о путях ее последующего развития.

Нет спору, современная советская общественная мысль должна опираться на все ценное в отечественном и мировом духовном наследии с учетом, в частности, и всего доброго, живого, что можно найти в трудах Аполлона Григорьева или Страхова, Дружинина или Валериана Майкова. Но, конечно же, совокупность литературно-общественных идей, сама практика литературно-публицистической деятельности русских революционных демократов по богатству своему несравнимы, несопоставимы с общественно-литературной теорией и практикой русского либерализма и русского консерватизма.

В свое время русский консерватизм попытался взять монополию на патриотизм, на любовь к России и ее народу. Стремясь утвердить эту монополию в сознании современников, русский консерватизм в прошлом веке разработал и стремился внедрить в общественное сознание легенду о мнимом «западничестве» русских революционных демократов, коль скоро сама идея революции, в представлении консерваторов, была иноземного происхождения, как будто не было на Руси ни Степана Разина, ни Пугачева, ни бунтов крестьян, как будто Россия объективными законами своего общественного развития не двигалась на всех парах к революции. На этом основании консерватизм, а за ним и «Вехи», пытались лишить русских революционных демократов тех корневых начал, из которых и росло, собственно, русское революционное самосознание, — чувства патриотизма, любви к своей Родине и своему народу, гражданственного отношения к своей Отчизне.

На самом деле, русская революционная идея, наиболее полно воплотившая себя поначалу в деятельности декабристов, из которых вышел, как известно, Герцен, а потом в деятельности революционных демократов, как раз и росла из патриотической идеи, из глубочайшего чувства любви к своей Отчизне и ее угнетенному народу. Именно это чувство, неутолимое желание добра своему народу и своему Отечеству, понимание, историческое видение путей, которые привели бы Отчизну к благоденствию, — вот что определяло в конечном счете их революционное самосознание. Только такое, корневое чувство, а не теоретические абстракции, способно подвигнуть человека на жертвенную и трудную дорогу революционной деятельности, на путь духовного и физического подвига, сулящего не чины и награды, но кандалы и виселицы во имя самого высокого — судеб Отчизны, счастья людей.

Радищев был первым, кто в полный голос в России XVIII века сказал о позиции гражданина и патриота своей Родины как самой первой, изначальной нравственной черте любого честного человека.

Декабризм, развив эту традицию Радищева, с огромной силой поставил вопрос о формировании гражданского, патриотического самосознания в русском обществе и дал этот нравственный заряд передовой русской

интеллигенции последующих годов. Поэзия и литературная критика декабризма были наполнены духом гражданственности и патриотизма, идеей служения Отечеству.

Революционно-демократическая идеология через Герцена и Белинского восприняла патриотическую традицию декабризма, воплотив ее в идее крестьянской революции. Революционные демократы были *крестьянскими* демократами, вспомним Некрасова: заступниками народными, борцами за интересы трудового народа. Русский же консерватизм в лице, например, Леонтьева и Каткова выражал интересы помещиков, аристократов, правящих классов России, в ту пору как русский либерализм отстаивал капиталистический путь России, интересы несмелой, робкой русской буржуазии.

Патриотическая «для России XIX века утверждала себя в двух направлениях, двух противостоящих одна другой формах: в форме патриотизма активного, направленного на то, чтобы родному народу жилось лучше, нацеленного на развитие родной страны как необходимое условие ее независимости, самостоятельности, процветания, могущества, и в форме патриотизма консервативного, охранительного, направленного прежде всего на сохранение в неизменности всех привычных устоев и основ русского самодержавно-крепостнического общества, на укрепление существовавшего в ту пору правопорядка, на ограждение от угрозы революционных перемен интересов господствующих классов общества. Вспомните статью Варфоломея Зайцева «Наш и их патриотизм», где истинным патриотом Отечества критик называет Добролюбова.

**Декабрь** — Привлекает к сотрудничеству в «Русском слове» Д. И. Писарева.

**1861, апрель** — Печатает за подписью А. Топорова статью «Невольничество в Южно-Американских штатах», содержащую оценку крестьянской реформы и излагавшую программу журнала по крестьянскому вопросу. Начинает вести в «Русском слове» «Современную летопись» (с 1863 года — «Домашняя летопись»), которую составлял до начала 1865 года (в 1864 году вместе с И. Дмитриевым).

**1862, январь** — Участвует в организации Шахматного клуба и становится одним из активнейших его членов.

**1862, июнь** — «Русское слово» приостановлено правительством на восемь месяцев. Г. А. Кушелев-Безбородко передает издание журнала Г. Е. Благодетелю. **Август** — За Благодетелем учреждено секретное наблюдение III отделения в связи с «неблагонамеренностью его действий».

**Ноябрь** — Благодетель становится членом ЦК «Земли и Воли».

**1863, февраль** — Выходит первый-второй (сдвоенный) номер возобновленного «Русского слова», издателем и неофициальным редактором которого является Благодетель. В номере публикуется программная статья Благодетеля «Историческая школа Бокля».

**1865, ноябрь** — После ухода из «Русского слова» В. А. Зайцева и И. В. Соколова Благосветлов привлекает к постоянному сотрудничеству в журнале П. П. Ткачева.

**1866, 16 февраля** — «Русское слово» после третьего предупреждения (за декабрьскую книжку 1865 года) приостановлено правительством на пять месяцев.

**Март** — Для подписчиков приостановленного «Русского слова» выпускается сборник «Луч», т. I (редактор П. П. Ткачев).

**14 апреля** — Благосветлов арестован и заключен в Петропавловскую крепость в связи с выстрелом Каракозова в Александра Н.

**3 июня** — «Русское слово» окончательно запрещено правительством.

**6 июня** — Благосветлов освобожден из-под ареста. **Сентябрь** - Выходит первая книжка журнала «Дело», подставным редактором и издателем которого был штабс-капитан Шульгин, а фактическим владельцем и руководителем Благосветлов.

**1867, май** — Разрыв Д. И. Писарева с Благосветловым. **1869, май** - Поездка за границу, встреча с Герценом.

**1880, 8 ноября** — «Бывший учитель русской словесности Г. Е. Благосветлов, состоявший под надзором полиции, умер».

**Основные даты жизни и творчества В. А. ЗАЙЦЕВА**

**1842, 30 августа** — Родился в семье мелкого чиновника в городе Костроме.

**1858, сентябрь** — **1859, июль** — Учился на юридическом факультете Петербургского университета.

**1859, июль** — **1862, декабрь** — Учился на медицинском факультете Московского университета., **1862, декабрь** — Переехал в Петербург и поступил в Медико-хирургическую академию.

**1863, апрель- 1865, ноябрь** — Сотрудничество в «Русском слове» (четыре сатирических обзора «Перлы и алмазаны русской журналистики», «Библиографический листок» — с мая 1863 года по ноябрь 1865 года, критические статьи: «Гейне и Берне», «Взбаламученный романист», «Белинский и Добролюбов», «Некрасов. Стихотворения. Ч. III», «Критические этюды П. А. Бибикова» и др.).

**1865, ноябрь-декабрь** — Сотрудничество в газете «Народная летопись» и в журнале «Книжный вестник». Попытка вместе с Н. В. Соколовым, Н. Д. Ножиным и др. организовать издание переводной литературы.

**1866, март** — Вместе с Н. В. Соколовым работает над книгой «Отщепенцы».

**1866, 28 апреля-28 августа** — Заключен в Петропавловскую крепость «по случаю знакомства и сношений его с коллежским советником Ножиным, который подозревался в преступных сношениях с бывшим домашним учителем Ив. Худяковым». После освобождения из-под ареста находился под полицейским надзором.

**1869, 9 марта** — Получил заграничный паспорт, а затем выехал в Париж. В этом же году вступил в Интернационал.

**1870–1871** — Живет в Турине, где организует первую итальянскую секцию Интернационала.

**1872, осень** — Переезжает в Локарно, поселяется вместе с Бакуниным, пишет под диктовку его воспоминания.

**1874–1881** — Живет на юге Франции.

**1877–1881** — Сотрудничает в газете «Общее дело» (редактор А. Х. Христофоров), где опубликовал около 80 статей.

**1881, сентябрь** — Переезжает в Женеву, где живет в кругу близких друзей. Работает над «Руководством к Всеобщей истории».

**1882, 20 января** — Скоропостижно скончался в Кларане.

**Основные даты жизни и творчества Н. В. СОКОЛОВА**

**1832, в ночь с 15 на 16 сентября** — Родился в семье старого гвардейца, эконома школы гвардейских подпрапорщиков.

**1845–1853, август** — Кадет Брест-Литовского кадетского корпуса, а затем — Дворянского полка. 13 августа произведен в офицеры.

**1855, июнь — 1858, январь** - Слушатель Академии генерального штаба.

**1858, май** — На Кавказе участвует в экспедиции против Шамиля. **1859** - За отличие в делах против горцев награжден чином направлен курьером к военному министру.

**1859, 3 мая** — Назначен старшим адъютантом генерального штаба войск Восточной Сибири.

Прибыл в Иркутск 2 июля, а 2 сентября отправлен курьером в Пекин в распоряжение генерала Игнатьева.

**1860, 3 марта** — Возвратившись в Иркутск, взял шестимесячный отпуск за границу.

**1860, июнь- сентябрь** — За границей познакомился с Герценом и Прудоном.

**1860, сентябрь - 1861** — Находился при статистическом отделении генерального штаба.

**1862, февраль — 1865, ноябрь** — Сотрудничество в «Русском слове» (статьи «Деньги и торговля», «Торговля без денег» и др.).

**1862, 20 декабря** — Подает в отставку, которая была принята

3 января 1863 года — Уволен в чине подполковника.

**1863, июль - 1865, июль** — Живет за границей — Дрезден, Париж. Навещает Герцена, произносит речь на похоронах Прудона. Пишет книгу «Социальная революция» (издана в Берне в 1868 году на немецком языке). **1866, март** - Вместе с В. Зайцевым работает над книгой «Отщепенцы».

**1866, 28 апреля - 11 июля** — Заключен в Петропавловскую крепость «по случаю знакомства и сношений его с коллежским асессором Ножиным». После освобождения из-под ареста за ним учрежден полицейский надзор.

**1867, 2 июня** — Приговорен Петербургской судебной палатой к заключению в крепость на год и четыре месяца.

**1868, 15 октября** — После отбытия наказания выслан административным порядком в город Мезень Архангельской губернии,

откуда переведен в Шенкурск, а в феврале 1871 года в город Красный Яр Астраханской губернии.

*1872, 14 октября* — При помощи чайковцев бежал из Красного Яра за границу.

*12 ноября* — Прибывает в Женеву. Живет в Цюрихе, при расколе лавристов и бакунистов принимает сторону последних.

*1873, 17 января - 10 марта* — Навещает Бакунина и Зайцева в Локарно. *18 мая* — уезжает в Париж.

*1875* — Вместе с Германом Лопатиным открывает Русскую (Тургеневскую) библиотеку в Париже.

*1881-1882* — Живет в Женеве, после смерти Зайцева вновь возвращается в Париж.

*1889, 5 мая* — Умирает в парижской больнице для бедных.

В книге использованы материалы государственных архивов: ЦТАОР, ЦГИА, ЦГАЛИ, а также отделов рукописей Государственной публичной библиотеки имени В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

#### КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Благосветлов Г. Е. Соч. Вступ. статья Н. В. Шелгунова. Спб., 1882.

Зайцев В. Г. Избр. соч. В 2-х т. Т. 1. Вступительные статьи Г. О. Берлинера и Б. П. Козьмина. М., 1934. Соколов Н. В. Отщепенцы. Спб., 1866.

Прохоров Г. Судьба литературного наследия Г. Е. Благосветлова. М., «Литературное наследство», т. 7–8. 1933.

Ткачев П. Н. Издательская и литературная деятельность Г. Е. Благосветлова. Сб.: Шестидесятые годы. Л., 1940.

Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. М.-Л., 1945.

Шишкина А. И. Благосветлов, Зайцев, Ткачев (Критическая деятельность журналов «Русское слово» и «Дело»). В кн.: История русской критики, т. 2. М.-Л., 1958.

Кузнецов Ф. Ф. Журнал «Русское слово». М., 1965.

Варустин Л. Е. Журнал «Русское слово», 1859–1866. Л., 1966.

Есин Б. И. Демократический журнал «Дело». М., Изд-во МГУ, 1959.

З.М. (Зайцева М.). В. А. Зайцев за границей (по его письмам и воспоминаниям его жены). — «Минувшие годы», 1908, № XI.

Совсун В. Г. Зайцев как литературный критик. — «Литература и марксизм», 1928, № 1.

Кирпотин В. Я. Варфоломей Зайцев — соратник Писарева. В кн.: Кирпотин В. Радикальный разночинец Д. И. Писарев. М., 1934.

Короткое Ю. Писарев. М., «Молодая гвардия», 1976.

Кирпотин В. Я. В. А. Зайцев как критик и публицист. В кн.: Кирпотин В. Публицисты и критики. М.-Л., 1932.



Геллерштейн С. Г. Забытые страницы истории борьбы за материализм в естествознании. (Полемика 1864–1865 гг. между «Современником» и «Русским словом» по поводу «Рефлексов головного мозга» И. М. Сеченова.). — Труды Института истории естествознания и техники, 1955, т. IV.

Брандис Е. П. Рабле под запретом. — «Вопросы литературы», 1957, № 3.

Ефимов А. Е., Н. В. Соколов — публицист 60-х годов. — «Каторга и ссылка», 1931, № 11.

Козьмин Б. П. Н. В. Соколов. Его жизнь и литературная деятельность. В кн.: Козьмин Б. Литература и история. Сборник статей. М., 1969.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Вступление 5

**ГРИГОРИЙ БЛАГОСВЕТЛОВ 30**

**ВАРФОЛОМЕЙ ЗАЙЦЕВ 153**

**НИКОЛАЙ СОКОЛОВ 244**

Заключение 323

Основные даты жизни и творчества Г. Е. Благодетлова 329

Основные даты жизни и творчества В. А. Зайцева 331

Основные даты жизни и творчества Н. В. Соколова 332

Краткая библиография... 334

**Феликс Феодосьевич Кузнецов**

**ПУБЛИЦИСТЫ 1860-х ГОДОВ**

Редактор В. Калугин

Серийная обложка Ю. Арндта

Художественный редактор А. Степанова

Технический редактор Р. Сиголаева

Корректоры И. Тарасова, Г. Василёва, В. Назарова

Сдано в набор 04.06.80. Подписано в печать 25.11.80. А13879. Формат 84xЮ8 /з2. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 17,64+ +0.84 с вкл. Учетно-изд. л. 20.1. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 50 к. Заказ № 773.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30. Суцевская, 21.

## Примечания

1

<sup>1</sup>Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.20, с. 141.

2

<sup>2</sup>Там же, с. 140.

3

<sup>3</sup>Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. М.-Л., 1937, с. 191.

4

<sup>1</sup>Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.26, с.107.

5

<sup>1</sup>Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.29, с. 45.

6

<sup>1</sup>Сочинения Г. Е. Благосветлова. Спб., 1882, с. 4. (Все последующие ссылки на это издание будут даваться в тексте.)

7

<sup>1</sup>Это человек цельный и прекрасно сделанный (*франц.*),

8

<sup>1</sup> Письмо кадетов к инспектору корпуса. — *Примеч. документа.*

9

<sup>2</sup> В «Колоколе» Батистов (см.; «Колокол», факсимильное издание, вып. 1. М., 1960, с. 44—45).

10

<sup>1</sup>«Русское слово», 1860, № 4, отдел 1-й, с 58. (Все последующие ссылки на журнал «Русское слово» даются в тексте.) «отказать ни в истинной любви к прекрасному, ни в гражданском мужестве, ни в уважении к народному правому делу» (1860, 4, I, 74).

11

<sup>1</sup>«Темный человек» — литературный псевдоним, своеобразная маска, под которой Д. Минаев печатал свои фельетоны.

12

<sup>1</sup>Вельяшов. — *Примеч. документа.*

13

<sup>1</sup>Кнастер — дешевый сорт табака.

14

<sup>1</sup>« О доносчике» — памфлет против Менделя, которого Гейне разоблачал как доносчика.

15

<sup>2</sup>Зайцев В. А. Избранные сочинения в двух томах, т. 1. М., 1934, с. 15Б. (Все последующие сноски на это издание даются в тексте.)

16

<sup>1</sup>У молодых супругов умер ребенок.

17

<sup>1</sup>Ошибка мемуариста: отчество Александры Кутузовой, как и остальных ее сестер, Евграфовна.

18

<sup>1</sup>П. П. Елизаров в своей книге «Марк Елизаров и семья Ульяновых» сообщает по этому поводу: «8-го июля 1904 года Анна Ильинична была освобождена (из тюрьмы. — Ф. К.), ей разрешили жить в Саблине под особым надзором полиции. Сюда же вскоре приехала Мария Ильинична вместе с Марией Александровной, и таким образом все семейство вновь собралось

вместе... Владимир Ильич интересовался жизнью на даче, в одном из писем он спрашивал: «Хороша ли дача в Саблиие? Отдыхаете ли там, как следует? Какие виды на дальнейшее? Здорова ли мама? Как чувствуют себя Анюта и Маняша после тюрьмы?.. Крепко обнимаю дорогую мамочку и шлю всем привет!»

## 19

<sup>2</sup>В 1914 году семья Ульяновых, кроме Владимира Ильича и Марии Ильиничны, отдыхала в деревне Лыкошино на речке Валдайке под Бологим. В книге П. П. Елизарова говорится об этом времени: «Большую радость для семьи доставляли письма Владимира Ильича, которые он присылал из-за границы. Они вызывали живейший интерес и читались всеми независимо от того, кому были адресованы...»

## 20

<sup>1</sup>«Общее дело», 1878, № 8. Последующие ссылки на это издание даются в тексте (год, номер).

## 21

<sup>1</sup>Э[тот] орган бу[дет] издаваться] за границей] Чайковским] до основания] в России революционной} тиногр[афии], а затем перенесетсятуда. — *Примеч. Н. Морозова.*

## 22

<sup>1</sup>Они — представители молодой эмиграции, друзья Бакунина вЦюрихе.

## 23

<sup>2</sup>«Это мой верный друг, я давно знаю русского полковника» (*итал.*).

## 24

<sup>1</sup>Вершок — 44–45 миллиметров; поэтому эти данные совершенно непонятны, н, возможно, здесь ошибка переводчика или моя; соотношение роста всех троих передано правильно, так как Зайцев был маленький. — *Примеч. Неттлау.* Между тем в старину на Руси была принята следующая мера роста: два аршина и столько-то вершков. Аршин, как правило, не назывался. Если учесть, что аршин равен 0,711 метра, то рост наших героев был следующий: Бакунина — 1,98 метра, Соколова — 1,80 метра, Зайцева — 1,69 метра.

25

<sup>1</sup>Смысл этой церемонии не совсем ясен. Это был скорее всего призыв к мужеству, надежде, терпению до тех пор, пока хозяин не получит свои деньги.

26

<sup>2</sup>3. Ралли рассказывал, что при этой встрече Зайцев сказал Бакунину, показав на Соколова:

27

<sup>3</sup>По-видимому, речь идет о журнале «Вперед», редактировать который было поручено Лаврову.

28

<sup>1</sup>Подразумевается период жизни Бакунина у Муравьева-Амурского — только Соколов мог доподлинно знать его. Этот период русскими радикалами воспринимался, разумеется, не в пользу Бакунина. — *Примеч. Неттлау.*

29

<sup>1</sup>По-видимому, по аналогии со своей дочерью — намек на революционный романтизм Бакунина.